

HEFT 1-2 2010

АЛЪМАНАХ
ALMANACH

ДОМИНАНТА
DOMINANTE

VERLAG OTTO SAGNER

DOMINANTE · ДОМИНАНТА

1-2 / 2010

Impressum Heft 1-2 / 2010

Herausgeber: <Dialog> Neues Münchner Kunstforum e.V.
Asam Straße 8, 81541 München
Telefon +49 (0)89 656052, Telefax +49 (0)89 658650
www.almanach-dominante.de

Chefredakteur Simon Gourari (info@almanach-dominante.de)

Redaktion: Boris Chasanov, Brigitte Huber, Elena Kazuba,
Konstantin Kedrow, Vadim Perelmuter, Vera Pomelnik,
Sigrid Richter, Bettina Rühm, Axel Sanjosé, Rodion Shchedrin

Lektorat: Ruth Schörry-Seidel, Jewdokija Petrenko

Redaktionsassistent: Ellen Seidel

Design und Gestaltung: Anatoli Steinberg [t]

Umschlag: Christopher Triplett

Verlag: Verlag Otto Sagner
c/o Kubon & Sagner Buchexport-Import GmbH
80328 München (Germany)
Telefon +49 (0)89 54 218-1 06, Telefax +49 (0)89 54 21 8-226
verlag@kubon-sagner.de

Die in der DOMINANTE / ДОМИНАНТА veröffentlichten Beiträge geben die Meinung ihrer Verfasser oder Verfasserinnen wieder und nicht in jedem Fall die des Herausgebers, der Redaktion oder des Verlages.

Printed in Germany (Difo Druck) • Alle Rechte vorbehalten • München 2010
ISSN 1863-6322 ISBN 13: 978-3-86688-094-8 Preis pro Heft: EUR 14,--

DOMINANTE

Almanach für Literatur und Kunst

ДОМИНАНТА

Литературно-художественный альманах

СОДЕРЖАНИЕ / INHALT

Дороги прозы / Die Wege der Prosa

- Анатолий Кончиц** Из повести «Переписчик бумаг» 6
Anatolij Kontschiz Aus der Novelle „Der Schreiber“
Übers. / Пер. (т/д) E. Seidel & M. Darminova
- Magdalene Pennarz** Aus dem Roman „Das Lachen der Pandora“ 22
Магдалене Пеннарц Фрагмент романа «Смех Пандоры»
Übers. / Пер. (д/г) I. Lein
- Владимир Абрамсон** « Степа » 34
Vladimir Abramson „Stjopa“
Übers. / Пер. (т/д) S. Vinogradov
- Martin von Arndt** „Nikolaewo“ 50
Мартин фон Арндт « Николаево »
Übers. / Пер. (д/г) E. Школьника
- Борис Сандлер** Фрагмент романа «Красные туфельки для Рэйчел» 54
Übers. / Пер. (jiddisch /г) Э. Финкельштейна
- Peter Stamm** „Was wir können“ 74
Петер Штамм «Что мы можем»
Übers. / Пер. (д/г) E. Школьника

Речь поэта / DichterREde

- Сергей Бирюков** Стихи / **Sergej Birjukov** Gedichte 88
Übers. / Пер. (т/д) B. Sames
- Áxel Sanjosé** Gedichte / **Аксель Санхозе** Стихи 100
Übers. / Пер. (д/г) E. Школьника
- Анри Волохонский** Стихи / **Henry Volohonsky** Gedichte 108
Übers. / Пер. (т/д) K. Borowsky
- Gerchard Bachleitner** Gedichte / **Герхард Бахлайтнер** Стихи 112
Übers. / Пер. (д/г) I. Lein

ПеРеводы / ÜbeREtzungen

- Rainer Maria Rilke** Aus „Die Sonette an Orpheus“ 114
Райнер Мария Рильке Из «Сонетов к Орфею»
Übers. / Пер. (д/г) Л. Блинова
- Bertolt Brecht** „Ballade von den Seeräubern“ 120
Бертольт Брехт «Баллада о пиратах»
Übers. / Пер. (д/г) P. Нудельмана

МИниатюры / MIniaturen

- Даниил Гранин, Даниил Аль, Исай Шрицер:** «О Борисе Рацере» 128
Борис Рацер Афоризмы & Юморизмы

ФАкультатив / Fakultativ

- Ludwig Markuse** Argumente und Rezepte 138
Людвиг Маркузе Аргументы и рецепты
Übers. / Пер. (d/r) Е. Школьника

ФАнтотм художника / Le FAntôme des artistes

- Марианна Веревкина** Письма / 150
Marianne v. Werefkin Die Briefe
Лайма Лаучкайте История писем «Синей всадницы»
Laima Laučkaitė Die Geschichte der Briefe der „Blauen Reiterin“
Übers. / Пер. (r/d) О. Antic
Татьяна Лукина «Царица Незримого»
Tatjana Lukina „Die Zarin des Unsichtbaren“

СОЛЬные размышления / SOLO

- Семен Гурарий** Другой Мусоргский или ... 172
Simon Gourari Moussorgski einmal anders oder ...

Ландшафты Языка / SprachLandschaften

- Елена Кацуба** Стихи (Russland) 181
Peter Horst Neumann Gedichte (Deutschland) 185
Нури Бурнаш Стихи (Russland) 188
Joel Fortunato Reyes Pérez Gedichte (Mexiko) 194
Илья Бокштейн Стихи (Израиль) 195
Robert Pinski Gedichte (USA) 198
Dario Cavalieri Gedichte (Italien) 209
Markus Epha Gedichte (Deutschland) 200

Сюжеты Истории / Sujets der GeschIchte

- Вадим Перельмутер** «Фрагменты о Шервинском» 202
-
- 232

ДОсье / DOssier Об авторах альманаха / Über die Autoren

Анатолий КОНЧИЦ

Из повести ПЕРЕПИСЧИК БУМАГ

ГОВОРЯЩАЯ ЛОШАДЬ

– Вы знаете, – сказала Говорящая Лошадь. – Солнце тогда всходило каждый день, не то, что теперь. Третьи сутки уж не всходит. Все небо в тучах ... И я помню, было, кажется, много всякой травы, не такой, какую выращивают на гидропонике, а настоящей. Чудесные времена! То гроза разразится, то засверкает солнце. И мы, лошади, представляете, катались на мокрой траве. Что это за чудо – мокрая и совсем не радиоактивная трава! Вы когда-нибудь видели мокрую чистую траву без этих разных стронциев? Нет? Мне жаль вас.

Говорящая Лошадь всегда, к случаю и не к случаю, любила поговорить о мокрой траве ...

"Откуда в городе мокрая трава? – думал Петя Воробушек. – Тем более зимой? Эта старая тетка все напутает".

Они ехали с Былинкой в промозглом трамвае, замерзшие, простуженные, и оба шмыгали носом, прислушиваясь к шелестящему голосу Говорящей Лошади. Они могли слышать голоса знакомых за многие километры, так как оба были мутантами.

– Былинка моя, ненаглядная, ты высморкайся. Ну, что ты все шмыгаешь носом? Надо было понюхать лука, я ж тебе говорил, а ты не послушалась.

Былинка махнула рукой, мол, не приставай. Трамвай, покачиваясь, катился по кольцу. "Было время, когда я еще не родился, – думал Петя Воробушек. – И вот я родился в прекрасной стерильной колбе и

Anatolij KONTSCHIZAus der Novelle
DER SCHREIBER

DAS SPRECHENDE PFERD

Übersetzung Ellen SEIDEL

„Wissen Sie“, sagte das Sprechende Pferd, „die Sonne ist damals jeden Tag aufgegangen, nicht wie heutzutage. Schon drei Tage geht sie nun nicht auf. Der ganze Himmel ist bewölkt ... Und ich erinnere mich – es gab glaube ich viele verschiedene Gräser, nicht wie jetzt in der Hydroponik, sondern richtige. Welch schöne Zeit! Mal bricht ein Gewitter an, mal fängt die Sonne an zu scheinen. Und wir, die Pferde, stellen Sie sich vor, wälzten sich in den Wiesen. Was für ein Wunder – feuchte und überhaupt nicht radioaktive Wiesen! Haben Sie schon einmal feuchte und saubere Gräser ohne diese verschiedenen Becquerel gesehen? Nein? Das tut mir leid für Sie“.

Das Sprechende Pferd liebte es, ob es einen Anlass gab oder nicht, über feuchte Gräser zu sprechen ...

„Von wo kommen feuchte Gräser in die Stadt?“ – dachte Peter Spätzchen – „Besonders im Winter? Diese alte Tante bringt alles durcheinander“.

Sie fuhren mit Bylinka in einer Straßenbahn, frierend, erkältet und mit laufender Nase auf die flüsternde Stimme des sprechenden Pferdes hörend. Sie konnten bekannte Stimmen aus der Ferne hören, weil sie beide Mutanten waren.

„Meine Bylinka, warum schniefst du immer mit der Nase? Versuch, dich zu schnäuzen. Du solltest an Zwiebeln riechen, ich hab’s dir schon gesagt, aber du hörst nicht auf mich“.

Bylinka winkte ab, als wollte sie sagen: „Lass mich“. Die Straßenbahn rollte wackelig im Kreis. „Das war die Zeit, als ich noch nicht geboren war, – dachte Peter Spätzchen, – und dann bin ich in einem wunderschönen Reagenzglaschen geboren worden und habe erfahren, dass

узнал, что есть на свете трамвай, и катится он все время по кольцу, а не по спирали ... Скоро мы приедем на праздник. У Говорящей Лошади день рождения. Мы уж, конечно, здорово опоздали, но эта старая тетка так любит трепать языком, ничего не заметит. Мы почти приехали. Я опять слышу ее ворчливый голос". – Былинка, пора выходить. Да не держись ты за нос. Вставай.

– Уже выходить? Но что-то я не вижу ее конюшни?

– Глупенькая, да вот же она двадцатиэтажная конюшня, вся светится

...

Трамвай весело катился по улице Новой.

А между тем Говорящая Лошадь рассказывала своим гостям:

– Вы ведь знаете, я раньше не была говорящей и у меня не было такого комфорта, как теперь. Вы смотрите цветной японский телевизор, на столе лучшие заграничные вина, как и полагается в день рождения. А раньше ... Да вы знаете, что такое телега, хомут, крепостное право? О, это ужасно! И все-таки мне грустно вспоминать те времена, как это ни парадоксально. Ночью нас распрягали, и мы уносились в туман, в мокрые росистые луга. И в меня был влюблен, простите ... один жеребец. О времена!

Гости внимательно слушали хозяйку, вежливо улыбаясь. Тут был художник, поэт и всякие другие приятные товарищи, например, Авдотья Филимоновна из домоуправления конюшни, бухгалтер Шютц из той же конюшни, некто Василий Иванович Подай-Шапку.

– Тут еще должны прийти двое моих юных друзей, – оборвала себя Говорящая Лошадь. – Подождем минут пять и сядем за стол.

Пять минут пролетели незаметно, гости сели за стол и выпили за здоровье хозяйки. А Петя Воробушек и Былинка брели тихонько по переулку. Небо играло над ними звездами, которые незаметно складывались в привычные созвездия. Молодые люди совсем забыли, куда они идут и зачем, им так было приятно вдвоем. Они вошли в какой-то лес.

– Мне хорошо и в то же время грустно, – сказала Былинка.

– Не хандри, – отвечал ей Петя Воробушек. – Это у тебя все от насморка.

es auf der Welt eine Straßenbahn gibt, die immer im Kreis rollt und nicht in einer Spirale ... Bald kommen wir zu einer Feier an, das Sprechende Pferd hat Geburtstag. Wir sind sowieso spät dran; diese alte Tante liebt es zu tratschen, sie wird es nicht merken. Wir sind fast angekommen. Ich höre wieder ihre meckernde Stimme:

– „Bylinka, es ist Zeit, auszusteigen. Hör auf, deine Nase zu halten. Steh auf“.

– „Schon aussteigen? Aber ich sehe ihren Stall noch nicht“.

– „Dummerchen, da ist er schon, ein zwanzigstöckiger Stall, hell erleuchtet ...“.

Die Straßenbahn rollte lustig auf die Neue Straße.

Unterdessen erzählte das Sprechende Pferd seinen Gästen:

– Sie wissen schon, ich war früher nicht das ‚sprechende‘ und habe nie so einen Komfort wie jetzt gehabt. Sie sehen farbiges, japanisches Fernsehen, auf dem Tisch stehen die besten ausländischen Weine – wie es sich für einen Geburtstag gehört. Und früher ... Wissen Sie, was ein Fuhrwagen, Zaumzeug und Sklavenrecht bedeuten? Das ist furchtbar! Und trotzdem, sich daran zu erinnern ist nostalgisch, obwohl das paradox klingt. In der Nacht wurden wir abgezäumt und rannten in den Nebel, in vom Tau tropfende Wiesen. Und in mich verliebt war, entschuldigen Sie ... ein Hengst. Was für Zeiten!

Die Gäste hörten der Gastgeberin mit höflichem Lächeln aufmerksam zu. Da waren ein Maler, ein Dichter und verschiedene andere nette Kameraden, zum Beispiel Avdotja Philemonowna von der Gestütsverwaltung, der Buchhalter Schütz des gleichen Gestuts, und noch jemand, Wassilij Iwanowitsch Gib-die-Mütze.

– „Es sollten noch zwei meiner jungen Freunde kommen“, unterbrach das sprechende Pferd sich selbst.

– „Warten wir fünf Minuten und nehmen dann am Tisch Platz“.

Die fünf Minuten vergingen unbemerkt, die Gäste nahmen am Tisch Platz und tranken auf die Gesundheit der Gastgeberin. Aber Peter Warobutschek Spätzchen und Bylinka kamen leise durch eine Gasse. Der Himmel spielte oben mit den Sternen, die sich unbemerkt zu einem Sternbild zusammenschlossen. Die jungen Menschen hatten völlig vergessen, wohin sie gingen und warum, so angenehm war es, zusammen zu gehen. Sie traten in einen Wald.

– Да, нет, во мне что-то происходит. Я как будто лечу, я стала такая легкая.

Они остановились на поляне. Вдали темнел дом лесника. Петя Воробушек хотел взять Былинку на руки, согреть ее своим дыханием, но руки встретили пустоту. Былинка стала былинкой.

– Мне так хорошо, – услышал он тонкий голос. – Всю жизнь чего-то не хватало. Я поняла это только теперь. Каждый должен быть на своем месте. Не забудь разогреть суп ...

Пете Воробушку было очень тяжело потерять подругу, но он не плакал и не кричал, не звал на помощь, а думал. И вот он взмахнул руками, чирикнул и вспорхнул ...

А у Говорящей Лошади гости уже здорово выпили. Все пели веселую песню. Говорящая Лошадь курила сигареты одну за другой. Ей было как-то не по себе. Она видела, что гости совсем забыли о ней, виновнице торжества, как это часто бывает.

Говорящая Лошадь встала и пошла к дверям. Гости всполошились:

– Куда вы?

– Я хочу в ночное, – деревянным голосом сказала Говорящая Лошадь.

– Шютц, проводите ее в туалет! Ей дурно!

– Я хочу в ночное ... – говорящая Лошадь лягнула услужливого Шютца и выскользнула за дверь.

Было, наверное, уже за полночь. Говорящая Лошадь галопом неслась по городу, из-под копыт у нее летели искры. Она была подкована у частного мастера на Арбате лучшими импортными подковами, кажется, английскими. "Всю жизнь мне чего-то недоставало, – думала Говорящая Лошадь. – Мне давно пора в ночное, я застоялась в этой конюшне. Теперь я буду кататься на росистом лугу и ржать, сколько мне захочется".

И ускакала Говорящая Лошадь из города, бросив друзей, мужа, кооперативную квартиру, ибо каждый должен быть самим собой и на своем месте. Но чего только не бывает на свете!

„Es ist so schön und gleichzeitig bin ich melancholisch“, sagte Bylinka. „Hör auf“, antwortete Petja Spätzchen, „das kommt bei dir alles vom Schnupfen“.

„Ach nein“, erwiderte Bylinka, „etwas passiert mit mir. Ich fliege fast. Ich bin so leicht geworden“.

Sie blieben auf einer Lichtung stehen. Von der Ferne dunkelte das Haus des Försters. Petja wollte Bylinka auf den Arm nehmen und sie mit seinem Atem wärmen, aber seine Hände griffen ins Leere. Das Hälmlchen ist ein Hälmlchen geworden.

„Ich fühle mich so gut“, hörte er eine dünne Stimme, „das ganze Leben hat mir etwas gefehlt. Ich habe das erst jetzt verstanden. Jeder muss auf dem eigenen Platz sein. Vergiss nicht die Suppe aufzuwärmen ...“.

Für Petja Spätzchen war es sehr schwer, die Freundin zu verlieren, aber er weinte nicht, schrie nicht, rief nicht um Hilfe, sondern dachte nach. Und breitete die Arme aus – und „Tschilp-Tschilp“ – flog auf ...

Und beim Sprechenden Pferd hatten die Gäste schon viel getrunken. Alle sangen ein lustiges Lied. Das Sprechende Pferd rauchte eine Zigarette nach der anderen. Es war ein bisschen durcheinander. Es sah, dass die Gäste – wie es oft der Fall ist – es völlig vergessen hatten, sie, die die Veranstaltende dieser Feier war.

Das Sprechende Pferd stand auf und ging zur Tür. Die Gäste wurden unruhig:

– „Wo gehen Sie hin?“

– „Ich möchte in der Nacht ins Freie gehen ...“.

– „Schütz, begleiten Sie sie in Toilette! Es geht ihr schlecht!“

Das Sprechende Pferd schlug gegen den zur Bedienung bereiten Schütz aus und verschwand durch die Tür.

Es war schon nach Mitternacht. Das Sprechende Pferd galoppierte durch die Stadt und unter seinen Hufen schlugen Funken. Es war bei einem privaten Hufschmiedmeister an der Arbatstraße mit besten Importeisen, ich glaube englischen, beschlagen worden. „Mein ganzes Leben hat mir etwas gefehlt“, dachte das Sprechende Pferd. Ich hätte schon längst nachts ins Freie laufen sollen. Ich war zu viel gestanden im Stall. Und jetzt werde ich nicht auf dem Feld liegen, sondern mich im taufrischen Feld wälzen und so viel wiehern, wie ich will“.

Und das Sprechende Pferd galoppierte aus der Stadt, verließ Freunde, Ehemann und die Kooperativwohnung, weil jeder er selbst sein muss und am eigenen Platz. Aber was in der Welt alles passieren konnte!

ПЕРЕПИСЧИК БУМАГ

Их было тридцать человек, переписчиков бумаг. Каждый сидел за своим столом, и у каждого была настольная лампа.

Лица переписчиков желтыми пятнами покачивались над белыми листами бумаг в плотном угарном воздухе.

Переписчик бумаг Иван, тридцати лет от роду, росту около двух метров, встал и пошел в туалет. Он долго стоял у открытой форточки и глотал воздух, текущий с улицы.

В пять часов вечера прозвенел короткий звонок. Переписчики повскакали со стульев и бросились к выходу, наступая друг другу на ноги.

Иван стоял в вагоне метро, голова у него кружилась. Сегодня он перевыполнил план, переписал сто листов бумаги, и это очень утомило его.

В автобусе он дремал с открытыми глазами. В легких все еще стояли пары ядовитого угара.

За городом он надел лыжи и заскользил по лыжне, делая круг за кругом, пока не сбился со счета. Румяная горбушка луны кувыркалась в небе. Иван побежал быстрее. Грязный воздух тесного помещения, отравивший его за день, с хрипом вырывался из груди. На лбу выступил пот, щеки горели. Яд уходил из его тела. Лицо из желто-зеленого сделалось розовым.

Воздух был вкусен. Иван лег в сугроб. Как тут мягко и уютно. И главное, никого. Можешь улыбнуться или заплакать, никто и ничто тебе не помешает. Так же будет кувыркаться луна на небе, будут мигать звезды, лететь куда-то облака.

Можно представить себя снежным королем, повелителем всех этих холодных кристалликов, в каждом из которых горбушка луны.

Дик и вкусен воздух на воле! Ветви елки машут Ивану баю-бай.

Спи спокойно, переписчик бумаг, уже ночь. Будь властителем снегов, и снежные женщины станут целовать твои бледные губы. Зачем тебе переписывать бумаги, зачем? Разве для этого рожден человек?

Но переписчик бумаг отряхнулся от снега и пошел домой жарить картошку. Завтра опять идти на работу.

ОДНАЖДЫ ВЕСНОЙ

В эту весну сильно зацвели яблони на дачах. Все деревья, и хилые прежде и чахлые, вдруг встали вокруг домов прекрасными белыми облаками. И каждый, проходя мимо, невольно улыбался, глядя на белое, дивное, как в сказке, дерево, и вздыхал с облегчением, с робкою улыбкой на испуганном обычно лице.

Цветущее дерево одушевляло прохожего, и он забывал, что должен в кассу взаимопомощи за телевизор, о своем геморрое, и что у соседа его такая рожа, каких и в обезьяньем питомнике не сыщешь. Он забывал о жене своей, о детях, о некой Анастасии Петровне, "роковой женщине, с таким загадочными глазами, что из-за них-то он и влюбился в нее.

Белые яблони остановили его в переулке, и он ощутил такое чистое, неподдельное счастье, что долго потихоньку шел, поворачивая голову вслед нарядному дереву.

В общем, в нем всколыхнулось очень много всяких чувств, которые и не объяснишь словами, а разве что поцелуем или тихим вздохом.

– Хорошо, – пробормотал он. – Ей-богу ж, хорошо!

Таким он и пришел на работу, с этой улыбкой, до того необычной, странной, что все переписчики бумаг поразились.

– Что с вами, Сергей Макарыч?

Тот ласково оглянулся на всех и сказал:

– Сады цветут. Будто в снегу стоят, а мы тут ...

– Да, это очень красиво, – тихо сказала Анастасия Петровна. – Я ведь тоже видела.

– Красиво, – сказал в задумчивости Сергей Макарыч. – Нету ничего лучше ... Кстати, вам не попадалась такая серая папка под номером три? Ах, она слепая, на столе лежит, а я и не вижу.

В глазах у него все еще стоял сад, ослепительный на майском солнце, как чистый снег.

Он вспомнил, как вдруг подул ветерок и посыпались на него лепестки цветов.

Ему тут же вообразилось, что он совсем еще молодой и ведет под руку Анастасию Петровну, которая просто Настенька, и глаза у нее еще совсем не загадочные, а ясные, как белый день.

Вообразился первый их поцелуй, которого вовсе и не было.

Весь день на службе Сергей Макарыч был какой-то дурной, заторможенный, мечтательный.

А ввечеру, придя домой, он попил чаю с клюквой и долго сидел перед газетой, ничего в ней не понимая.

Надо было идти спать, но он вышел в сад выкурить сигарету.

Вечер был тихий и теплый. Такой тихий, что слышен был ему счастливый лепет какой-то девушки в пятидесяти шагах от него, на дороге.

Он слышал, как собака всхлипнула во сне.

А над всем этим удивительным мирком насвистывал соловей. Голос его свежий, как роса, летел будто бы с самого неба к Сергею Макарычу.

Затаив дыхание, он слушал восторг птицы.

И стал далек от суеты, от мелочей быта, от переписывания бумаг, которые никому не нужны, – мрачное величие сваливала на него ночь и отторгала от людей. Мол, внимай мне, дурак, и устрашись. Не схорониться тебе от меня ни среди угара службы твоей глупой, ни на мягкой груди Анастасии Петровны, и ни в какой суете. А не теперь, так после глянешь ты в мои очи и узнаешь, что на свете есть только я да ты.

Переписчик бумаг тяжело вздохнул, и в грудь его вошла ночь, горькая и печальная в своем одиночестве ...

ОДНОНОГИЙ ФАВН

Да, мы похожи на людей, и наружностью и всякими страстями людскими, заботами и печальями, но мы фавны или, грубо говоря, козлы.

Я живу на шестом этаже, лифт почти никогда не работает, и вот лезешь с тяжелой сумкой, в которой пакет картошки, хлеб, бутылка кефира. Лезешь и лезешь кверху, как на небо. Повстречаешь старушку, соседку, которой жить осталось немного, по запаху чувствуется, ветхость тела, понимаете, особенный запах. Стоит она с авоськой у лифта в горестном недоумении. В авоське булочка и пакет молока.

Что за старушка! Ссохлась вся, и лицо у нее, одни очки, а не лицо. Стекла сильно увеличивают, и старушечьи глаза вдруг уставятся на тебя, как две проруби в жуткий мороз, дымящиеся, стылые. Чую запах ветхого, засуху истлевшего старушечьего тела ...

Мы, козлы, хорошо различаем женские запахи. Вымойся она хоть в ключевой воде, хоть в парном молоке, мы за километр чуем запах, который обыкновенному человеку ничего и не говорит. Да он его и не чует. А для меня бывают запахи, от которых сомлеть можно. Я слышу в нем все, читаю, как по книге, и мысли, и тревоги, и заботы, угадываю желания и настроения.

А эта старушка, от нее за версту так разит сухим тлением, как в жаркую погоду пахнет истлевший пень. Этот запах вызывает у меня печаль, а воображение стремится в прошлое, когда она, ясноглазая девчонка, источала тот беспечный запах, который свойствен беззаботной молодости. Щеки ее рдели, как созревающее яблоко. А теперь что я вижу?

– Опять лифт не работает, Полина Ивановна. Вот беда.

– Не работает. И домой не попасть.

Мне стыдно и грустно. Я ускользаю вверх по лестнице, подальше от тленья и своего стыда. Фавны тоже стареют и умирают ...

Ja, wir sind den Menschen ähnlich, in ihrem Aussehen und jeglichen menschlichen Leiden, in ihren Sorgen und in ihrer Trauer, doch wir sind Faune, oder grob gesprochen, Böcke.

Ich wohne im Sechsten Stock, der Aufzug arbeitet so gut wie nie, und nun kletterst du mit einer schweren Tasche mit einer Ladung Kartoffeln, Brot, und einer Flasche Kefir. Du kletterst und kletterst hinauf, wie zum Himmel. Du triffst eine Greisin, eine Nachbarin, die nicht mehr lange zu leben hat, was man an ihrem Geruch erkennen kann, der Geruch dem Hinfälligkeit, wissen Sie, ein besonderer Geruch. Sie steht mit ihrer Awoska bei dem Aufzug mit bitterlichem Erstaunen. In ihrer Awoska ist ein Brötchen und eine Packung Milch.

Was für eine Greisin! Sie ist ganz ausgetrocknet, in ihrem Gesicht kann man nur ihre Brille sehen, und kein Gesicht. Sie starrt dich mit ihren Augen an, die durch ihre Brille vergrößert werden und an zwei rauchende, eisige Eislöcher in schrecklicher Kälte erinnern. Ich wittere den Geruch von gebrechlichem, ausgetrocknet verwesendem greisem Körper...

Wir, Böcke, können Frauengerüche gut unterscheiden. Selbst wenn eine sich in Quellwasser wäscht, selbst in Frischmilch, können wir kilometerweit den Geruch spüren, der einem normalen Menschen nichts sagt. Er wird ihn gar nicht spüren. Und für mich gibt es Gerüche, die mich schwach machen. Ich höre in ihm alles, lese ihn wie ein Buch, die Gedanken, Sorgen und Leiden, errate Wünsche und Stimmungen.

Und diese Greisin stinkt aus einer Meile Entfernung wie eine vertrocknete Fäulnis, da man bei heißem Wetter faulen Baumstumpf riechen kann. Das macht mich traurig, und die Phantasie führt in die Vergangenheit, als sie, ein helläugiges Mädchen, diesen unbekümmerten Geruch ausstrahlte, typisch für die sorgenlose Jugend. Ihre rot glühenden Backen waren wie reifende Äpfel. Und was sehe ich jetzt?

– Der Aufzug geht schon wieder nicht, Polina Iwanovna. Was für ein Jammer.

– Funktioniert nicht. Und nach Hause kommt man nicht.

Es ist mir peinlich und traurig. Ich schleiche die Treppen hoch, weit weg vom Mulmigen und meiner Peinlichkeit. Faune werden auch alt und sterben ...

Вчера в часы "пик" в метро, когда я, стиснутый человеческими запахами и телами, спешил домой, откуда-то из-за моей спины просочился поразительный запах молодой женщины. В нем я распознал скрытую тревогу, беспечность, гордость, смутное желание и грусть. Я обернулся. Она стояла прямо за моей спиной с букетом роз.

Фавны всегда преследуют кого-нибудь женского пола, такова их натура. Ну, я и пошел за ней. Она заметила и обернулась.

– Что вам надо?

– Ничего.

– Тогда оставьте меня.

– Это выше моих сил. Мне нравится ваш запах.

– Что-то новое. Какой же это запах?

– Очень тревожный. Да, вы не сердитесь.

Я объяснил, как прекрасно различаю запахи:

– Между прочим, от вашей шеи идет запах, я это улавливаю, недавно вас обнимал мужчина. Он чем-то обидел вас, и вы не захотели ...

– Что вы мелете? Откуда вы знаете?

– Запах...

В конце концов мы договорились встретиться. Ведь так часто бывает в жизни. Но люди правы, когда говорят о безграничности всего сущего. Многое скрыто от нас, и мы даже не догадываемся, что произойдет с нами, например, через час.

Я торопился к ней на свидание, а попал на стол к хирургу Дубровскому. Ибо случилась автомобильная катастрофа, столкнулись три "Волги" и самосвал. Такое бывает, конечно, редко, но бывает. В общем, из этой кучи хлама, пахнущего гарью и бензином, с признаками дыхания вытащили только одного меня.

Gestern im Berufsverkehr in der U-Bahn, als ich zusammengequetscht zwischen menschlichen Gerüchen und Körpern nach Hause geeilt bin, schlich von irgendwo hinter meinem Rücken ein Geruch eines jungen Mädchens vorbei. In ihm erkannte ich versteckte Leiden, Sorglosigkeit, Stolz, Wünsche und Trauer. Ich drehte mich um. Sie stand direkt hinter meinem Rücken mit einem Strauß Rosen.

Faune verfolgen irgendwelche weiblichen Wesen, es liegt in ihrer Natur. Und so ging ich hinter ihr her. Sie bemerkte es und drehte sich um.

- Was brauchen Sie?
- Nichts.
- Dann lassen Sie mich in Ruhe.
- Das ist unmöglich. Mir gefällt Ihr Geruch.
- Das ist etwas Neues. Was für ein Geruch wäre das?
- Ein sehr beunruhigender. Ja, seien Sie nicht böse.

Ich erklärte wie gut ich Gerüche unterscheiden kann:

– Übrigens, von Ihrem Hals strömt ein Geruch, Sie wurden vor kurzer Zeit von einem Mann umarmt, das kann ich spüren. Er hat Sie irgendwie beleidigt und Sie wollten nicht mehr ...

- Was labern Sie da? Woher wissen Sie das?
- Geruch...

Zu guter Letzt haben wir uns verabredet. Denn so passiert es oft im Leben. Doch die Menschen haben recht wenn sie sagen, dass alles existierende grenzlos ist. Vieles bleibt uns verborgen, und wir können nicht einmal erraten, was mit uns zum Beispiel in einer Stunde passiert.

Ich habe mich zu der Verabredung beeilt, doch ich bin auf dem Chirurgentisch von Dubrovski gelandet. Denn es ist ein Autounfall passiert, drei Wolgas und ein Kippwagen sind aufeinandergeprallt. So was passiert eher selten, doch es passiert. Im übrigen bin aus diesem nach verbranntem und Benzin riechendem Müllhaufen, nur ich, schwach atmend, herausgeholt worden.

– Это что же такое? – сказал Дубровский, склоняясь надо мной, чтобы ампутировать поврежденную конечность. – Козья нога?!

Инструмент выпал у него из рук. Молодой ассистент пробормотал:

– Свежая, Масей Борысич, хоть суп вари.

Не знаю, сварили они суп из моей ноги или нет, потому что с ужасом вскочил со стола и ускакал на одной ноге.

На свидание, конечно, уже не пошел. Кому нужен одноногий фавн? Однако, как и все мы грешные, надеюсь на светлое будущее человечества и с нетерпением жду регенерации копыта ...

– Was ist denn das? – sagte Dubrovski, als er sich über mich beugte, um die verletzten Beine zu amputieren. – Ziegenbeine?!

Das Instrument war ihm aus der Hand gefallen. Ein junger Assistent murmelte:

– Frisch, Masej Borysitsch, man könnte eine Suppe kochen.

Ich weiß nicht ob sie nun eine Suppe aus meinem Bein gekocht haben oder nicht, weil ich mit großem Schreck vom Tisch gesprungen und mit einem Bein davon gehüpft bin.

Natürlich konnte ich nicht mehr auf meine Verabredung gehen. Wer braucht schon einen einbeinigen Faun? Eigentlich hoffe ich, wie alle Sünder, auf eine gute Zukunft für die Menschheit und warte voller Ungeduld auf die Regeneration des Hufes ...

Magdalene PENNARZ

DAS LACHEN DER PANDORA

Auszug aus dem Roman

IV / 1

Grenzsteine gab es an keiner Seite. Raum nach Ost, Süd, West, Nord unendlich. Baumaschinen, Bagger, Lastwagen, Krane hatte nur sie allein gesehen. Das Holz der gerodeten Bäume war gewinnbringend verschwunden. Und immer mehr dieser Riesen fielen im Laufe der Zeit. Vereinzelte Höfe, Dörfer und ganze Städte, Länder, Kontinente wurden gefressen. Flüsse, Seen, Meere, Gebirge wurden verschlungen. Das ewige Eis war schon vorher geschmolzen. Der Größenwahn sollte sich irgendwann vollenden in einem weltumspannenden Karussell.

Das Projekt stand kurz vor seiner Vollendung. Die Vorbereitungen liefen auf vollen Touren, die relevanten Kanäle waren gereinigt, die entscheidenden Stellen geschmiert, die handlungsfähigen Stränge weltweit verbunden, wie es sich gehörte für ein reibungslos funktionierendes System.

Nur sie allein hatte den Durchblick und war Zeugin aller Etappen des Baus. Mit ihrer bewährten Gründlichkeit kontrollierte sie jeden und alles und verfolgte mit der ihr eigenen Aufmerksamkeit jeden Bauabschnitt, legte ihren Schwerpunkt auf die tiefe und endgültige Verankerung im Boden, auf eine absolut senkrechte Achse und vielseitig variablen Ausbau. Mit den Plänen in der Hand – wie damals beim Bau des Würfels – war sie omnipräsent. Dieses Mal war das Optimum gefordert.

Und zwischen alle Vorbereitungen schuf sie sich ein Zeitfenster für einen intensiven Blick auf sich selbst. Zum ersten Mal nackt, sonst immer in grauer Kleidung, stand sie vor dem großen Spiegel, mit dem sie jahrelang ihr Lachen zur Vollendung trainierte.

Магдалене ПЕННАРЦ*Перевод Ирены ЛЕЙН***СМЕХ ПАНДОРЫ**

Фрагмент романа

IV / 1

Ни с одной стороны не видно было краеугольных камней. Бесконечный, уходящий на восток и юг, на запад и на север простор. Стройтехнику, землеройные машины, самосвалы, башенные краны видела только она одна. Древесина выкорчеванных деревьев исчезала, принося прибыль. И чем дальше, тем больше падало этих великанов. Уединенные усадьбы, деревни и целые города, страны и континенты пошли под нож. Потоки, озера, моря, горные цепи – поглощены. Вечные льды были растоплены еще раньше. Этой *громадомани* надлежало в какой-то момент раскрутиться и втянуться во всемирную Карусель.

Проект был близок к завершению.

Приготовления катились как по маслу, важные каналы очистили, нужные места подмазали, способные действовать звенья соединили по всему миру, как и положено в безотказной системе.

И только она одна прослеживала все, была свидетелем каждого этапа стройки. Со свойственной ей основательностью она держала под контролем всех и каждого, с особой тщательностью надзидала каждый этап работы, считала наиважнейшим условием предельно глубокое и фундаментальное заземление, абсолютную вертикальность оси и многофункциональность устройства. С чертежами в руках – как тогда, во времена сооружения *Кубодома* – она была вездесуща. На сей раз требовалось достичь идеала.

Но в круговерти всей этой подготовки она нашла окошко для того, чтобы пристальнее приглядеться к себе самой. Обычно одетая во все серое, стояла она теперь как бы впервые голая возле большого зеркала, перед которым годами вырабатывала и шлифовала бесчисленные нюансы своего смеха.

„So sieht eine alte Frau aus“, sagte sie vor sich hin, lakonisch, und sie formulierte die Details:

Schlaff hängende Brüste

kein Nabel in Sicht

und diese holprig verfärbten Schenkel

und krüppeligen Zehen am Fuß

die schwieligen Hände mit den Gichtknoten an den Gelenken

die braunen Flecken auf der Haut und die unzähligen Falten im Gesicht

und der zum Schusser verkleinerte graue Knoten, einstmals mein Stolz.

Eine verheerende Bilanz.

Der Geist hatte den Körper weit hinter sich gelassen.

Zur Rundumrenovierung begab sich Anna zum zweiten Mal in ihrem Leben in ein Krankenhaus. Die Ärzte hatten die Liste und arbeiteten sie Punkt für Punkt ab. Wie neu geboren und auch ein Stückchen größer als alle Jahre zuvor verließ die Frau nach einer gewissen Zeit das Spital.

Und stand wieder vor dem Spiegel nach der Morgentoilette. Der prächtige schwarze Knoten im Nacken war gerade vollendet, der Nasenknubbel, durch die Falten in seiner Gewichtung lange Zeit verschoben, saß wieder prägend im Gesicht, der Flaum auf Oberlippe und Kinn war verschwunden, die Wangenhaut glatt und die Stirn wie ein glänzendes Brett.

Nicht zufällig dachte sie an die Tage zurück, als sie sich auf die Bewerbung im Arzthaushalt vorbereitete. Damals hatte sie viel in Magazinen geblättert, um zu erfassen, was *in* war im Gesicht von Frauen. Und auch jetzt suchte sie nach dem Zentrum des aktuellen Geschmacks – und sie fand es und präparierte danach Wimpern, Lidstrich und -schatten, Augenbrauen und Lippen. Auch das richtige Rouge auf den Wangen konnte sie finden.

Bei der Kleidung blieb sie traditionell. Grau war die Farbe, die sich bewährt hatte all die vielen Jahre, der Rock und die Bluse auch, nur einen neuen Akzent wollte sie setzen mit einem leuchtend roten Tuch, dessen Zipfel ihre wieder straffen Brüste zierte.

Das neue Outfit schloss die Vergangenheit endgültig ab. Über das, was war, sprach keiner mehr angesichts des Neuen und was sie einzig mitgenommen hatte, war ihre Erfahrung, die unendliche Sammlung an Beobachtungen an Menschen und ihren zukunftsstragenden Schatz: ihr Lachen.

So war sie gewappnet für alles, was jetzt kam, und sie fühlte sich siegessicher.

«Так выглядит старая женщина», – пробурчала себе под нос и стала уточнять:

отвислые груди

пупка не видать

и эти бугристо поблекшие ляжки

и уродские мелкие пальцы на ногах

мозолистые руки с узловатыми костяшками суставов, как при подагре

бурые пятна, и на лице бесчисленные морщины и, ставший похожим на седую фигу, жидкий комок волос, былая гордость.

Отвратительный баланс.

Дух оставил тело далеко позади себя.

Для полного обновления Анна во второй раз в жизни отправилась в больницу. Доктора составили список и отработывали его пункт за пунктом. Будто заново рожденной и даже слегка подростшей вышла она через определенное время из клиники.

И снова стояла перед зеркалом после утреннего умывания. Темный узел роскошных волос скручен на затылке, бугорок носа, долгое время скрывавшийся в складках кожи, снова выразительно сидел на лице, тонкая шерсть над губой и на подбородке исчезла, щеки расправились и лоб стал похож на глянцевую планку.

Не случайно вспоминала она о тех далеких днях, когда готовилась наниматься в медицину. Тогда она пролистала множество журналов, чтобы уяснить, что же в лице женщины модно. Вот и сейчас ей хотелось попасть в самую точку современного вкуса, она ее нашла, и теперь приготовила ресницы, штрих и тени для век, бровей и губ. Смогла найти даже точные румяна для щек.

Что касается одежды, она осталась верна традиции. Серый – был тот цвет, который себя давно и хорошо зарекомендовал, юбка и блузка тоже, решила только добавить один акцент – пылко-красную косынку, кончики которой украшали ее вновь подтянутые груди.

Новая экипировка окончательно захлопнула прошлое. О том, что было когда-то, никто не заикался перед лицом Нового, и единственное, что она прихватила с собой – это опыт, бездонную коллекцию наблюдений за людьми, да еще свое сокровище, подъемную силу будущего – свой смех.

Так она вооружилась, была готова ко всему и чувствовала уверенность в своей победе.

Den Reichtum ihrer Erfahrungen auszubreiten, käme einem unübersehbaren Flohmarkt gleich, auf dem alles Erdenkliche, Mögliche und Unmögliche zum Kauf angeboten wird.

Frei, ohne Hindernisse, mächtig und voluminös konnte sich ihre Idee entfalten und dann, eines Tages, vollenden.

2

Annas neues Karussell.

Das „Weltkarussell“, wie sie es nannte.

Die zwei, Anna und das Karussell, wurden zur Einheit, so wie es sonst unter glücklichen Umständen nur Mann und Frau sein können, und all das, was sie in langen Tagen und Nächten gezeichnet und geschrieben hatte, war das Selbstporträt einer von Hybris voll aufgefüllten Frau mit dem hohen Anspruch der eigenen Urheberschaft. Kein Zufall, keine Fremdeinwirkung sollten Schatten werfen, auch wenn sie unzählige gut präparierte Helfer brauchte. Sie hatten beratende oder sklavenartig funktionierende Aufgaben, blieben anonym und hielten das tatsächlich aus. Spürbare und um ein Haar zerstörende Einflussnahme auf ihr Projekt hatte sie bereits wie eine lebensbedrohliche Krankheit erlebt und ein intaktes Immunsystem dagegen entwickelt.

Geld floss viel und pflasterte den Weg. Sie selbst hatte gewuchert ihr Leben lang und weltweit viele Quellen aufgetan. Sie hatte festgestellt: Wenn einer das Richtige, Wegweisende plant mit entsprechendem Durchsetzungswillen und Souveränität, dann öffnen sich wie von selbst die Hähne. Auf der Welt gab es genug Geld.

Ein wenig mehr Einblick in das Vorhaben soll noch gewährt sein von der Warte des äußerlich unbeteiligten Beobachters aus, bevor es unkommentierbar, unumkehrbar rasant seinen Lauf nimmt.

Den Einblick, den Anna nie bereit war, öffentlich zu geben, ließ sie hinten herum heraus, sodass keiner die undichte Stelle finden konnte. Es empörte sie auch nicht, wenn sie erfuhr, was alles erzählt wurde. Sie schwieg scheinheilig und freute sich im Stillen über die wie ein Geschwür sich ausbreitende öffentliche Diskussion überall da, wo man in diesen Zeiten diskutierte. Sie selbst beschrieb es als eine Batterie, die sich langsam, aber unaufhaltsam weltweit auflud. Nichts Besseres konnte ihrem Projekt im

Если бы разложить накопленные ею знания, то стало бы похоже на фломаркт без берегов, на котором предлагается купить все мыслимое и запредельное, все возможное и небывалое.

Свободно, беспрепятственно, мощно и грандиозно мог развернуться ее замысел, а потом, когда-нибудь, однажды – закрутиться.

2

Новая карусель Анны.

«Мировая Карусель» – так она ее называла.

Обе они, Анна и Карусель слились в одно, как может случиться только у мужчины и женщины при счастливом стечении обстоятельств. И все то, что она набрасывала и записывала долгими днями и ночами, было автопортретом надменной женщины, под ободок наполненной высокими претензиями на авторство. Ни случайность, ни постороннее влияние, ничто не должно было бросать тень, хотя ей необходимы были бесчисленные и хорошо подготовленные помощники. Они-то имели совещательные функции или выполняли холопские поручения, оставались анонимными, и были с таким положением согласны. Ощутимое, хотя всего с волосок толщиной разрушительное вмешательство в свой проект она уже раз испытала, пережила его как смертельную болезнь и выработала безотказную иммунную систему.

Деньги текли рекой и прокладывали путь. Сама постоянно давая в долг под проценты, она по всему миру обнаружила множество источников. И заметила: если планировать нужное дело на верном направлении да еще с соответствующей пробивной силой и самоуверенностью, то задвижки станут открываться, будто сами собой. Денег на свете сколько хочешь.

И еще немного пристальнее следует взглянуться в замысел, с колокольни как бы стороннего наблюдателя, прежде чем проект рванет вперед уже неотвратно и неподсудно.

Этот взгляд, который Анна никогда не решалась бросить открыто, это наблюдение она проделывала из-под локтя, так что никто и не мог обнаружить слабое место. Ее не возмущало, когда приходилось узнавать, о чем кругом говорят. Она помалкивала притворно, тайно радуясь тому, как нарывами разрастаются вокруг

Vorfeld geschehen.

Oben wurde der Erfahrungsschatz der Frau als riesiger bunter Flohmarkt beschrieben. Hier drängt sich noch ein anderes Bild auf. Sie hat ihr Leben lang gesammelt in einem riesigen elastischen Gefäß, unendlich dehnbar in alle Richtungen:

Beobachtungen an Menschen und Trends, Entwicklungen, Tendenzen in den massentauglichen Medien aus Fernsehen zum Beispiel mit den inzwischen unzählbaren Kanälen aus Zeitungen und Magazinen und schließlich – und in der letzten Zeit hauptsächlich – wurde das Klicken, die schnelle Information, das Internet als Sammelbecken für alles und jeden in der Welt, zur unerschöpflichen Quelle ihrer Sammelleidenschaft.

Und um nicht im Großen das Kleine zu übersehen, hatte die Zeit auf dem Campingplatz ihren Blick auf das Detail geschärft und wörtlich konnte man lesen:

Die Menschen ähneln sich und nähern sich weltweit immer mehr an. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Variationen – und das mit sinkender Tendenz. Das ganze Menschenmaterial wird mehr und mehr überschaubar wie das Angebot in einem Supermarkt. Bedürfnisse, Gewohnheiten, Lebensformen werden durch Kräfte der Nachahmung, Bequemlichkeit und – allen voraus – des Geldes einander angepasst. Damit wird ein immer umfassenderes Agieren möglich. Mittel und Wege weltumgreifender Information sind der größte Wachstumsmarkt und Rezepte zur Programmierung von Massen sind immanent enthalten. Updates werden im Hintergrund geladen und der zündende Augenblick im System automatisch eingearbeitet. Irgendwann gilt es nur noch, abzuwarten.

So weit sei Anna zitiert und damit das Fundament der bevorstehenden Aktion. Ihre sprachlichen Marotten und Ticks hatte sie längst abgelegt, um kristallklar ihren Weg zu definieren. Was sie einmal war, wird sie nie mehr sein. Eingebunden in das System wird sie mit funktionieren und für die Außenwelt unsichtbar ihre Aufgaben erfüllen. Grüne und rote Knöpfe wird es nicht mehr geben, die Technik hat über den Menschen gesiegt. Der kann letztendlich noch die Nuancen bestimmen, Nachregulierungen, Feineinstellungen vornehmen, wie man so sagt. Der zwingende Verlauf ist damit nicht zu stören.

обсуждения в тех самых местах, где теперь принято дискутировать. Картина виделась ей вроде этакой батареи, которая медленно, но неудержимо заряжается от окружающего мира. Ничего лучшего на подступах к ее проекту и не могло происходить.

Чуть выше сокровища женского опыта были описаны как гигантский пестрый фломаркт. Здесь напрашивается другой образ. Всю жизнь собирала она в один исполинский, растяжимый до бесконечности резервуар: наблюдения за людьми и тенденциями за развитием и отклонениями, за трендами – собирала из массовых газетенки, собирала из телевизора, в котором теперь уже не счесть каналов, из толстых газет и глянцевого журналов, и, наконец – а в последнее время почти только – кликаньем, моментальную информацию – из интернета, этого всеобщего сливного бассейна, ключевого источника ее собирательской страсти. И чтобы леса за деревьями не упустить, взгляд её, еще с кемпинговых времен, наострил видеть с детальной точностью. Можно было прочесть буквально следующее:

Люди в мире становятся похожими друг на друга и сближаются все сильнее. Число вариаций ограничено и оно уменьшается. Человеческий материал становится все более обозримым, как товар в супермаркете. Запросы, привычки, уклады жизни будут силою подражания, леностью и – в первую голову – деньгами подогнаны друг к другу. Поступки станут все более универсальными. Средства и пути всеохватной информации и есть самый быстрорастущий рынок, а рецепты программирования человеческих масс вытекают из их природы. Updates, а значит обновления программ, будут загружены на задний план и момент активизации автоматически встроены в систему. Придет время, когда останется только одно – ждать.

Таковыми словами Анну цитировали и как бы описывали фундамент предстоящей акции. Словесные заморочки и причуды она давно отставила, чтобы с кристальной ясностью определить свой путь. Никогда не будет она тем, чем когда-то была. Подключенная к системе, она будет функционировать со всеми, и незаметно для внешнего мира выполнять свои задачи. Больше не останется зеленых и красных кнопок, техника превзошла человека. Он может, в результате, еще определять нюансы, подстройки, как говорится, уточнять наводки. Но помешать этим неодолимо текущему уже не

Anna wird auf ihre Art jede Fahrt miterleben und der Technik volles Vertrauen schenken. Die hat inzwischen den Menschen so weit ersetzt, dass der zwar noch in den obersten Etagen erfindet, entwickelt, delegiert. Dann aber gibt es den Sprung in weltweit agierende, verzweigte Betriebe, die – hoch spezialisiert – mit Robotern und einem Mindestmaß an Arbeitskräften das Geforderte in unglaublichen Mengen produzieren. Auf dieser Grundlage funktioniert die Wirtschaft und letztendlich auch der reduzierte Mensch, für dessen jetzt überflüssige Kapazitäten Anna einen Ausgleich schaffen wird, um Aufstände und Revolutionen zu verhindern. Das alte „*Panem et circenses*“ wird sie in die Neuzeit holen, hat sie bereits geholt, denn die Pläne sind weitgehend realisiert und der Eröffnungstag steht nahe bevor.

Noch ein paar Worte zur Präzisierung: Anna wird jede Fahrt mit geheimer Aktivität begleiten und all das, was geschehen mag, während sich das Karussell dreht, das Lachen, Weinen, Rufen und Schreien der Fahrgäste, ihre Berührungen und Gedanken, ihre Träume und Fantasien überwachen, beeinflussen, wenn nötig korrigieren und steuern. Der dafür notwendige technische Apparat wurde bis ins Einzelne besprochen und erprobt. Natürlich war, wie schon erwähnt, die Fachwelt beratend für sie tätig und verspricht sich einen für den normalen Menschenverstand nicht vorstellbaren Profit. Wer aber wann und wie am Entstehungsprozess sich beteiligte, bleibt, so wie jedes Detail, ein Geheimnis.

Man mag vermuten, dass es während der Bauphase häufig hieß: „So etwas ist nicht realisierbar!“ – „Hier gehen Sie zu weit!“ – „Das da ist unmöglich!“ – „Denken Sie bitte neu nach!“

Wie Anna auf solche Zweifel reagierte, war von vorneherein klar. Und alle, die mit Einwänden versuchten, Einfluss auf das Projekt zu nehmen, zogen schließlich den Schwanz ein und staunten.

Und noch ein paar Einzelheiten zum Verlauf: Beim Kauf der Fahrchips wird jeder Besucher einige wichtige Daten zu seiner Person angeben müssen, zum Beispiel Name, Geburtstag und Wohnort, dazu besondere Wünsche, Hoffnungen und Erwartungen, nicht auf die Karussellfahrt bezogen, sondern auf das gesamte Leben. Die Menschen, ohnehin durch Internet und Fernsehen gewohnt, auch intime Einzelheiten preiszugeben, werden nicht zögern, hier ebenfalls die Fragen zu beantworten, die ihnen den Freischein geben für die ersehnte Fahrt. Diese Daten, verbunden mit den ohnehin registrierten über jeden Einzelnen im weltweiten Zentralcomputer, verarbeiten sich im Karussellcomputer zu den Ergebnis-

может. Анна будет по-своему сопереживать каждый заезд, но безраздельно доверять технике. Ведь она постепенно настолько вытесняет человека, что он где-то там наверху еще изобретает, проектирует, поручает ... Но дальше происходит скачок в разбросанные и разветвленные по всему миру производства, высокоспециализированные, полные роботов и практически лишенные людей, которые производят невероятные груды вещей. Таким путем будет функционировать промышленность. Сокращенному в итоге человеку, его никому не нужным ресурсам Анна найдет противовес, чтобы не допустить протестов и революций. Она вернет назад древнеримское «*Panem et circenses*» – «Хлеба и зрелищ», да уже вернула, ибо планы практически реализованы и день открытия практически на пороге.

И еще пара слов для точности: Анна будет каждый заезд сопровождать сама, действовать скрытно, но все что может произойти в тот время, как Карусель крутится – смех, плач, крик и вопли пассажиров, их прикосновения и мысли, их мечты и фантазии – все это наблюдать, разруливать, а если нужно, то поправлять и направлять. Необходимые для этого технические средства были ею обсуждены до мелочей и апробированы. Конечно, как ранее упоминалось, широкие круги специалистов уже привлекались к консультациям и обещали непостижимые для человеческого ума выгоды. Но кто, когда и насколько участвовал в этом процессе, остается как все детали тайной.

Нетрудно догадаться, что пока шла стройка часто говорилось: «Это неосуществимо!» – «Тут вас заносит!» – «Такого не бывает!» – «Пожалуйста, подумайте хорошенько!».

Как Анна реагировала на подобные сомнения, можно себе представить. И все, кто, вмешиваясь, пытались повлиять на ход проекта, быстро поджимали хвосты и только дивились.

И еще парочка деталей к процессу катания: при покупке электронного чипа для сеанса каждый посетитель обязан будет сообщить о себе некоторые важные данные. К примеру, имя, день рождения и место жительства, а также особые пожелания, надежды и ожидания, связанные не с ездой на Карусели, а со всей жизнью вообще. Люди, и так уже приученные интернетом и телевизором разглашать о себе всякие интимные вещи, не станут колебаться, отвечать ли на вопросы, если за это обещана дармовая поездка. Эти данные, соединенные с данными поголовной регистрации во Всемир-

sen und Folgerungen, die die angepriesene Traumfahrt ermöglichen. Was Anna da auf die Beine gestellt hat, ist gigantisch – und nur der, der es erlebt hat, wird bereit sein, es zu glauben, wenn er noch kann und will. Und zu aller Vollendung gehört noch grenzenlose Flexibilität. Täglich, stündlich, minütlich kann das Programm variieren, sich den Bedürfnissen der Fahrgäste anpassen und die Hoffnung, mehr noch, die Erwartung, dass das möglich sein kann, waren und sind Gewissheit in ihrem Gehirn. Sie glaubte, damit die Möglichkeit und das Material zu haben, die Masse der Karussellfahrer lückenlos in der Hand zu haben, zu begeistern und zu fesseln

ном Центральном Компьютере, обрабатываются в Карусельном Компьютере так, что в результате хваленая чудо-поездка становится возможной. То, что Анне удалось осуществить, просто потрясающе, и только тот, кто сквозь это пройдет, будет способен поверить до конца. Если еще сможет и будет хотеть. И конечно, верхом совершенства станет безграничная гибкость. Ежедневно, ежечасно, поминутно программа сможет видоизменяться, подстраиваться к потребностям пассажиров. Надежда, более того – убежденность, что это сможет происходить, превращались в ее мозгу в твердокаменную веру. Она верила, что таким образом обрела возможность и средство удерживать в руках всю массу Карусельных ездовых, а также вдохновлять их и подчинять.

Владимир АБРАМСОН

СТЕПА

Только директор гимназии, доктор гонорис кауза (за заслуги в педагогике и психиатрии) Франц Рорбах носит в Мюльбахе белые крахмальные манжеты, с тяжелыми на вид запонками. Манжеты и запонки «Монарх» обяыывают к неуловимой дистанции с обывателями. Некая незавершенность наблюдаема в его внешности: нет пышных усов, чтобы походить на портрет профессора Оскара фон Миллера, основателя знаменитого мюнхенского Немецкого музея.

В своей либеральной гимназии доктор Рорбах преподает немецкую литературу (он предпочитает: «ведет курс»). Гимназисты уважают Гете и Шиллера, но мучаются, читая их в подлиннике. Он в тайне полагает себя писателем. Отстал от века мобильных и бикини, не стремится печатать свои эссе. Немецкая пропись ложится мелко и остро, с частыми всплесками изящных прописных букв. Франц тайно пробовал писать гусиным пером, как Гете и Шиллер. Много клякс, да сочтут сумасшедшим. Чернильные строки он скармливает компьютеру. GOOGLE имеет преимущество перед мозгом – им чаще пользуются. Порой компьютер взрывается каскадом непонятных приказов, погружая учителя в чистую грусть по иным временам.

Дневник доктор создает собственной рукой. Непокой мужчины замкнутого, одинокого и тщеславного: дневник как концентрация мыслей и история души. Чуть приукрасить, чтоб выглядеть оригинальней. Прочтет ли кто-нибудь картинки нелепого начала третьего тысячелетия. Дома он пишет, стоя за старинным бюро. Сквозь лак видны следы жучков – древоточцев. Правда, дерево умело состарил мебельщик, но Франц предпочитает об этом забыть.

Он встал к бюро и написал: «Уважаемая фрау Нина Гольдштейн, год назад Ваш сын Степан, шестнадцати лет, принят в Макс-Вебер-Гимназию, как гость. Так мы называем испытательный срок. Немецкий язык Вашего сына не был глубок, и я сказал об этом.

Vladimir ABRAMSON

Übersetzung Sascha VINOGRADOV

STJOPA

Nur der Direktor des Gymnasiums, Doktor honoris causae (für Verdienste in der Pädagogik und der Psychiatrie) Franz Rohrbach, trägt in Mühlbach weiße gestärkte Manschetten mit augenscheinlich schweren Manschettenknöpfen. Manschetten und Manschettenknöpfe „Monarch“ verpflichtet zu einer kaum erfassbaren Distanz zu den Bürgern. Man kann in seinem Äußeren eine gewisse Unvollkommenheit beobachten: er hat keinen üppigen Schnurrbart, um dem Porträt Professors Oskar von Miller, des berühmten Gründers des Münchner Deutschen Museums, zu ähneln.

In seinem liberalen Gymnasium unterrichtet Doktor Rohrbach die deutsche Literatur (er bevorzugt „leitet den Kurs“). Gymnasiasten achten Goethe und Schiller, quälen sich aber, wenn sie ihre Werke im Original lesen. Er hält sich insgeheim für einen Schriftsteller. Er ist mit dem Jahrhundert mobiler Telefone und Bikinis nicht mitgekommen, bemüht sich nicht, seine Essays zu veröffentlichen. Seine deutsche Handschrift reiht sich klein und spitzig in die eleganten Buchstabenwellen. Franz hat heimlich versucht, mit einer Gänsefeder wie Goethe und Schiller zu schreiben. Es gab viele Kleckse, und man hielt ihn wohl für einen Verrückten. Er füttert mit Tintenzeilen seinen Computer. Google hat einen Vorteil dem Gehirn gegenüber – es wird öfter benutzt.

Das Tagebuch verfasst Doktor eigenhändig. Das Tagebuch als Konzentration von Gedanken und als Geschichte seiner Seele bezeugt die Unruhe eines geschlossenen, einsamen und eitlen Mannes. Ein wenig verschönern vermittelt einen originellen Eindruck. Ob jemand die Bilder des ungeschickten dritten Jahrtausends wahrnehmen wird. Zu Hause schreibt er an einem alten Büropult stehend. Durch die Lackschicht sieht man Spuren von Holzwürmern. Das Holz hat eben ein Schreiner gekonnt gealtert, Franz versucht aber diese Tatsache zu vergessen. Er stellte sich an den Büropult und schrieb: „Sehr geehrte Frau Nina Goldstein, vor einem Jahr wurde Ihr Sohn Stepan in das Max-Weber-Gymnasium als Gast aufgenommen. So nennen wir die Probezeit. Die deutschen Sprachkenntnisse

– Господин директор, ответил он, для Вас *gehen, ging, gegangen* одно слово, для меня три. Дайте мне три месяца на изучение языка Лессинга и Рильке. Сейчас его немецкий безупречен, успехи отличны.

Я часто беседовал со Степаном и почувствовал – близкие экзамены, отношения с одноклассниками, их безобидные пирушки его не занимают. Он выше их интересов.

Робость и скрытое превосходство диктуют злые шутки над товарищами, его сторонятся. Он странно равнодушен к девушкам. С жаром говорит о неизвестном у нас русском писателе Андрее Платонове. О двойственности этических взглядов писателя и поисках «вещества жизни». О сексуальном радикализме Платонова. Увлечение Степана русской литературой, на мой взгляд, вредит рождению и развитию его немецкой сущности. Мы были свидетелями движения мульти-культу, т.е. поддержки иных и самостоятельных культур внутри Германии. Где ныне эти дамы–идеалистки?..

Ваш сын безусловно талантлив, несколько экзальтирован. Гуманитарий по складу ума, он превосходен и в математике. Но я наблюдаю странности: есть он помогает себе руками. Говорит быстро и сбивчиво; неопрятен в туалете. Поверьте моему опыту, фрау Нина, гимназия ему в тягость. Я взял на себя смелость написать коллеге доктору Арно Шверу, возможно Степан найдет себя и друзей в школе, расположенной в чудесной горной местности. Искренне Ваш, Франц Рорбах.»

Письмо доставлено на следующий день Нине Гольдштейн, недавней москвичке. Нина отыскала самый большой словарь, она и сейчас боится страниц, усыпанных толкованиями ста тысяч упругих немецких слов. Язык, где главенствует глагол и, следовательно, конкретное действие, нравится Нине.

Перемены в сыне Нина заметила; она шестнадцать лет с ужасом, к которому нельзя привыкнуть, ждала их. Вышла в редкий окраинный парк у дома. Снега не было, коричневая прошлая листва застилала поляну и, мокрая, чавкала под кроссовками. Женщина ступала осторожно. Здесь, в этом жухлом парке, ей откровенней думалось. С сыном они интуитивно понимают друг друга. В inferнальные сферы Нина не вдавалась; но звонит ли мобильный телефон – и она знает, где он, о чем думает и что сейчас скажет.

– Я хочу увидеть твою девушку.

Ihres Sohnes waren nicht tief, und ich habe das auch gesagt.

– Herr Direktor, – antwortete er, – gehen ging gegangen ist für Sie ein Wort, für mich aber drei. Geben Sie mir drei Monate, um die Sprache von Rilke und Lessing zu lernen. Jetzt ist seine Sprache tadellos, er hat gute Leistungen.

Ich habe oft mit Stepan geredet und habe gespürt, dass ihn die nahenden Prüfungen, die Beziehungen zu seinen Mitschülern, ihre harmlosen Gelagen nicht beschäftigen. Er steht über ihren Interessen.

Seine Schüchternheit und seine verborgene Überlegenheit diktieren ihm böse Witze über seine Kameraden, sie weichen ihm aus. Er ist merkwürdigerweise gleichgültig den Mädchen gegenüber. Er redet begeistert über den bei uns unbekanntem russischen Schriftsteller Andrei Platonow. Über den Dualismus ästhetischer Ansichten des Schriftstellers und über seiner Suche nach dem „Lebensstoff“. Über den sexuellen Radikalismus Platonows. Die Vorliebe Stepans für die russische Literatur schadet aus meiner Sicht das Entstehen und die Entwicklung seines deutschen Wesens. Wir waren Zeugen der Multi-Kulti-Bewegung, d.h. Unterstützung anderer und selbständigen Kulturen innerhalb Deutschlands. Wo sind jetzt diese Damen-Idealistinnen?

Ihr Sohn ist zweifellos talentiert, einigermaßen exaltiert. Er ist seiner Denkart nach ein Humanitarier, er ist auch perfekt in der Mathematik. Ich merke aber Ungereimtheiten: er hilft sich beim Essen mit Händen. Er redet schnell und stockend; ist unordentlich in seiner Toilette. Glauben Sie meiner Erfahrung, Frau Nina, das Gymnasium ist ihm eine Last. Ich habe gewagt, an meinen Kollegen Doktor Arno Schwer zu schreiben. Möglicherweise findet Stepan sich und seine Freunde in der Schule, welche in einer wunderschönen Berglandschaft liegt Mit freundlichen Grüßen, Franz Rohrbach.“

Der Brief wurde am nächsten Tag Nina Goldstein, der früheren Moskauerin, gebracht. Nina hat ihr größtes Wörterbuch ausgesucht, sie hat nach wie vor Angst vor Seiten, welche mit den Deutungen von tausenden elastischen deutschen Wörtern übersät sind. Die Sprache, in der das Verb und dem entsprechend eine konkrete Handlung herrscht, gefällt Nina.

Die Veränderungen an ihrem Sohn hat Nina bemerkt, sie wartete sechzehn Jahre lang auf diese voll Panik, an die man sich nicht gewöhnen kann. Sie ging in den lichten Stadtrandpark am Haus. Es gab keinen Schnee, braunes einstiges Blattwerk bedeckte die Parkwiese und feuchtes schmatzte es Park dachte sie aufrichtiger unter den Turnschuhen. Die Frau schritt vorsichtig. Hier, in diesem welken Ihr Sohn und sie verstehen einander intuitiv. In die

- Нет ее в ближайшей округе, мама.
- Ни одна тебе не по нраву?
- Агата затащила на дискотеку, а после сказала – едем ко мне, родителей нет. Понял, не хочет ночь упустить, пока дом пуст. В такси обнялись, все доступно. Я так не могу, Ма.
- Не путаешь ли чувство и коварство? Это совсем естественно, сексуальное влечение. У тебя?
- Еще как. А у тебя?
- Мать об этом не спрашивают. Потому, что с матерью не спят.
- Почему?
- Тогда не стало бы людей, только обезьяны. Тебя мальчики прельщают?
- Ну, ты в отпаде, мам. Женщина в моей жизни будет. Ты ее видела. Хайди Вагнер, ведет на ТВ новости культуры.
- Боже мой, она меня старше.
- Изумительная, легкая, умная. Напишу ей.
- Полагаю, Хайди Вагнер получает иногда письма от взрослых мужчин.
- Поверь, *я другой человек, может быть, гений*. Ты это чувствуешь. Не презираю никого, да скучно. Только с тобой я говорю... на ступень впереди очевидного. В школе твердят обыденное, заранее ясное... Вчера математик доказывал теорему и по ходу логически разделил на ноль, не заметил. И позже невольно умножил на единицу, понимаешь? Смешно. Только я ясно понял.
- Не стало бы темно, – с давним страхом думала Нина.

Восемнадцать лет назад Нина Гольдштейн села в поезд Петербург – Москва. Пока вагон не тронулся, мужчина в темно-кирпичного цвета легком, нездешнем и ловком свитере, стоя в коридоре, поглядывал. Не избалованной вниманием Нине нравились высокие, хорошо одетые, ловкие мужчины. Средних лет. Этого же делали смешным очень редкие волосы, за неимением лучшего заложенные поперек головы. Носил бы честную лысину. Лысый поглядывал. Натянула юбку ниже. И то смотреть, колени не первой свежести. Мужчина улыбнулся. Ходок, наверно, кадрит. Брюки надо было надеть. Прошла и независимо закурила в тамбуре. В конце концов, мне тридцать лет. Нашла билет: поезд номер ... вагон номер ... место номер ...

infernalen Sphären vertiefte sich Nina nicht. Wenn aber das mobile Telefon klingelt, weiß sie, wo er ist, was er denkt und was er gleich sagen wird.

- Ich will dein Mädchen sehen.
- Es gibt keines in der nächsten Umgebung, Mama.
- Gefällt dir keines?
- Agatha hat mich in eine Disko geschleppt, dann hat sie gesagt – fahren wir zu mir, die Eltern sind nicht da. Es war mir klar, sie will die Nacht nicht verpassen, solange das Haus leer steht. Im Taxi haben wir uns umarmt, alles war erlaubt. Ich kann so nicht, Mam.
- Verwechselst du nicht das Gefühl mit Hinterlistigkeit? Es ist völlig natürlich, sexuelles Verlangen. Bei dir?
- Und wie. Und bei dir?
- Mutter fragt man nicht danach. Weil man mit der Mutter nicht schläft.
- Warum?
- Sonst gäbe es keine Menschen mehr, bloß Affen. Stehst du auf Jungen?
- Nein, du spinnst, Mam. Ich werde noch eine Frau in meinem Leben haben. Du hast sie gesehen. Heidi Wagner, sie moderiert beim TV Kulturnachrichten.
- Du lieber Gott, sie ist doch älter als ich.
- Sie ist wunderbar, leicht, intelligent. Ich werde an sie schreiben.
- Ich vermute, Heidi Wagner bekommt ab und zu Briefe von erwachsenen Männern.
- Glaub mal, *ich bin ein anderer Mensch, möglicherweise ein Genie*. Du spürst es. Ich verachte niemanden, es ist doch so langweilig. Nur mit dir rede ich... eine Stufe über dem Offensichtlichen. In der Schule bläut man uns das Alltägliche ein, im voraus Klares... Gestern hat der Mathematiklehrer das Beweisen eines Theorems vorgeführt und hat im Verlauf logisch durch Null geteilt und hat es nicht gemerkt. Und später hat er genau so unbewusst mit Eins multipliziert, verstehst du? Lächerlich. Bloß ich habe es klar verstanden.

Nicht dass es dunkel wird, – hat Nina in ertümlicher Angst gedacht.

Vor achtzehn Jahren setzte sich Nina Goldstein in den Zug Petersburg – Moskau. Solange der Waggon nicht in Bewegung kam, betrachtete sie ein im Korridor stehender Mann im dunkel-backsteinfarbenen, nicht einheimischen und ordentlichen Pullover. Die nicht durch Aufmerksamkeit verwöhnte Nina mochte große, gut angezogene gescheite Männer. Mittleren Alters. Diesen machten sehr dünne Haare komisch, ohne was besseres zu haben, kämmte er sie quer über den Kopf. Es wäre besser

– Место номер ..., чей билет в тамбуре? Федоров взял билет и скрылся в соседнем купе.

Козел, спасибо не сказал.

Федоров (так всегда его называла) пришел и очень помог. Соседями Нины оказались трое чеченцев. Вошли с пластиковыми магазинными кошельками, угадывался нехитрый скарб – полотенце, белый батон, смена белья. Заросшие черной и, верно, очень жесткой щетиной, до желтизны усталые. Словно бегут куда-то. Гортанная речь. Разлили водку, отказаться нельзя. Федоров спросил о Кавказе.

– Там хорошо. Буденновск взяли, Грозный вернули. По завету Москву возьмем. Русские не хотят умирать. Оружие нам продают, трупами чеченцев торгуют. (Федоров в лице изменился).

Старший из чеченцев говорил строго: – Потом на Германию пойдем. Немец воевать не будет, откупится. У нас на знамени – волк на горе. Воеет на вершине. – На Луну тоскливый волчий вой – подумал Федоров. Вслух не скажешь.

– Англия там недалеко ... чеченец вынул нож и кругло вскрыл консервную банку.

– Между Европой и Англией море, – напомнил Федоров.

– Нашу водку пьешь и нас обманываешь: нет там моря.

Ночью чеченцы вышли на темной станции. Такой темной, что перед отходом поезда звонил станционный колокол и звук плыл над черным лесом. Они остались в купе вдвоем. Федоров демонстративно не затворил дверь. Рассказывал о чиновничьем житье в столице. Даже волновался, путался и начинал снова. Нина пыталась понять, кто зав., кто зам., и в чем интрига. Потом думала о своем. Ночью дверь купе шумно открывалась – закрывалась по ходу поезда. Утром Нина почувствовала, ее будят и целуют ладонь. В такси она тоскливо выкрикнула свой адрес на Таганке, Федоров тихо сказал шоферу – Ленинский проспект. В прихожую проник размытый свет застекленной кухонной двери. Федоров неизбежно, как судьба, снял с нее дубленку. Розовые женские тапочки валялись под вешалкой. Розовый дешевый цвет ее уколол.

Потянулись, напрягая, ни к чему не обязывающие встречи – скороговорки в случайных комнатах. С чужими фотографиями под стеклом, несвежими простынями. Иногда Федоров договаривался с очередным приятелем при Нине. Сидела, равнодушно ожидая койки, умирая со стыда. Федоров не мог *задерживаться с ней* более двух часов. И только днем. В гостиницу ходили к праздникам. Снять

gewesen, eine ehrliche Glatze zu tragen. Der Glatzköpfige blickte sie immer wieder an. Sie zog ihren Rock tiefer. Nichts zum Glotzen, ihre Knien waren nicht mehr frisch. Der Mann hatte gelächelt. Freier, wahrscheinlich baggert an. Ich hätte eine Hose anziehen sollen. Sie ging vorbei und zündete im Windfang unabhängig eine Zigarette an. Ich bin letztendlich dreißig. Sie hat eine Fahrkarte gefunden: Zug Nummer ... Waggon Nummer ... Platz Nummer ...

– Platz Nummer ... Wem gehört die Fahrkarte im Windfang? Fjodorov hat die Fahrkarte genommen und ist im Nachbarabteil verschwunden.

Ziegenbock, sagte nicht mal Danke.

Fjodorov (so nannte sie ihn immer) kam und hatte ihr geholfen. Die Nachbarn Ninas waren drei Tschetschenen. Sie kamen mit Plastiktüten aus dem Supermarkt, man konnte den einfachen Inhalt erkennen – Handtuch, Weißbrot, Wäschewechsel. Sie hatten schwarzen und wahrscheinlich sehr harten Bartwuchs, sie waren gelb im Gesicht von der Müdigkeit. Als ob sie irgendwohin fluchten. Rachenlaute. Sie gossen Wodka ein, man darf nicht ablehnen. Fjodorov fragte sie über den Kaukasus aus.

– Dort ist es gut. Man hat Budenovsk erobert, Grosny wurde zurückgegeben. Dem Vermächtnis nach erobern wir Moskau. Russen wollen nicht sterben. Sie verkaufen uns Gewehre und handeln mit Leichen von Tschetschenen.

Der älteste Tschetschene redete streng: Dann gehen wir nach Deutschland. Die Deutschen werden nicht in den Krieg ziehen, sie kaufen sich frei. Auf unserer Fahne steht ein Wolf auf dem Berg. Er heult auf dem Gipfel. – Dem Mond gilt das traurige Wolfsgeheul. – fiel Fjodorov ein. Laut darf man das nicht sagen.

– Dann ist England nicht weit...der Tschetschene holte das Messer und öffnete rund eine Konservendose.

– Zwischen Europa und England liegt das Meer, – erinnerte Fjodorov.

– Trinkst unseren Wodka und betrügst uns dabei: es gibt dort kein Meer.

Nachts stiegen die Tschetschenen auf den dunklen Bahnsteig aus. So dunkel, dass vor der Abfahrt des Zuges die Stationsglocke schlug, und der Klang schwebte über dem schwarzen Wald. Sie blieben zu zweit im Abteil. Fjodorov hatte demonstrativ die Tür nicht zugemacht. Er erzählte vom Beamtendasein in der Hauptstadt. Er war merkbar aufgeregt, verlor den Gedanken und fing von vorne an. Nina versuchte zu verstehen, wer der Chef war, wer der Stellvertreter und wo die Intrige war. Dann dachte sie an ihr Eigenes. Nachts über ging die Tür laut auf und zu – je nach der Fahrtrichtung. Morgens hatte Nina gespürt, dass jemand sie weckt und in

номер на сутки и уйти через два часа – бешеные деньги за койко-час. Холодный секс внутри Садового кольца. Они лежали в чьей-то постели на Чкаловской. За закрытым и заклеенным окном ревела магистраль. Грохотали грузовики, выла некормленной львицей «скорая помощь». Чем выше этаж, тем шумней московская квартира. В ней нельзя жить, магистраль смолкает поздно. Был день, Федоров спал. Нина увидела... вы понимаете, где: красное пятно, с маковое семя, серо-желтое по краям. В провинциальном пединституте юношам давали военное дело, студенткам первую медпомощь и основы гигиены. Нина вспомнила цветной плакат. Надо увериться. С омерзением взяла рукой. Семечко – зернышко твердое и глубокое. Твердый шанкр, первая стадия сифилиса. Федоров жалко улыбался и говорил, говорил. Исчез. В ней поселился ужас, Нина беременна на третьем месяце и хочет родить. От сифилитика и сама больна? Несчастный малыш. Она бросилась в вендиспансер. Пол цементный, тот же плакат на стене и десяток молчащих женщин. Врач, усталый мужчина, вышел в коридор. Женщины его окружили. Врач раздавал награды по анализам: Иванова – педикулез, Петрова – подновила триппер, Сидорова – герпес. Нину он завел в кабинет, редкий в наше время диагноз. Врач общителен, даже весел, наивно внимателен. Беды ее не касался. Нина не живет в вакууме. Ждут подруги, приятели – из студенческих лет. Не расскажешь о своем позоре. Только этому утомленному человеку. В тишине венерологического кабинета, окна зарешечены. Выслушал и приступил к делу доброжелательно и просто.

– Назовите партнера. Хотя бы адрес и возраст, мы сами разыщем. Вспомните всех мужчин за год.

– Могу и за всю жизнь, по пальцам одной руки.

Тон его менялся на приказной. Нет разносчика – нет лечения. Подумайте о его детях – сказал врач заученно. – Их надо немедленно лечить. – сердце Нины дрогнуло. Она видела однажды его трехлетнего сына.

– Одумаетесь – приходите.

Не выдала Федорова из отвращения к себе и ненависти к нему. Чтоб не встречаться и доказывать прилюдно. К чести постсоветской венерологии, позже она все-таки получила приглашение в вендиспансер.

die Handfläche küsst. Im Taxi hat sie schwermütig ihre Adresse an Taganka genannt, Fjodorov hat dem Taxifahrer leise gesagt – Leninprospekt. In den Flur drängte verschwommenes Licht der verglasten Küchentür. Fjodorov hat ihr unvermeidlich wie das Schicksal ihren Wildledermantel ausgezogen. Rosafarbene Frauenpantoffeln lagen unter der Garderobe. Das billige Rosa hat sie am Auge gestochen.

Dann zogen sich die anstrengenden zu Nichts verpflichtende Treffen – Blitzgespräche in zufälligen Zimmern. Mit fremden Fotografien unter dem Glas, mit nicht frischer Bettwäsche. Manchmal verabredete sich Fjodorov mit dem nächsten Kumpel in Ninas Anwesenheit. Sie saß da, gleichgültig auf dem Bett wartend, sterbend vor Scham. Fjodorov durfte mit ihr *nicht länger als zwei Stunden bleiben*. Und nur Tages über. Ins Hotel gingen sie nur an Feiertagen. Ein Zimmer für 24 Stunden mieten und dann nach paar Stunden gehen – jede Menge Geld für eine Bettstunde. Kalter Sex innerhalb des Gartenringes. Sie lagen in einem fremden Bett an Tschkalovskaja Straße. Hinter den geschlossenen und zugeklebten Fenstern dröhnte die Magistrale. Die LKW's krachten, die „Nothilfe“ heulte wie eine nicht gefütterte Löwin. Je höher die Etage, desto lauter ist eine Moskauer Wohnung. In so einer kann man nicht wohnen, die Magistrale wird erst ganz spät leise. Es war Tag. Fjodorov schlief. Nina hat etwas gesehen... Sie verstehen schon wo: roter Fleck, klein wie eine Mohnsame, grau gelb am Rand. In einem provinziellen pädagogischen Institut bekamen junge Männer einen Militärkurs, und die Studentinnen hatten erste medizinische Hilfe und Grundlagen der Hygiene. Nina erinnerte sich an ein buntes Plakat. Man muss sich vergewissern. Mit Ekel hat sie es mit der Hand angefasst: eine Same – ein Korn, hart und tief. Harter Schanker, erstes Stadium von Syphilis. Fjodorov redete elend und redete, redete. Verschwunden. Panik ergriff sie. Nina war im dritten Monat schwanger und wollte das Kind behalten. Von einem Syphilitiker? Sie selbst ist auch krank? Armes Baby. Sie rannte in die venerologische Klinik. Der Fußboden ist aus Zement, an der Wand hängt dasselbe Plakat, im Raum sitzt ein Dutzend schweigender Frauen. Der Arzt, ein müder Mann tritt in den Korridor ein. Frauen umgeben ihn. Der Arzt verteilte *Auszeichnungen* nach Befunden: Iwanova hat Pädikulose, Petrova hat den Tripper erneut, Sidorova hat Herpes. Er brachte Nina ins Sprechzimmer. Sie hat eine zu jener Zeit seltene Diagnose. Der Arzt ist gesprächig, sogar heiter, naiv aufmerksam. Ihr Leiden hat er nicht angesprochen. Nina lebt nicht im Vakuum. Auf sie warten ihre Freundinnen, gute Bekannten – noch aus Studentenzeiten. Sie darf von ihrer Schande niemandem

Нина ринулась в частную медицину. Цены (в рублях) ее приятно удивили. Первое посещение венеролога – 490. Тарифы «Молодежный», «Счастливый час», «День здоровья» – по 390. Программа «Будем здоровы» – 450. Частные врачи констатировали «мягкий шанкр (??)». Тоже венерическое, но менее страшно. Обыденно, бытово – заболела – залечилась. Но томилась под вопросительным знаком диагноза. Под ним родился ее мальчик.

Нина шестнадцать лет прожила в оцепенелом ужасе Степиного рецидива.

И поэтому Нина много лет не знала мужчин.

Франц Рорбах записал в дневнике:

«Покой унесло ветром. Часто навещаю Степу в клинике. Он озабочен идеей, всем людям вшивать в одежду металлическую ленту. Продавать только такую одежду. Со Спутника будет виден каждый, не потеряется, не скроется. Захотел отключиться – снял пиджак. Здрово-абсурдное мышление. Логика сумасшествия блестяще описана в рассказе Эдгара По «Бес противоречия». Сегодня задал простой тест: определить в группы сходные предметы: одежду к одежде, посуду к посуде, школьные принадлежности. Он выбрал ботинки и карандаш.

– Почему?

– Они оставляют след.

Есть что-то от следа металлической ленты. Отдаленно. Пациент роняет слюну, следствие атрофии мышц губ. Я надеялся хотя бы на постсифилитическую дебилность, в умеренной стадии. Но похоже на шизофрению. Несчастный мальчик.

Мой долг гуманиста, немца оберегать Степу, спасти Нину».

Франц Рорбах пригласил Нину в кафе Зонг. Старый житель Мюльбаха, он «знает места». Столик накрыли в саду. Белейшие салфетки в кольцах. Нина затравлено молчала. Франц вложил ее маленькую руку в свою ладонь. Искра пробежала между ними и заставила вздрогнуть, словно они уже любовники и в постели. Нина ушла.

erzählen. Bloß diesem müden Menschen. In der Stille des venerologischen Sprechzimmers mit vergitterten Fenstern. Er hörte ihr aufmerksam zu und ging dann an die Sache, freundlich und einfach.

– Nennen Sie den Partner. Wenigstens seine Adresse und Alter, wir finden ihn selber. Erinnern Sie sich an alle ihre Männer in diesem Jahr.

– Ich kann auch in meinem ganzen Leben, an den Fingern einer Hand.

Sein Ton wechselte sich zum befehlshaberischen. Kein Krankheitsträger – keine Behandlung. Denken Sie an seine Kinder. – sagte der Arzt routiniert,

– Sie müssen dringend behandelt werden. Ninas Herz zuckte zusammen. Sie hat einmal seinen dreijährigen Sohn gesehen.

– Kommen Sie, wenn Sie es sich anders überlegt haben.

Sie hat Fjodorov nicht verraten, aus Ekel über sich und aus Hass gegen ihn. Damit man sich nicht mehr trifft und öffentlich zeigt. Zu Ehren der post-sowjetischen Venerologie hat sie später doch eine Vorladung in eine venerologische Klinik bekommen.

Nina stürzte sich in die private Medizin. Die Preise (in Rubeln) haben sie angenehm überrascht. Der erste Besuch bei einem Venerologen kostete 490. Sonderangebote „Jugendliche“, „Glückliche Stunde“, „Tag der Gesundheit“, für je 390. Das Programm „Bleib gesund“ kostete 450. Privatärzte stellten einen „weichen Schanker (?)“ fest. Es ist auch eine Geschlechtskrankheit, aber nicht so schlimm. Alltäglich, üblich: wirst krank – lässt sich heilen. Sie quälte sich aber unter dem Fragezeichen der Diagnose. Unter diesem wurde ihr Junge geboren. Nina lebte sechzehn Jahre lang unter dieser hemmenden Angst vor Stepsans Rückfall.

Und deswegen vermied Nina seit vielen Jahren Männer

Franz Rohrbach schrieb in seinem Tagebuch: „Die Ruhe wurde vom Wind weggeblasen. Ich besuche Stjopa oft in der Klinik. Er ist durch seine Idee belastet, jedem Menschen einen Metallstreifen in die Kleidung rein zu nähen. Man muss nur solche Kleidung verkaufen. Man sieht jeden durch Satelliten, niemand verliert sich, niemand versteckt sich. Willst du dich abschalten – zieh die Jacke aus. Vernünftig gesehen ist es absurde Denkweise. Die Logik des Wahnsinns ist glänzend geschildert in der Erzählung von Edgar Poe „Der Geist des Bösen“. Ich habe heute einen einfachen Test gemacht, ähnliche Gegenstände in Gruppen zu ordnen: Kleider zu Kleidern, Geschirr zu Geschirr, Schulgegenstände. Er hat Schuhe und Bleistift ausgesucht.

– Warum?

– Sie hinterlassen Spuren.

Das hat etwas von dem Metallstreifen. Entfernt. Der Patient verliert

Статья Степы вышла в уважаемом журнале «Орион». Автор пригласил читателей в германский шестнадцатый век. В 1514 самый значимый немецкий художник Альбрехт Дюрер позволил себе «Автопортрет обнаженным». Неслыханно в его суровое время. Кружок на животе зарисовал желтой краской. Написал: «Дюрер больной. Там, где желтое пятно и куда указывает мой палец, там болит». Увядавшее мужское тело, взгляд болезненный. В том году умерла мать. Альбрехт успел сделать ее портрет. Тогда же Дюрер создал загадочную гравюру «Меланхолия».

В центре Крылатая Женщина. На голове венок из лютиков и озерных трав. Степан нашел объяснение, в средние века такой венок надевали против душевной смуты и меланхолии. На первом плане гвозди и щипцы, раскаленный тигель. Искусствоведы склонны видеть в них символы мук адовых.

Для Степана истина проста: это орудия златокузнецов – отца и самого Дюрера. «От постоянного упражнения разума расходуется самая тонкая и чистая часть крови и рождается меланхолический дух» – написал художник. Разгадка Женщины в статье Степана: измученная крылатая душа гения.

Берлинская «Цайт» напечатала статью о шестнадцатилетнем русском. Репортер добыл его библиотечный каталог. За год Степа прочел все дневники, альбомы и трактаты Дюрера. Центнер страниц, много на трудном старонемецком. Директор Макс-Вебер-Гимназии об этом не знал. Репортер полагал встретиться со Степой. Франц Рорбах сослался на сердечную болезнь юноши.

Журнал «Одеон» показали Степе. Он гладил его и спрятал. Степан рассказывал о свидании с Дюрером. Альбрехт молод и серьезен, как на портрете 1500 года. В своем шестнадцатом веке он идет пешком в Италию в жажде увидеть работы Великих. В Альпах за Бреннерским перевалом злодействуют разбойники. Купцы, ремесленники и прочие честные люди сбиваются в толпы, упорствуя. В толпе шли тайно срезатели кошелев, и когда честные люди засыпали в харчевне, они орудовали ... Степа спокоен и весел. Художник возьмет его в свой

Speichel, die Folge der Atrophie von Lippenmuskeln. Ich habe wenigstens mit der post-syphilitischen Debilität im gemäßigten Stadium gerechnet. Es scheint eher Schizophrenie zu sein. Ein unglücklicher Junge.

Meine Pflicht als eines Humanisten, als eines Deutschen, Stjopa zu behüten, Nina zu retten.“

Franz Rohrbach lud Nina ins Café „Gong“ ein. Der alte Einwohner Mühlbachs kennt hier „gute Orte“. Der kleine Tisch wurde im Garten gedeckt. Schneeweiße Servietten wurden in Ringe gesteckt. Franz legte ihre kleine Hand in seine Handfläche. Ein Funken lief zwischen den beiden und ließ sie zusammen zucken, als ob sie schon Liebhaber im Bett gewesen wären. Nina ging.

Der Artikel Stjopas erschien in der renommierten Zeitschrift „Orion“. Der Autor lud die Leser ins deutsche XVI. Jahrhundert ein. 1514 erlaubte sich der bedeutendste deutsche Künstler Albrecht Dürer das „Selbstporträt nackt“. Es war unerhört zu seiner strengen Zeit. Einen Kreis auf dem Bauch hart er gelb gefasst. Dazu hat er geschrieben: „Dürer ist krank. Dort, wo der gelbe Fleck ist, und wohin mein Finger zeigt, tut es weh.“ Der Männerkörper ist verwelkt, sein Blick ist krankhaft. In diesem Jahr war seine Mutter gestorben. Albrecht hatte es geschafft, ihr Porträt zu malen. Um die gleiche Zeit schuf Dürer einen geheimnisvollen Holzstich „Melancholie“. In der Mitte ist eine Beflügelte Frau. Auf ihrem Kopf liegt ein Kranz aus Butterblumen und Seegräsern. Stepan hat dafür eine Erklärung gefunden: im Mittelalter benutzte man so einen Kranz gegen seelische Leiden und Melancholie. Im Vordergrund sind Nägel, Zange und Tiegel. Kunsthistoriker neigen dazu, daran Symbole der Höllenqualen zu erkennen. Für Stepan ist die Wahrheit klar: das ist die Ausrüstung der Goldschmiede, wie sein Vater und er selbst einer war. „Durch die ständige Übung des Gehirns wird der feinste und reinste Teil des Blutes verbraucht, und es wird Melancholie geboren.“ – hat der Künstler geschrieben.

Die Deutung der Frau im Artikel Stepans hieß: erschöpfte beflügelte Seele eines Genies. Die Berliner „Zeit“ veröffentlichte einen Artikel über den sechszehnjährigen Russen. Der Reporter besorgte seinen Bibliothekskatalog. In einem Jahr hatte Stepan alle Tagebücher, Alben und Traktate Dürers gelesen. Ein Zentner von Seiten, viele davon im schweren Altdeutsch. Der Direktor des Max-Webe-Gymnasiums wusste davon nichts. Der Reporter hoffte, Stjopa zu treffen. Franz Rohrbach entschuldigte Stjopa durch die Herzkrankheit des jungen Mannes. Die Zeitschrift hat er Stjopa gezeigt. Er streichelte und versteckte sie. Stepan erzählte von seinem Treffen mit Dürer. Albrecht war jung und ernsthaft

век к замку в Нюрнберге, где германские короли выбирают императора.

К лавочкам игрушечников у мостов через Пегниц, о которых он столько читал. В златокузнице Альбрехт явит смысл загадочной гравюры «Меланхолия» и тайну изображенной на ней коренастой Крылатой Женщины.

Уже полгода Степа в клинике. Учитель получил записку: «Прастити ни опрвдав Ваших надежд». Записка Нине: «мама мне можно немного читать. Привези книжку по-русски, с картинками. Помнишь, про птицу и собаку. Немецкий из головы вытекает вон».

В уик-энд Франц Рорбах выводит старый длинный «Мерседес» и едет в клинику в горах. По дороге заезжает за Ниной. Она, и телеведущая Хайди Вагнер, ждут его у выезда на автобан. Хайди в простецком хаки – платье и дешевых темных очках, чтоб не болтали в клинике. Ее и нее узнают. Нина разыскала ее на телевиденье три недели назад

Ах, автобан, игрище любительских страстей. На тяжелых больших бесшумных машинах мчат немцы. Уж не эту ли взорвавшуюся мощь предсказала Крылатая Женщина Дюрера. Отстают легкие французы «Рено» и «Пежо». На равных идет английский «Ягуар». Редким болидом, внушая зависть, промелькнут «Порше» и «Ланча». Ведомый осторожным Францем, «Мерседес» плетется в крайнем правом ряду. Это раздражает Хайди. Нина молчит на заднем сидении. Когда машина, подвывая двигателем, взбирается высоко по серпантину, она кладет руки на плечи доктора Рорбаха. Так ему легче видится дорога.

wie auf seinem Porträt aus dem Jahr 1500. In seinem sechzehnten Jahrhundert geht er zu Fuß nach Italien, um sein Bedürfnis zu befriedigen, Werke der Großen zu sehen. In den Alpen am Brennerpass treiben Räuber ihre Untaten. Kaufleute, Handwerker und andere anständige Leute versammeln sich für den Widerstand in Gruppen. In der Menschenmenge gingen heimlich Geldbeutelabschneider, und als die gewöhnlichen anständigen Leute im Gasthof einschlieften, gingen sie ans Werk ... Stjopa ist ruhig und heiter. Der Künstler nimmt ihn in sein Jahrhundert zum Schloss in Nürnberg, wo deutsche Fürsten den Kaiser wählten. In den Läden mit Spielzeug an der Brücke über Pegnitz, worüber er viel gelesen hat. In der Goldschmiede erklärt Albrecht den Sinn des geheimnisvollen Holzschnittes „Melancholie“ und das Geheimnis der dort dargestellten stämmigen Beflügelten Frau.

Stiopa ist schon seit einem halben Jahr in der Klinik. Der Lehrer hat einen Zettel bekommen: „*Intschuldigung, inttoischte Ire Hofnungen.*“ Der andere Zettel war für Nina: „*Mama ich darf ein bisschen lesen. Bring mir ein Buch mit Bildern auf Russisch. Du weißt, über den Vogel und den Hund. Mein Deutsch fließt aus dem Kopf weg.*“

Am Wochenende holt Franz Rohrbach seinen alten langen „Mercedes“ und fährt in die Klinik in den Bergen. Unterwegs holt er Nina ab. Sie und die Moderatorin Heidi Wagner warten auf ihn bei der Autobahnausfahrt. Heidi hat ein einfaches Khaki-Kleid und eine billige Sonnenbrille an, damit in der Klinik nicht gequatscht wird. Sie wird sowieso nicht erkannt. Nina suchte sie vor drei Wochen im Fernsehstudio aus.

Oh Autobahn! Ein Spielplatz für die Leidenschaften der Autoliebhaber. In den schweren großen geräuschlosen Schlitten rasen die Deutschen. Ist das diese explodierende Kraft, welche die Beflügelte Frau Dürers prophezeite? Leichte Franzosen „Renault“ und „Peugeot“ bleiben hinten. Mit gleicher Geschwindigkeit fährt der englische „Jaguar“. Als seltene Boliden, Neid erzeugend, sausen „Porsche“ und „Lancer“ vorbei. Der „Mercedes“, der von dem vorsichtigen Franz gefahren wird, zieht sich auf die äußere rechte Spur zurück. Das reizt Heidi. Nina schweigt auf dem Rücksitz. Wenn das Auto, mit dem Triebwerk mitheulend, auf der Serpentinstraße hoch klettert, legt sie ihre Hände auf die Schultern Dr. Rohrbachs. So sieht er die Straße besser.

Deutsches Lektorat Dr. Gerhard Bachleitner

Martin von ARNDT

NIKOLAJEWO

Meine Freundin sagte, sie möchte unnahbar sein wie eine Hollywood Diva und schön wie eine Bergulme. Sie sang *Light My Fire*, bevor wir Sex hatten. Sie wusste, dass ich Hollywoodfilme, die Doors und Wälder nicht mag.

Meine Freundin sagte, sie habe einmal in einer Woche mit zwanzig Männern geschlafen, keiner von ihnen mochte die Doors. Sie sagte, einmal werde sie nach Nikolajewo zurückkehren, dann gebe es ein großes Fest, zu dem alle Verwandten geladen seien. Und alle Männer, von denen sie sich gewünscht hatte, sie mögen ihr Feuer entfachen. „Und ich? Bin ich auch eingeladen?“, fragte ich, und sie lachte und sagte: „Nur wenn du es zu Fuß bis Nikolajewo schaffst.“ Dann fuhr sie sich mit der Zunge über den angebrochenen Schneidezahn, über den sie sich stets fuhr, wenn sie nervös wurde, holte tief Luft und setzte hinzu: „Und wenn ich *Light My Fire* bei einem anderen singe.“

Meine Freundin benutzte drei Sorten Bimsstein, um die Hornhaut von ihren Fußsohlen zu schaben. Sie liebte es, barfuß durch den Sommer zu gehen. In Nikolajewo sei sie manchmal barfuß durch den Winter gegangen und habe sich Frostbeulen geholt. Dagegen half kein Stein.

Meine Freundin sang immer ein wenig unnatürlich, zu hoch, wie ein aufgeregter Vogel, der nicht weiß, ob die Katze um den Baum schleicht. Kurz vorm Höhepunkt sagte sie: „Nimm ihn raus.“ Nicht „zieh ihn raus“. Nimm ihn raus. Sie vertrug die Pille nicht. Einer der zwanzig, der wie ich die Doors nicht mochte, hatte sich geweigert, ihn rauszunehmen. Zweimal habe sie sich mit dem Ding im Leib um die eigene Achse gedreht, gestöhnt habe er vor Schmerz, geschrien, dann geweint wie ein kleiner Junge, als er wieder in seine Hose fuhr. Da stand sie schon unter der Dusche und benutzte den Bimsstein, den groben. Können Schwänze eigentlich brechen?, fragte sie sich und schabte sich blutig und sang „Garry me Caravan, take me away“.

Мартин фон АРНДТ*Перевод Ефима ШКОЛЬНИКА***НИКОЛАЕВО**

Моя подруга говорила, что она хотела бы быть неприступной, как голливудская дива, и красивой, как горный вяз. Перед тем, как у нас был секс, она пела *Light My Fire*. Она знала, что я не люблю голливудских див, группу «Doors» и леса.

Моя подруга сказала, что она однажды в течение одной недели спала с двадцатью мужчинами и ни один из них не любил Doors. Она говорила, что когда возвратится в Николаево, то устроит большой праздник и пригласит всех родственников. И разожжёт своей страстью мужчин, о которых прежде мечтала. «А я? Меня ты пригласишь тоже?», спросил я, и она, смеясь, ответила: «Только если ты пешком до Николаево доберёшься». И провела языком по своему поломанному переднему зубу, что она всегда делала, когда нервничала. Потом глубоко вздохнула и добавила: «И если я *Light My Fire* для другого петь буду».

Моя подруга использовала три сорта пемзы, для того, чтобы соскабливать с пяток мозоли. Она любила ходить летом босиком. В Николаево же она и зимой иногда пробовала ходить босиком, и как-то обморозила ноги. Обмороженным местам никакая пемза не помогала.

Моя подруга всегда пела немного неестественно завышая, как взволнованная птица, которая в тревоге от незнания: крадётся ли уже к ней по дереву кошка или нет. Перед самой кульминацией, она говорила: «Забери его». Не «вытащи его». Забери его. Она не переносила противозачаточные таблетки. Один из тех двадцати, что как и я не любил Doors, отказался его забрать. Она два раза с его штукой в теле прокрутилась вокруг своей оси, и он застонал от боли, закричал, потом как ребёнок плакал, когда его обратно в свои штаны прятал. А она уже стояла под душем с грубой пемзой в руках. Неужели члены могут действительно ломаться? спрашивала она себя, скоблясь до крови, и пела «*Getty me Caravan, take me away*».

Mit ihren langen dunklen Locken hielt sie jeder für Jahre jünger. Der Mann am Kinoeinlass schickte sie oft zurück nach Hause. Der Weg nach Nikolajewo führte durch den Wald. Sie sagte, gern sei sie durch den Wald gegangen und habe dabei gesungen, wahrscheinlich stets ein wenig zu hoch, weil die Katze in der Nähe war.

Meine Freundin zeichnete mir, wenn sie nicht mehr sprechen mochte, mit ihrem Zeigefinger Bilder und Buchstaben in die Hand. Erriet ich, was sie meinte, nickte sie. Wenn nicht, lachte sie. Ich brachte sie lieber zum Lachen.

Als ich ihr, nachdem sie wieder einmal gesungen und ich ihn rausgenommen hatte, erzählte, dass ich arbeitslos geworden sei, gab sie mir tausend Euro. Sie hatte sie unterm Kissen verborgen. „Es ist nur Geld“, sagte sie, „du brauchst es jetzt dringender.“ Ich fragte sie, ob sie noch mehr im Haus, unterm Kissen versteckt habe. „Nein“, sagte sie, lachte und steckte für uns beide den Joint an, den sie stets neben der Matratze bereitliegen hatte: „Immer nur soviel, wie gebraucht wird.“ Dann trat sie nackt ans Fenster und öffnete die Jalousie. Ich sah ihren muskulösen Po, auf dem zwei Muttermale aufblitzten». Sie rauchte, hielt den Joint in der Faust und schirmte ihn mit der anderen Hand, wie man es aus 70erJahre-Filmen kennt. Sie blickte noch immer aus dem Fenster und sagte: „Eines Tages werde ich mich mit Quecksilber verwandeln. Vielleicht nicht gleich in einen Schmetterling, aber das Quecksilber wird mich verwandeln.“

„Weshalb Quecksilber?“, fragte ich. „Weil es unnahbar ist, unnahbar und schön und lebendig. Alle kranken Dichter verwandelten sich mit Quecksilber und sahen dabei schön aus, als ob sie sich gehäutet hätten. Du wirst mir dabei helfen“, sagte sie und drehte sich mir zu. „Wenn die Spritze in der Vene sitzt, zähle ich bis zehn, dann nimmst du sie raus. Ich werde singen“ (zu hoch, denke ich, oder denke es jetzt vielmehr nicht), „kleine Silberpunkte werden an meinem Arm hoch kriechen oder sich an einem Flaumhaar sammeln. Und ich werde mich verwandeln.“

Als ich wenige Tage später vorbeikam, weil ich einen neuen Job als Einpacker in einem Supermarkt gefunden hatte und ihr das Geld zurückgeben wollte, wimmelte sie mich an der Türsprechanlage ab. Man habe ihr die Muttermale entfernt, sagte sie mit unnatürlich hoher Stimme, sie habe große Schmerzen und könne heute nicht mit mir schlafen. Als ich das Geld erwähnte, sagte sie: „Geld, welches Geld?“ Im Hintergrund liefen die ersten Akkorde von *Light My Fire*. „Ja“, sagte ich, „du kannst heute nicht mit mir schlafen.“ - „Ja“, sagte sie, „aber heute singe ich nicht.“

Из-за длинных тёмных локонов все находили её моложе своих лет. Контролёры в кинотеатрах даже часто отсылали её домой. Путь на Николаево шёл через лес. Она говорила, что охотно ходила через лес и при этом пела, возможно немного завывая, потому что кошка была всегда где-то поблизости.

Иногда она не хотела больше разговаривать, и тогда рисовала на моей ладони указательным пальцем картинки и буквы. Если я угадывал, что она имела в виду, кивала. Если нет, смеялась. Мне больше нравилось её смешить.

Однажды, когда я признался ей, что стал безработным (после того, как она запела и я забрал его), – она дала мне тысячу евро. Она их прятала под подушкой. «Это только деньги», сказала она, «они тебе теперь нужнее». Я спросил, есть ли ещё у неё деньги под подушками, и сколько. «Нет», сказала она, засмеялась и запалила для нас обоих джойнт, который она постоянно держала под матрасом: «У меня всегда столько, сколько нужно». Потом голой подошла к окну и подняла жалюзи. Я увидел её мускулистые ягодички, на которых мелькали две родинки. Она курила, зажав джойнт в кулаке и прикрыв его другой рукой, как это делали в фильмах 70-х годов. Глядя в окно, она говорила: «Однажды я преобразусь. С помощью ртути. Возможно не сразу превращусь в бабочку, но ртуть меня преобразит».

«Почему ртуть?», спросил я. «Потому что она неприступная, неприступная и красивая, и живая. Все больные поэты преобразали себя ртутью, и смотрелись при этом красиво, словно они меняли свою кожу. Ты будешь мне помощником», сказала она и повернулась ко мне. «Когда шприц будет в вене, я досчитаю до десяти, и ты его заберёшь. Я буду петь» (завывая, подумал я, и уже ни о чём больше не думал), «маленькие серебряные точки будут ползти вверх по моей руке или собираться в волосах пухе. И я буду преобразаться».

Когда, несколькими днями позже, я пришёл к ней, потому, что нашёл работу упаковщика в супермаркете и хотел ей вернуть деньги, она спровадила меня по домофону.

Неестественно высоким голосом она мне сказала, что ей удалили родинки, у неё сильные боли, и она сегодня не может со мной спать. Когда я сообщил о деньгах, она спросила: «Деньги, какие деньги?». Фоном зазвучали первые аккорды *Light My Fire*. «Да», сказал я, «со мной ты сегодня в самом деле не можешь спать». – «Да», сказала она, «но сегодня я и петь не буду».

רעלדנאָס סיראַב

לעשטייר ראָפּ דעלעכיש עטויר

עלעוואָן

— זלאָ נבעגעפּאָן ובעל וראָפּ טלאָו'כ
 — גראָז ניא ויזא ד'יו קיטיינ ד'יא
 ד'ימ טלאָו סטושפּ אַ עלעבעווש אַ
 ...טנאָקעג נעמעראָוועד
מאַטשלעדנאָמ פּיסאַ

י"ז

ניא וסעזעג זיא סאָו, עקשטיטלאָ יד ווא יז, רע — טירד עבלאָז, נעמאָוז נעזעג טפּאָ י"ז טאָה'מ רעד ניא, ודיישאָב ווא שידאָמטלאָ נאָטעגנאָ, עלעראָפּ קיסקוווליטימ אַ, יז ווא רע. לוטשרעדער רעד רעייז ניא טינשפּאָ מעינ אַ נאָ ובייה ווא עיסנעפּ הויא סויראַ טינצ רעד ראָפּ ונניז סאָו, טייל ונפּ רעטלע עוועזאַר סאָד; עקלאָיל עטצופּעגסוויא נאָ יוו ונעזעגסוויא טאָה לוטשרעדער רעד ניא עקשטיטלאָ יד. ובעל טסאָפּעג רעייז ריא טאָה, עגנעטס רענעדיז רעטויר-לאָמש אַ טימ טמויזעגמוראַ, פּאָק נפּוויא לקעפּישט רעכלעוו הויא, ערדלאָק רעניד רעטלסטעקעג, רענירג-לקנוט אַ טימ וועוועג טקעדעגוז ונניז סיפּ עריא עקשטיטלאָ יד. ורעדאָ עוילב-לקנוט ונפּ דעלכעלינק ייווצ — דעלקעלוק עניילק עריא טורעג נבאָה סע ונעו זוילב ווא, וגיויא ענעשאָלעגסוויא עלאָמש ייווצ טימ מוראַ נפּוויא קידנקוק, דעלגעוואָבמוא וסעזעג זיא נעגנירפּשרעטנוא רעדאָ, לבירג *ענדוקסאָפּ אַ ונפּ טיז אַ ניא נאָט לקאָו אַ ד'יו טגעלפּ לוטשרעדער יד רענענילעצראָפּ רעשיזעניכ אַ ייב יוו, סעגר ראָפּ אַ טלקאָשעג טכיל פּאָק ריא ד'יו טאָה, לדנייטש אַ הויא רעדאָ רע — עלעראָפּ מענופּ רעצעמע. נאָטעג לטניפּ אַ לאָמ עכעלטע יברעד נבאָה גוויא יד ווא, עקצעג טשינ, הלילח, זיא טשינראָג יצ, נאָט קוק אַ, רעקשטיטלאָ רעד וצ וגייבנאָ דלאָב נאָד ד'יו וגעלפּ — יז ווא, לקעפּישט עקידווענח סאָד רעדאָ, ערדלאָק יד קידנטכירראָפּ, ריא וצ נאָט לכיימש אַ דאָנרעד, ונעשעג רעטטיוו עלעגעוו סאָד פּוטש

געווריציאָפּש מעד Board walk – נטיירב ונגנאל מעד רעביא וריציאָפּש וצ טאהעג ביל נבאָה י"ז האנה רעדנוזאָב אַ. נאָעקאָ מענופּ גערב עמאָס נפּוויא עמעפּ רעטערב עלאָמש ונפּ טרעטסאלפּעגסוויא טעוועטראָה יז ונעו, ירפּ רעד ניא 8 ונפּ. געטענעסעוו עמעראָוו עטשרע יד ניא נבאָה ונפּרעד י"ז וגעלפּ רעטעלאָזעגוז אַ טימ טקוטעזעגנאָ זיא טפּויל יד ווא, רעסאָוו וטלאָק מעניא נלאָרטש עקייילג עריא וויש נפּוויא, וניב מעד ונפּ ובויהעגנאָ ד'יו — העש ירד אַ ייב ורעויד "סעדאָנעמאָרפּו ערעייז וגעלפּ, טייקשירפּ יד וצ, און זיך געצויגן אָזש צו קונייא-ילאָנד, טנויוועג נבאָה י"ז ווו, נאָטיירב נטשרע ראָפּ אַ רעקשטיטלאָ רעד ונפּעשטנאָ, קנאָב אַ ייב נלעטשפּאָ ד'יו י"ז וגעלפּ לאָמ וצ. סעיצקאָרטאָליזווראַפּ ון. רעד וצ עלעגעוו סאָד ונעירדסוויא ווא, מינפּ בלאָה אַ טלעטשראַפּ ריא נבאָה סאָו, וליירב עלעקנוט יד טימ ווא, ורעדנאָ מוצ רענייא ד'יו קידנעילוטוצ, קנאָב רעד הויא טצעזעגוז ד'יו י"ז נבאָה ויילאַ

סענאָוונז יד וןֿ עוועג נהמך זיז, לטניוו זיריפּ מעד מינפּ סאָד טלעטשערגעטנוא, וגויא עטכאַמראָפּ
נטימ קנווו אַ, קילב זייא וןֿ ענאַטשראַפּנייא זיז; זיז ושויוצ טדערעג טשינ טעמפּ טאָה עלעראַפּ סאָד
יד ייז נטיבראַפּ טפּאָ טאָה מיזמר עמוטש וןֿ פּאַרפּש יד — רעגניפּ נטימ זיוו אַ, מערעב אַ טימ ריפּ אַ, פּאַק
טציפּשענגאַ, דאָו רעד פּוּיא עוועג קידנעטש ערעייז זרעוּיא יד ענניז, דאָד ווא. רעטרעוו וןֿ זעגנאַק
ספּיפּ זיליטש אַ זאָלסוּיראַ לאַז יז עוועג גונעג זיא'ס. עקשטיטלאַ יד זענופּעג זיז טאָה'ס ווו, טניז רעד זיא
טימ יז טכאַרטאַב, זיא זעל עוועג עדנוקעס יד זיא סרעטיילגאַב ייווצ עריא וןֿ רעצעמע יוו, זכּערק אַ
קידנפעלשסוּיראַ ווא, טשינ ריא טשטעווק סעפע יצ, טוג טציוז יז יצ, טנעה יד טימ יז טפּאַטאַב, זגויא יד
וצ סע זגאַרטעגוצ, עקשטאַמאַס אַ טימ רעסאָוו עלעשעלפּ אַ, עלעגעווו מוצ טעפעשטעגוצ, עלעשייק אַ וןֿ
לכעלנימ לאַמש ריא

יד ווא יז, רע — ריצאַפּש זקידנגראַמ מעד פּוּיא סוּיראַ ויזאַ זעייג ייז יוו, טניז לסיב שפּיה אַ וויש
זקוקכאַג ייז זעלפּ, טייל ערעטלע יד סרעדנוזאַב, זעזעג ייז זבאָה סאָוו סרעייגכרוּד יד ווא; עקשטיטלאַ
"...זבאָה וצ רעדניק עכלעזאַ, זראַוועג טגאַזעג זדנוא פּוּיא ז: זצפּיז ווא גנורעדנווואַב טימ

יז

רעירפּ מישדח זירד אַ טימ טעשעג סע זעוו; קראַזיוּני זיא וויש זראַוועג זרויבעג זיא, לעשטייר, יז
אַ זיא זענופּעג זיז זבאָה זרעטלע עריא ווו, זדנאַלשטיד זיא, זעגעוושע עוועג טראַטרובעג ריא טלאָוו
מעד וןֿ זעמאַג מעד זגאַזסוּיראַ קיטכיר טנעקעג טשינ לאַמ זיז טאָה, זניק אַ זאַג. רעגאַל — יפּיז
זעגנאַגאַב רעכּיג זיז, זעמאַג זפּוּיא זפּורענגאַ סע זעוו זטלעז רעטלע יד זיא זבאָה, טדערעג קירוצ; טראַ
זיז טאָה אַי סאָוו. זעניימ ייז "טראַדז רעסאָוו, זעוועג זאַקל דלאַב זיא'ס ווא — "טראַדז אַ טימ
יז ווו, לטעטש מענופּ זעמאַג רעד זיא, זעגנאַגאַמרעד סעמאַמ ריא וןֿ זורכז סלעשטייר זיא זיזרעקעגנייא
זסייהעג סע טאָה ויזאַ — שטירזעמ. המחלמ רעד זיב טבעלעג טאָה ווא זראַוועג זרויבעג זיא, זעמאַמ יד
טפּאָ זיז טגעלפּ סע זיוו, עקאַט טקנעדעגראַפּ זיג טראַוו סאָד טאָה לעשטייר ווא, לטעטש סעמאַמ רעד
זיא זאַפּעגסוּיא זיא זעמאַמ רעד סאָוו עטסעב סאָד ווא עטסנעש סאָד. זפּיל סעמאַמ רעד וןֿ זסינרפּאַראַ
זיא טפּול יד ווא רעלעה טנישעג וז יד טאָה שטירזעמ זיא. שטירזעמ טימ זוכניש אַ טאָהעג טאָה, זבעל
טאָה לעשטייר... זעליירפּ טבעלעג טאָה'מ ווא, זגיז זס אַ זעוועג זענייז שטירזעמ זיא; רעקטיכּיז זעוועג
סאָוו. זלימ זיא טעראַפּראַפּ, טיווקסיב מעד טימ זענייא זיא זעגנאַלשעגפּאַראַ זוישעמ סעמאַמ רעד
סעמאַמ רעד זעזסוּיא זבוּיהעגנאַפּ ריא זבאָה רענדונ זלאַ, זראַוועג רעבאַ זיא רעטכּאַט יד רעטלע
זגיל זבליבעג זיא — שטירזעמ — לטעטש מענופּ זעמאַג רעד זויזל ווא; זאַמאַ מעד זגעוו זעגנונאַמרעד
זעלטייז יד זשויוצ זעגערע טשטעווקראַפּ אַ, עלעמילב טנקירטעגסוּיא זאַ יוו, זורכז זיא זקוראַפּ זעגערע
זוב זטנעזיילעגסוּיא זקיד אַ וןֿ

טימ רע זיא, קינערוחש-הרמ אַ, רעגניווש אַ. בזיוו זנייז וןֿ זופּיה אַ זעוועג זיא עטאַט סלעשטייר
יז יוו, רעטכּאַט רעד זלייצרעד לאַמ זייא טאָה זעמאַמ יד. ריא וןֿ רעטלע זעוועג זיא קיצנאווצ עפּאַנק
עטאַט רעד זאַ, זייקנסאַלשראַפּ ווא זייקטרעדנוזעגפּאַ סנאַמ מעד זרעפּטנעראַפּ טלאָוועג זימרעד טלאָוו
עדייב זענייז ייז זאַ ווא, עלעדיימ אַ זיא, זניק אַ ווא זירפּ רעדנאַ זאַ טאָהעג המחלמ רעד זאַפּ טאָה
זעמוקעגמוא.

זפּוּיא זפּורעג סע טאָה'מ יוו רעדאַ, זטלאָהעג זבאָה זרעטלע יד סאָוו, לטיילקזיילאַקאַב זענייא
ווא טדערעג טאָה יז; זעמאַמ יד זענאַטשעג *עקיאַטס רעד זיב זיא, זירעסאַרג — זפּוּיא רענאַקירעמאַ
סנטאַט מעד. זתונובש יד זירפּ ווא הרוחס לסיב סאָד זעמוקאַב טגעלפּ יז; מינוק ערעטשי יד זנייזאַב
אַ זעוועקאַפּעצ, רעלעק זיא זאָלפּאַראַ, זגאַרטסוּיראַ, זעגנעברנייראַ — עקיפּליהאַב אַ זעוועג זיא זעבראַ
זאַפּ ייז ווא זסוּירד וןֿ זוּילאַזש ערעווש יד זרפּרעדניא זדעי זבוּיהעוּיא טגעלפּ רע; לטסעק אַ, עקשופּ
זגעלפּ סאָוו, זוּילאַזש זנרעזניא יד טאָה רע. סאַלש זסוּירג אַ זיא זסילשראַפּ ווא זאָלפּאַראַ זכּאַג
זראַוו סאָד, סע זסייה סאָוו. עקשאַמראַה זפּור — זירשעג זקידנצזירג-טרעוואַזשזראַפּ אַ זאָלסוּיראַ
זענאַטשעג זיא יז זעוו, זטכּאַנראַפּ יד זיא. זענאַטשראַפּ טשינ לעשטייר עניילק יד טאָה, "עקשאַמראַה ז

נטיירב ורעביא, נבויה סעפע קאָהן נטימ טעפעשטראַפֿ עטאַט ריא יוו, טקוקעגכאַנן ווא סאַג רעד פּויה אַ "עקשאַמראַה" ענרעזניא יד דין טיג, פּאַראַ פעלש נקראַטש ניין דאָן ווא, לטיילק מענופֿ רעטצנעפֿ טראַ ופּויה צנאַט וצ נעוועג טיירג דיירפֿ ראַפֿ לעשטייר זיא, לקיוועצ

אָגערפֿ דעלקירעזייה לאַמ סעדעי עטאַט רעד טגעלפֿ — ?ןליפּש נימ ריד טלעפֿעג יוו, ונ — לכיימש נכּיילב אַ שטשעווקעגסוירא נבאָה נקאָב ענעלאַפֿעגנייא עניין ווא; מעטאָ מעד קידנפּאַכפּאָ סאָד טלעטשטראַפֿ דין טימ טאָה סאָוו, גנאָהראַפֿ נרעווש מעד וצ נפּוילוצ דלאָב טגעלפֿ לעשטייר דין טאָה יז, נשטייניק ענרעזניא יד רעביא זאָט ריפֿ אַ לאַמ עכעלטע דעלטנעה יד טימ ווא, לטיילק עצנאַג אַ טימ טרעוו גנאָהראַפֿ רעטיירב ווא רעסוירג רעד זא, ראַפֿ סע טמוק ויוצ יוו, ונלעטשטראַפֿ טנאַקעג טשינ ?רעטצנעפֿ-ןואַריט מעד רעביא, נבויה ענוראַפּש רעלאַמש רעד ניא דננווושטראַפֿ לאַמ

ניין עמאַמעטאַט ונעוו, נזוילאַשז ענרעזניא יד נזאָלפּאַראַ נכאַנ, טציא סאָוו, טיירפֿעג דין טאָה יז לאַז. נטיין עדייב ונפֿ טנעה יד ייב לרעטכעט סאָד קידנטלאַה, נריצאַפּש לסּיב אַ ריא טימ נייג ווא יירפֿ געוו רעקידתּופֿתּושב אַ סע זיא טראַפֿ רעבאָ, מייהאָ נעמוקנאָ ונעוו יז זיב, נקאָלב עכעלטע ניין שטאַכ יד טאָה דאָד ווא. ונעגניר ייווצ ניינצ טסילש סאָוו, עלעגניר אַ יוו, נטימ ניא נעוועג זיא, לעשטייר, יז ווא טאָה סאָוו, חיר נטימ דין ניא טנאַמרעד ווא, טאַרט ייב טאַרט נעגנאַגעכאַנן, טזאָלענפּאָ טשינ יז יירעסאָרג יד ניא ווא סעינאָלד יד פּויה טויה רעבאָרג סנטאַט מעד ניא, ראַה סעמאַמ רעד ניא נסעגעגנייא דין אויפֿן וועג. טייקטפּמודראַפֿ ווא גנירעה, פּיינזשאַוו ונפֿ דורעג רעטשימעג רעד — עדייב יז ייב רעדיילק יז ?"נסאַלשראַפֿ טוג קלאַ זיא'ס, *טקעשטעג טסאָה ודו: אַהיים פֿלעגט די מאַמע תּמיד פֿרעגן דעם טאַטן ונפֿ רעמ; נזאָלראַפֿ טנאַקעג טשינ דין נעמ טאָה זאָמ ריא פּויה ליינו טשינ, הלילה, טגערפֿעג סע טאָה בּנּג אַ ראַפֿ טאָהעג ארומ עמאַמ סלעשטייר טאָה טלעוו רעד פּויה נעמעלאַ

סאָד לאַמ רעדעי ורעפֿטנע זאָמ רעד ריא טגעלפֿ — אַטשינ סאַלש נייק זיא בּנּג אַ ראַפֿ — עבלעז

ארומ ריא זיא, סע נסיוו מעד בילוצ עקאַט ווא, טסוועג טוג ניילא סע טאָה עמאַמ סלעשטייר דין ווא, טפֿעשעג סאָד נריפֿ וצ גראַז יד דין פּויה טגיילעגפּוירא טאָה יז. רעסערג דאָן נראַוועג טשינ נעוועג ריא ראַפֿ זיא גראַז יד נגאַרט וצ. נייצ-ןואַלגענ טימ הנויח לקיטש מעד ניא טרעמאַלקעגנייא סעמאַמ רעד דאָן, ראַי נצרעפֿ-ןצירד עפּאַנק עריא ניא, אַטעג רעד ניא נאָטעג סע טאָה יז. *ענייוואַן נייק נעמ טגעלפֿ שטיירזעמ לטעטש ריא ניא... טנעה יד פּויה רעטסעווש רערענעל אַ טימ קידנבּיילב, טויט נעמ טאָה ראַפֿרעד רשפּא. טחוש מוצ טשינ יז נעמ טריפֿ, נקלעמ דין טזאַל המהב יד נמז-לכ זא, נגאַז נשטנעמ יד פּויה רעדייא, תּומהב יד פּויה תּונמחר רעמ טאָהעג, נעמוקעג ונניין מיחצור יד נעוו, רעטעפּש רע תעב, סקאַמ לנאָג רעד טרעלקרעד ריא טאָה ויוצ — "גיצי רענילקורב ריא נעוועג זיא יירעסאָרג יד ראַפֿ גאַל דאָן עקירעמאַ נייק קעוואַ זיא סקאַמ לנאָג. טפֿעשעג מעד ניא עצינעמילפֿ רעד נפֿלאָהעג טאָה יכּדרמ נסיהעג דאָן טאָה ניילא רע ווא, דניק לציפֿ אַ נעוועג זיא רעטומ סלעשטייר נעוו, המחלמ רעד טימ עקידעגאַרט אַ טלאַמעד וויש, יז ווא רעגאַל- "פּיידו מעניא טכוזעגפֿ רעטעפּש יז טאָה רע עקאַט יד רעבאָ, רעגאַמ רעייז נקלאַמעג דין טאָה "גיצי יד. קראַציוו נייק זאָמ נטימ טכאַרבעגפּאַראַ, לעשטייר עשירחוס יד טנרעלעג דין טאָה יז. נבעגעכאַנן טשינ דין טאָה יירעסאָרג רעד ונפֿ עטסאַבעלאַב "ענירגז טשינ פּויה זיא, קירוצ פּויה דין נוקומוא. טאָהעג טשינ יז טאָה הריב רעדנאָ נייק. ניילא דין ייב הרות לאַמ וצ, נטכענ נטנעבראַפֿ מעד ונפֿ *סעקשעוואַלאַה עטעפֿרשאַד יד נשיווצ יז טאָה, ניהווו נעוועג טנייה ריא טמעראַוועד יז טימ ווא, נוחטב ווא גנונעפֿאָה ונפֿ נעקנפֿ טראַשעגסוירא ונעניפֿעג דין; לטיילק מעניא ורעטלע יד טימ נעגנעבראַפֿ לעשטייר עניילק יד טגעלפֿ געט עצנאַג ניא אַרדנאַס עקלאַיל ריא טימ וליפּש דין ווא סעקשופֿ-ןאַטראַק עקדייל יד נשיווצ עלעטרע אַז נעגערע נעוועג זיא אַרדנאַס ווא, עמאַמ ריא יוו, נירעפּוויקראַפֿ יד נעוועג זיא, לעשטייר, יז. "רעפּוויקראַפֿ-רעפּוויק אַ ונפֿ טלייטענפּאָ, לרעקלאַ סאָד — "עלעטרעז נגייא ניין טאָהעג פּויה טאָה עטאַט רעד. נירעפּוויק אַ נקעבשאַוו מיב טנעה יד נשאַוופֿ דין טנאַקעג נעמ טאָה טראַד. דעלטנעוו ייווצ טימ, לקניוו נטשרעטנייה

אָ ונעאַטשעג זיא טראָד; רעוואַשז מענירג אַ טימ זיורערטע וסגעעגסווא, טנאַרק מענעזונאַרב אַ טימ יד ונלגומשניראַ געלפֿ ייהאַ; ליד מעד נשאָו וצ עטאַמש רעטשעטאַווקע צ אַ טימ רעמע רעד וואַ מעזעב וויש יז טאַה עלעפעט מוצ זאַ, עלטאַהעגניאַ גנאַל ויזאַ דיז יז טאַה, דיז נליפש מיב ועוו, לעשטייר עניילק טנאַו רעד וצ מעפעשטעגוצ, עלעפמעל ויילק אַ טימ נטכילאַב דיז טאַה לרעקלאַ סאַד. נפֿויל טזומעג יד נטכאַרטאַב וצ טאַהעג ביל לעשטייר טאַה, עלעפעט נפֿוואַ וצזיז ותעשב, וואַ קעבשאָו נרעביאַ, נבויאַ ונאַנרוש עקיליב ונפֿ וסירעגסוואַ. דעלטנעוו יד ועוועג טפעלקעגמוראַ ועניז סע עכלעוו טימ, רעדליב יאַ נעוירפֿ עדנאַלב ונפֿ רעמינפֿ עקידנכאַל טקוקעגפֿאַראַ לעשטייר פֿוואַ נבאַה, עטלעגראַפֿ וויש בורֿס גנעוו טרעהעג טשינ דאַנ טאַה ראַי סקעזפֿניפֿ עריאַ וצ עלעדיימ סאַד. רעדיילק וואַ ורוזירפֿ עקיטכערפֿ ועוועג טשינ אַניק יאַ לאַמ ייַא ויילק ללכב טלאַמעד דאַנ זיא לעשטייר; "וראַטסו־אַניק וואַ דווילאַה יאַ ונליהניאַ יז וואַ נפֿושיכראַפֿ געלפֿ רעמינפֿ ענייש יד ונפֿ טלאַרטשעגסוואַ טאַה סאַו ניש יד רעבאַ רעסיז רעד ונפֿ טפעלשעגסוואַ יז טאַה לוק סעמאַמ רעד. טייקמעטאַו רעקידרעפֿלשניאַ זאַ

!"נפֿאַלשעגניאַ טשינ טראָד טסיב, לעשטייר: טייקטרעווילגראַפֿ

עלעסעק־טוה אַ טימ, עלעשטנעמ ויילק אַ. שסירענעמ אַ ועוועג זיא טנאַו רעד פֿוואַ דליב ויַא אַ טרעכירעג וואַ עלעקעטש אַ פֿוואַ טראַפֿשעגנאַ דיז טאַה, סעצנאַו לקיסאַפֿ לאַמש אַ וואַ פֿאַק נפֿוואַ יז טאַה, עלעשטנעמ ושימאַק מעד יאַ קילב וטימ נפֿערטנאַ דיז טגעלפֿ לעשטייר ועוו, לאַמ סעדעי. ראַגיס "סידיילז עטצופֿעגסוואַ, ענייש יד ראַפֿ; נפֿאַלטנאַ טשינ זיא רע, אַד זיא רע — טיירפֿרעד זינ'ס פֿוואַ דיז לאַמ אַ טאַה עמאַמ סלעשטייר יוו רעדאַ, נדירפֿוצ דיזיז זינענ תּמ — טגראַזעג טשינ לאַמ ויילק יז טאַה עצראַווש עסוירג טימ, עלעשטנעמ עניילק סאַד רעבאַ — "נבעל יאַ דיז ועלגיפש עכלעזאַ: טגאַזעג ענדאַמ אַ לרעקלאַ ורעטצניפֿ־בלאַה, גנע מעד יאַ ונגערבנירַא ונזסוואַ ושימאַק ניז טימ טגעלפֿ, וגוויאַ ראַפֿ? סאַו ראַפֿ — וגוויאַ יד יאַ נרערט ויטש ריאַ נביילב סע יוו, יז טליפֿ מעצולפֿ וואַ. טייקוירמואַ לאַמ אַ טימ ריאַ זיא'ס ליזוו יצ, טוג ריאַ זיא'ס ליזוו יצ, ויטשראַפֿ טשינ ויילאַ סע נאַק יז — נעוו ו... נרַאָוועג קיטעמואַ

טשינ ועוועג לרעקלאַ סאַד זיא, עלעפעט נפֿוואַ וצזיז ועוועג טשינ לאַז לעשטייר גנאַל יוו, דאַד וואַ

רע טגעלפֿ, לטיילק מעניאַ טעבראַ רעד ושויוצ טונימ עירפֿ אַ יוו. "עלערטרע נטאַט מעד ראַג, סריאַ וצ. רעטפֿאַרטשעג אַ יוו, עלעפמעל סאַד ונדיצנאַ טשינ וליפֿאַ, *עקשטעטערטאַק יד פֿוואַ וצזיפֿאַ טראַד עטאַט רעד יצ, ועוועג ראַלק טשינ זיא'ס וואַ, למרום רעטקירדרעד אַ נטראַד ונפֿ טרעהעג דיז טאַה לאַמ טאַה נעמאַמ רעד ונפֿ רעבאַ, רעמורפֿ ויילק ועוועג טשינ זיא רע. טנוואַד רע יצ, ויילאַ דיז טימ טדער שטנעמ רעדז. הַבישי אַ יאַ טיצי לקיטש אַ טנרעלעג דיז עטאַט רעד טאַה, רוחב אַ זאַ, טסוועג לעשטייר

יוו, ועלסקאַ עקיציפֿש יד נבויהעג טאַה לעשטייר. עמאַמ יד טצפֿיזעג טאַה — "נרַאָה סאַד פֿוואַ דיז טסע נרַאָה סאַד וסעפֿוואַ דיז ויילאַ נעד ועמ נאַק יוו: אַרדנאַס עקלאַיל ריאַ גנאַז טלאַוועג

יד. שטיבֿנאַטיבֿר פֿוואַ נטאַט וטימ ויַא וצ טאַהעג ביל לעשטייר טאַה מיתבֿש־רעמוז יד יאַ אַ פֿוואַ נטאַט וטימ ויַא. וסע וטיירגוצ, נשאָוורעביאַ, ועמאַרפֿוואַ — מייה רעד יאַ נבילבעג זיא עמאַמ

מענרעטערב נפֿוואַ!" ונעייכטאַ לסיב אַ רע טעוו רשפֿאַ. וזו רעד פֿוואַ סויראַ מיאַ פעלש. עדאַנעמאַרפֿ טראַד דיז נבאַה, ויהאַ נעמוק ועוועג טשינ נלאַז יז ועוו. קידעבעל ועוועג קידנעטש זיא געווריציפֿאַפֿש וקישער מעד זאַ ויַאגאַב דיז טנאַקעג טלאַוו, זיא רעגייטש ניז יוו, עטאַט סלעשטייר. נשטנעמ טיירדעגמואַ לרעטכעט ניז בילוצ ונגנאַגעג ויהאַ זיא רע. טלמוטעצ טכאַמעג מיאַ נבאַה ועמאַווצ וטשנעמ דס אַ, טראַ דעלעכיש עטויר, דעלעמילב עלעג וואַ עטויר טימ, עלעדיילק וילב ריאַ יאַ טצופֿעגסוואַ, לעשטייר וואַ ליזוו, ויַא וצ ווו געוו מעד טסוועג טוג טאַה יז. קילג ראַפֿ טניישעג טאַה, פֿאַק נפֿוואַ לטערעב לעג אַ וואַ יז טאַה, פֿאַריס־רעקוצ טימ וסנאַבאַ, דעלסינ עטלגערפֿעגפֿאַ שירפֿ ונפֿ חיר רעטצוירוואַ־סיז רעד

— רעדער ייווצ פֿוואַ עלעגעוו אַ יאַ, עדוב אַ יאַ ועוועג זיא סאַד. ויַא וצ טיז סע יוו, דיז וצ וגוויציפֿעג וזו רעד פֿוואַ רעטנערבראַפֿ, רעראַד אַ, *עירענישאַמ רענדאַמ רעד ונפֿ סאַבעלאַב רעד. טיצי ויַא יאַ טימ ורעטש וטצווישושאַפֿ נפֿוואַ ונדובעגמוראַ, פֿאַק נפֿוואַ ראַה עלטאַפֿ רעצראַווש־טכידעג אַ טימ, שטנעמ

מעצולפ ווא גנוצ רעד טימ טאקאנקעגוצ קיכליה לאָמ עכעלטע טאָה, עגנעטס רעלאָמש רעטויר אַ רעבאָ, וננאטשראַפּ טשינ יז טאָה לעשטייר סאָו, רעטרעו עצרוק ינרדדיווצ לוימ מענופּ מזאָלעגסויראַ טעיליסענגאַ ווא טפּול יד נכאַטשעגכרוד, לזיפּש ניד אַ יוו, טאָה, "ררררר" גנאַלק מענופּ פּלירג רעד אַ, עלעקטעפּאַל לאָמש אַ טימ, קנילפּ טגעלפּ דעלסינ ופּ רעלדנעה רעד. וננאָלק עקיזאַד יד דזיז פּויראַ נבאָה סע רעכלעוו פּויראַ, עוואָט רענעכעלב רעטילגענגאַ, רעטיירב רעד רעביאַ לאָמ עכעלטע וואָט ראַש אַ ויהאַ נטישניראַ דייג, לצימראַקש ענעריפּאַפּ סאָד קידנלעטשערעטנואַ ווא, טעראַשזעג דעלסינ יד דזיז עכעלטע יד מיאַ וננאָלרעד נכאַג ווא, "רעניגיציז פּוירעג מיאַ טאָה עטאַט סלעשטייר. דעלסינ עיצראַפּ לצימראַקש סאָד ונמונעגפּאַ, טנעס

ניזו נבאָה וצ נבויהענגאַ ריצאַפּש רעקידתבש רעד טאָה "רעניגיציז מיב דעלסינ יד פּוירק נכאַג רעבאָ, ורעדנאַ מוצ סנייא טפעלקעג דזיז ווא עקידכעלייק וועוועג ונניז דעלסינ יד. מעט ורעדנוזאַב טשינ דזיז טאָה יז. זזיווקינייא לוימ מוצ נגאַרטעגוצ ווא טלייטעגפּאַ רעגניפּ יווצ טימ יז טאָה לעשטייר סאָד לגניצ קיפּש נטימ טקעלענפּאַ ווא פּיל יד טימ טפּאַטאַב, ביייהנאַ מיב. נסע וצ לסינ סאָד טליאַעג טימ עגר אַ דזיז וליפּש נכאַג ווא לוימ ניא לכעלייב עטראַה סאָד טפּוטשעגניראַ דאַנרעד; לטייה עניד, עסיז נלופּ אַ קידנאָינאַ, פּוס מוצ ווא — ונמוג ורעביאַ גנוצ רעד טימ קיניוועניאַ סע טיירדעגמוראַ — מעד לסינ רעדעי ולאָמעצ ווא ונעיקעצ נכאַג טשרע. וייצ עטשרעטניה יד וצ טראַשעגוצ סע, ענילס לוימ גונעגז. לסינ ורעדנאַ וראַפּ טיצי יד ונמוקעג זיא, עלעקשאַק עקאַמשעג סאָד וננילשפּאַראַ ווא, רעדנוזאַב טשינ סע טאָה לעשטייר רעבאָ. עטאַט רעד וטלאַהעגסוויאַ טשינ טאָה —, "מעד טימ נעקשטאַפּ וויש דזיז מעט מענעגנייא ניזו טאָה לסינ רעדעי זאַ, רעכזי וועוועג זיא יז לניוו, טראַעג

עמעראַוו, עלופּ סאָד דזיז וצ קידנאָרדוצ, טכאַדעג ריא דזיז טאָה קירוצ טונימ עכעלטע טימ דאָג אַזש ביז, גנאַל יז טימ וועוועקאַמסאַפּ דזיז טעוו יז זאַ ווא, אַס אַ טראַד ונניז דעלסינ זאַ, לצימראַקש טסאַפּ אַ יוו, דזייוו וראָוועג זיא לצימראַקש סאָד ווא וננאָגעגסוויאַ דייג ונניז יז רעבאָ, קוניאַנילאַנד טפעלקעגוצ, דעלסינ יווצ זיולב ונזרעד יז טאָה, טקוקעגניראַ ניהאַ טאָה לעשטייר ונעו. ריפּאַפּ לקיטש דזיז טאָה טימערעד. מיייה רעד ניא ונמאַמ רעד ראַפּ — דעלקירבעב יווצ יוו, ורעדנאַ מוצ סנייא

מוצ געלעג געוו רעייז זיא רעטייוו. "עדאַנעמאַרפּ רעקידתבש רעייז ופּ לייט רעטשרע רעד טקידנעראַפּ יד טימ דמאַז עמעראַוו סאָד קידנבאַרג לעשטייר טאָה, דעלעכיש עטויר עריאַ ופּראָוועגפּאַראַ. רעסאָוו יז טאָה עטאַט רעד. סעילאַווכ עקידוועליפּשליטש יד נגעקנטאַ נפּויל מזאָלעג דזיז, דעלסינפּ עסעווראַב סיפּ יד טלעטשעגערעביאַ טרעפּמולעגמואַ טאָה רע "ויוזאַ טשינ פּויל, דליוו טשינ רעווי: וטלאַהעגפּאַ מויק ונניז, גערב קע מוצ וננאָגעגוצ ונניז יז זיב, יס יוו יס רעבאָ, דיש יד ניא דמאַז ונמונעגנאַ טשינ יז ווא רעסאָוו ניא דעלטנעה עקיפּעלק יד נעקנוטעגניאַ דלאַב טאָה לעשטייר. לופּ וועוועג וויש דיש עניזו רעסאָוו ניהאַ קידנפּעשנאַ, ווא סעניאַלד יד ופּ "עלעפּישיז אַ טכאַמעג דאַנרעד; טקנעוושעג עלניוו אַ

טאָה "עלעפּישיזעניאַלד סאָד לניוו, וננורעגסויראַ רעסאָוו סאָד טאָה געוו נפּויראַ. מינפּ מוצ נגאַרטעגוצ יד רעביאַ אָטעג ריפּ אַ לאָמ עכעלטע דעלעטנעה עסאַג יד טימ לעשטייר טאָה דאָד ווא. טלאַפּש אַ טאָהעג סאָד זיא דעלסינ עסיזערקירפּ יד דאָג. לגניצ סאָד טפּוטשעגסויראַ וליפּאַ ווא, נפּיל עטרימשראַפּ וצלאַזעג ויואַ וועוועג טשינ וויש רעסאָוירי

עטאַט רעד טאָה רעכעה — ינק יד זיב רעסאָוו ניא וייטש וצ לעשטייר יב וועוועג זיא עטסעב סאָד ווא ונעלגילפּ קיפּש יד פּויראַ נקעלפּ עוירג טימ לגייפּ עסיזו יד. סעוועמ יד פּויראַ נקוק ווא — מזאָלעג טשינ

יד פּויראַ "סידיליז ענייש, עדנאַלב ענעי יוו, טפּאַכראַפּ פּויראַ יז נבאָה ונעלבאַנש עקראַטש נאַ ריא רעביאַ טאָהעג נבאָה לגייפּ עקידעבעל יד רעבאָ, לרעקלאַ מעניאַ רעדליב עטוועקעקאַילבעגפּאַ לעשטייר. ורמואַ נאַ ריא ניא טקעוועגפּויראַ נבאָה ונעירשעגסוויאַ עקידלגראַג, עצרוק ערעייז. חזוב רעדנאַ עגנעטס רעלאָמש אַ טימ נגויצראַפּ ווא טפּאַכעגמוראַ טרעוו רעריאַ פּאַק רעד יוו וליפּרעד דלאַב טגעלפּ טראַה וועוועג זיא עגנעטס ריא רעבאָ; דעלסינ ופּ רעפּויקראַפּ רעד נגאַרטעג טאָה'ס סאָוו, רעד וצ דעלנע רעכעלקיטיוו ווא רעטסעפּ קלאַ רע טאָה שטיווקלוגיפּ דעי טימ סאָוו, פּייר רעלאָמש אַ יוו, קראַטש ווא

עלאָמאָש אַ פֿיז ראָפּ זענענדיק טאָה, יז, טאָמראָפּ זיילאָ ריאַ פֿיז נאָה אַ גוֹיאַ יד. פּאָק ריאַ טקירדעגפֿוֹנוּז
וואַ, טייקטסופּ רעפֿיט, רעצראַווש ריאַ אַ, פֿיז יאַ טפעלשעגנניאַ, פֿיגיהנושמ יז טאָה סאָו, רער ענגאַל
וויש נאָה סע וווּ, זינראַ לומיה יאַ טעהיטעה — קע זענענדיק נכרוד זפֿראַוועסוֹיאַ קילבנגוֹיאַ זיַא יאַ
...סעוועמ ענייש יד טראַוועג עלעדיימ פֿוֹיאַ

זענענדיק טייקטלפענראָפּ ערעטצניפּ עקיליוו יד זיאַ, קערשרעביאַ זאַ זאָפּ יווּ, טרעטיצעגפֿוֹיאַ
עקינז יד. לכּוֹיר קראַווש אַ יווּ, טפֿוֹל־מי רעטנוזעג, רעקיטכיז רעד יאַ זפֿאַלמשעז פֿיז, זאָוועג
נסאַיל־מילימ יווּ, רעסאָו זענענדיק זינראַ מעד זאָפּ זאַלפֿרעביאַ פֿוֹיאַ טגיוועג פֿיז נאָה זקעלפֿניש
עקיפֿישפֿיקידוועגייב יד זאָפּ גוֹיאַ יד נסיפּראַפּ טנאַקעג טשינ וויש טאָה לעשטייר. זעלעפֿיש ענעלאַשטירק
עוועמ אַ יאַ קילב נטימ טפּאַכעגנאַ וויש פֿיז יז טאָה, ריאַ פֿיז טכאַד, טאַ. לגייפּ עסזיי יד זאָפּ זענענדיק
עטנכייצעגנאַ יד — סאַש אַ יווּ, שטייוק אַ — מעצולפּ וואַ, גולפּ זקידנבעווש מעניאַ יז טיילגאַב
טלאַפּ וואַ רעביאַ פֿיז טכערב, זענענדיק טנאַקעג יז נאָה עלעדיימ סאַד וואַ לגויפּ רעד ראַג סאָו, סעינלי־ילפּ
רעד זאָפּ נסימטשעגנאַ דלאַב פֿיז עוועמ יד טאָה, רעסאָו יאַ זאַטעג עכויפּ אַ פֿיז. פּאַראַ דניוושעג
טשטעווקראַפּ, עיניל עכילג עקידוועזמואַ זאַ פּוֹיאַ ריאַ זאַג רעדיוו וויש פֿיז טיז סע וואַ, זאַלפֿרעביאַ
עטכניפּ יד טימ זאַ פֿיז טפעלק יז, קילג ראַפּ טלעווק לעשטייר. לשיפּ זיילק אַ טימ זעמאַזע, זאַגנש מעניאַ
יז. זיירפּ רעטענילכעגנאַ רעד זאָפּ יז יז וואַ זענענדיק טייר, זעלעקעב יד זאַ סעינאַל
זיַא יאַ זאַ פֿיז טוֹיטש וואַ? — זאַנעק סעוועמ רעד זענענדיק ריאַ רע טאָה יז — זאַטס מוז סוֹיאַ פֿיז טרעק
פּוֹיאַ זוֹויה עטיירב יד זאַפּול רעד יאַ טקנעווש זאַטניו עשירפּ סאַד. רוגיפּ רעלעקנוט, *רענשעטעטאַטס
יווּ, טייטש זיילאַ רע וואַ. ראַה עניז זאָפּ טייקערעטיש יד פּאָק פֿוֹיאַ טרעביש, סיפּ עראַד ענגאַל עניז
זרעטלעראַפֿ־יירפּ, זרעגאַמ פֿוֹיאַ זאַלפֿעגניאַ פּיט, גוֹיאַ יד זויב, זאַב זקידמאַ מעניאַ נסימטעגניאַ
אַ — זאַעקאַ מענאָפּ זאַלפּ נטימ פּוֹנוּז פֿיז טסיג זגויב־למיה רעד וווּ, טיירטייוו זענענדיק נכז, מינפּ
רעד טימ מיאַ זאַ זרירוז פֿיז זאַק לעשטייר סגה, טייקאַד־טישנ סנאַטס מוז. ראַפּשנאַ מענערוילראַפּ
עניז יאַ, קילב נטימ קידנעטש טראַד רע טכז סאָו רעבאַ. טניוועגוז וויש רעטכאַט יד זיאַ, טנאַה
זעניז יז זענענדיק יז וועוּ, זאַמ זיַא וואַ? זייל רעייז מיאַ טאָה וואַ, מיאַ זעל אַד זיאַ, לעשטייר, יז זאַ, זשינעטייוו
זאַ טקערטשעגסוֹיאַ, לגייפּ עסזיי יד טימ טליפּשעג פֿיז טאָה לעשטייר וואַ, רעסאָו מיב זענאַטשעג זיַא
וואַ ילפּ רעייז זאָפּ מעדאַפּ זקייטכזכּרוד מעד יאַ זאַכאַ טנאַקעג פֿיז טלאַוּ יז יווּ, זעלענע זיַא זיַא
זאַטעג פּוֹיאַ אַ טאָה עטאַט רעד יווּ טרעהרעד יז טאָה — רעסאָו זרעביאַ זגאַרט פֿיז יז טימ זיילגאַב

זעלענע יד זגויצעגסוֹיאַ זאַלפּ זאַג קידנעטלאַה, פּאָק מעד טיירדעגסוֹיאַ מיאַ זאַ טאָה יז "עלערימ
רענערוילראַפּ זיַא זאַ קידנעטעוּ פֿיז, זעמאַג זעלענע מעד זפֿורעגנאַ רעדיוו טאָה עטאַט רעד. פּוֹיאַ
ראַלק, גוֹיאַ יד יאַ ריאַ קידנעק, וויש וואַ לעשטייר זאַ קילב זיַא טרעפֿעגערעביאַ, דלאַב רעבאַ, זשינעטייוו

...זגאַקעמאַ זאַפּש אַ ריאַ זאַ טכאַמעג וואַ — "עלערימ, רימ זאַ מוק, מוק: זגאַזעגסוֹיאַ
זיאַ סאָו, דניק טרעהרע סנאַטס מעד זאַ, טלייצרעד ריאַ טאָה עמאַמ יד, טסוועג טאָה לעשטייר
טקוקעג לעשטייר טאָה, ענערוילראַפּ אַ. עלערימ נסימטעג טאָה, זאַעקאַ זיַא רעני פּוֹיאַ זעמוקעגמואַ
טשינ רעיש, ריאַ זעל טאַרוקאַ זאַטעג גאַרט אַ פֿיז קיטסאַה טאָה עוועמ עקידעפּוז אַ. זאַטס פֿוֹיאַ
טשינ זאַג פֿיז טאָה ליפּש רעייז זאַ, זיַא טוֹויראַ טימראַד טלאַוועג יווּ, פּאָק פֿוֹיאַ זאַה עריאַ טריירעגנאַ
טרעהרעד טאָה לעשטייר סאָו, זיירשעג אַ זאַלעגסוֹיאַ לגויפּ רעד טאָה רעוֹיאַ עמאַס מיב. טקידנעראַפּ
"לרררימ: זשינעמירקבאַ אַ יווּ זאַג, זעמאַג זעלענע מעד מיאַ יאַ

טימירקראַפּ פֿיז טאָה מינפּ ריאַ; חזמ מעד זאַטעג זיַא אַ שטייוק רעשעלגויפּ רעד טאָה רעדיוו וואַ
רעד זאַ וואַ זאַטס מוז זגירשעגסוֹיאַ זיַא מעצולפּ עלעדיימ סאַד טאָה, זעלענדיק יד טימ קידנעק, וואַ

טאָה, זעלעכיש עטיר עריאַ דמאַ מענאָ טפּאַכעגנעטנאָ "לעשטייר! לעשטייר זיבֿ! עוועמ
טלאַמעד זאָפּ. דמאַ נסימטעג מעניאַ זעלענע עסעווראַב יד טימ קידנעקניז, מיהאַ נפּוֹיל זאַלעג פֿיז לעשטייר
יז זעלענע זאַמ זיַא טשינ. מוק טלעשטייר יאַ טסענ אַ זענענדיק פֿיז לגויפ־מי רעסזיי רעד טאָה זאַ
זיַא זיַא, רעסאָו יאַ קידנעגניאַ, וואַ גערב קע מוז, רעהאַ זרעקמואַ פֿיז רעטעפּש
זעלערימ זענענע עלעשעמ סאַד טכאַרטעגז סעליוו עכלעזאַ זאַ עקאַט יז טאָה רשפּאַ. טיירעטכאַרטאַפּ

מורא אָד טילפּ יז זאָ, סיוועג. עוועמ רעסיוו, רענייש אַ ניא טלדנאָווראַפּ סוקמוא ריא דאָן דיז טאָה סאָוו
...סעטאַשטןאַטייב יד נשיווצ

רע

רעדנעב נעמאַן טימ טאָטש אַ ניא, טלעוו קע רעדנאַ נאָ ראָג ניא נראָוועג ורויבעג זיא, עשאַי, רע,
עביל נוא גראָז טימ נאָ טייהרעניילק נופּ טלנגירעגמוראַ. רעטסעינד דיט מענופּ גערב נפּוּיא טייטש סאָוו
זוילב נעזעג נאָטט נניז רע טאָה, רעטסעווש ערעטלע ייווצ עריא נעמאַמ נניז טימ טלייטעג נבאָה סע סאָוו
דיז נבויהגעגאַ טאָה עשאַי נעוו, רעבמעטפּעס נט 1 מענעי ניא, לאָמ עטשרע סאָד: זבעל ניא לאָמ ייווצ

רע ווו, *סגאַז ניא — רעקיטכיר, הנותח סעשאַי, נניז נויא, לאָמ עטייווצ סאָד נוא; לוש ניא נענרעל
רודיש נניז טרירטסיגערראַפּ לעיצפּאָ טאָה

רעייז נופּ טנשריעג נבאָה ייו סאָוו, לביטש נייא ניא טנויוועג נבאָה רעטסעווש יירד יד
אַ טימ, דעלרעמיצ ייווצ. המחלמ רעד דאָן זנאַג טעמכ זבילבעג סנייפּלע זיא סאָוו נוא, עמאַמ־עטאַט
עמאַמ נניז נוא רע — נטייווצ מעניא נוא, רעטסעווש ייווצ יד נפּאָלשעג נעניז רעמיצ נייא ניא סאָוו, דיק
זיא דניק סאָד זאָ, דיז נשיווצ נסאָלשאַב רעטסעווש יד נבאָה, סאַלק נטפּניפּ ניא רעביראַ זיא עשאַי נעוו
בוטש רעד וצ טויבעגעז ייו נבאָה. לקניוו רעדנוזאַב אַ נבאָה זומ נוא רוחב רעסויראַ אַ ערה־זיע זייק נויש
סאַבעלאַב רעצנאַג אַ נראָוועג טראַד זיא עשאַי נוא, רעמיצ מעניילק אַ דאָן

טאָה סאַלק נניז נופּ רענייק לניוו, סעמאַמ יירד טימ עשאַי — טציירעג מיא נעמ טאָה לוש ניא
נייא נריפּפּאַ מיא טגעלפּ לוש ניא. עמאַמ ענעגייא נניז נעוירפּ יירד יד נופּ זיא רעוו, נפּערט טנאַקעג טשינ
רעדאָ, עטירד אַ נעמוקעג זיא נעגנולמאַזאַרפּ יד נויא נוא, עמומ עטייווצ אַ נעמענפּאַ לוש רעד נופּ, עמומ
נייא ניא טשטעווקעגנייראַ דיז נוא נעמאַזעז עלאַ סאַלק ניא טלעטשעגנייראַ דיז נבאָה רעטסעווש יירד יד
דעלנע נעוועג ייו נעניז וצרעד. נירעליש אַ טימ עשאַי נסעזעג גאַט ייב זיא'ס רעכלעוו ייב, קנאַבלוש
רוזירפּ רעצרוק רענייאַצלאַ נאָ טימ, עטרעקויהעג לסיב אַ עלאַ. עכויה נוא עראַד, רערעדנאַ נאָ וצ ענייא
איז, אַנוואַנאַטנאַ אלימדול, ראַי ריפּ עטשרע יד נופּ נירערעל נניז וליפּאַ. מינפּ נפּוּיא טויה רעכייילב נוא
סעמומ עניז נופּ רענייא טימ יצ, נעמאַמ סעשאַי טימ טדער יז יצ, נישט תמיד געווען זיכער

טאָה, דניק אַ נבאָה נעוועג לאָמ אַ נלאָז ייו, טרעהעג טשינ סעמומ עניז נופּ לאָמ זייק טאָה עשאַי
רעדנוזאַב נעניוו נוא תוחפּשמ ענעגייא נבאָה טנאַקעג נטלאָוו ייו זאָ, נלעטשראַפּ טנאַקעג טשינ דיז רע
ענעשאַרדעגסוּיא יד נלעטש מיא טגעלפּ רעצעמע נעוו, נרעפּטנע וצ נעוועג רעווש וליפּאַ מיא זיא'ס
אַמתסמ טלאָוו'ס? עניז סעמומ ייווצ יד רעדאָ, עמאַמ ענעגייא נניז, ביל רעמ רע טאָה נעמעוו: עגאַרפּ
סעד רעדאָ נעמאַמ יד ביל רעמ טאָה סע יצ, דניק רעדנאַ נאָ ייב טגערפּ נעמ נעוו, ויזא טקנופּ נעזעגסוּיא
נאַטט?

דעלעגניי ערעדנאַ נבאָה סאָוו ראַפּ, עמאַמ יד נאַטעג גערפּ אַ לאָמ נייא עשאַי טאָה, נגעווטסעד נופּ
ליטש דיז, טניז אַ ניא פּאַק סעד קידנעווערעקפּאַ, יז טאָה, טשינ טאָה רע נוא, סעטאַט סאַג רעייז נופּ

נופּ נרעה וצ נעמוקעגסוּיא נעשאַי זיא "טרעשאַבז טראָוו סאָד. "טרעשאַב, מינפּ אַ, זיא ויזאַז: נפּוּרענגאַ
ייו סאָוו נגעוו. גנוצ רעד וצ ייו ייב נעוועג טעפעשטעגעז ייו זיא סע. טפּאָ רעייז סעמומ יד נוא נעמאַמ נניז
דיז, לפּה־ס אַ ייו טאָה, נפּערט נעוועג טשינ לאָז סע סאָוו רעדאָ, דיז נשיווצ נדער נעוועג טשינ נלאָז

— טפּאַרק עשיגאַמ אַ סעפע טאַהעג טאָה טראָוו סאָד. "טרעשאַב, מינפּ אַ, זיא ויזאַז: טרעהעג קידנעטש
נראָוועג טרעפּטנעראַפּ ייו סעגאַרפּ עלאַ דלאַב נעניז, קפּיז נרעווש אַ טימ לאָמ וצ, סע נאַזסוּיראַ נכאַנ
ליטש דיז רע טגעלפּ, לאַפּכרוּד אַ דאָן, נטלעז טשינ נוא, נורכז ניא טצירקעגנייא גאַז רעד דיז טאָה נעשאַי
טניימ סאָד סאָוו קידנעייטשראַפּ קנייוו, "טרעשאַב, מינפּ אַ, זיא ויזאַז נאָ טימ נטיירט

עשאַי טאָה, לושגנאַפּנאַ רעד נופּ לעווש יד לאָמ נטשרע בז נעטרטרעביא נופּ גאַט מענעי ניא
נענאַק סע לאָז רע, נעזעגסוּיא מוראַ קלאַ טאָה קיבראַפּליפּ נוא סוירג וצ. טנעקערעד טשינ מענייק
רעיינ גלאַפּש אַ ניא נאַטענגאַג. גוּיא סאָד נטלאַהראַפּ סעפע נויא רעדאָ, קילב טימ נפּאַכמוראַ
דיז טאָה סאָוו, נעמיר נטיירב אַ טימ טפּאַכעגמוראַ דמעה ענעלאָוו עוירג סאָד — סעראַפּיניואַל־לוש
טימ, נשירעטילימ אַ וצ דעלנע, לטיה אַ פּאַק נפּוּיא; קישוזדנאַרפּס *קיידנעטשטילב אַ נויא טעליפּשראַפּ
אַ — (דעלעגילפּ עטיירפּשעז טימ לרעטאַלפּ נדלאַג אַ ייו, רובּ טנפּעעז אַ) עדראַקאַק רעמתא נאָ

סע טוירטראַפּ משינ, טגילענגניראַך יוהא פּראַד עמ סאָוו קילאַ רע טאָה טכאַנ ראַפּ וטכענ. שאַט מענרעדעל טפּעך ריפּ, תיב־הלאַ רעשיסור — "ГАЗБУКА" (אַזבוקאַ) יד סעמומ יד טינ וואוּ עמאַמ רעד טינ נאָט וצ נבאַטשכּוּב נביירש וענרעל דיז, סעיניל עכּיילג טימ, ייווצ וואוּ, קיטעמטיראַ ראַפּ דעלעטסעק טימ ייווצ — אַ, עקמוג עלעג אַ, סרעיילב עטצינשענגנאַטוּג ייווצ נגיל לאַניפּ־עלעקשופּ נלאַמש מעניא; רעטרעוו וואוּ סאָד ליינו, (רעטעפּש פּוּיא רעדנוואַך נגיל 11 רעמונ וענעפּ ייווצ יד) נעפּ אַ נאָ לטנעה נרעצליה טויר אַ; טניט וואוּ נעפּ טימ — דאָנרעד משרע וואוּ, רעיילב אַ טימ נביירש וענרעלסוּיא דיז נעמ זומ עטשרע סע רע טאָה לוש יא רעבאַ, טיירגענוצ פּוּיא וויש נעמ טאָה טניט־עלעקאַיפּ עלעשעלפּ אַ טימ לרעטניט סאָד נעמונעג משינ

די מאַמע האָט זיך פּונקט דעלטניוועג יוו רעירפּ טפּאַכעגפּוּיא דיז עשאַי טאָה ירפּ רעד יא יא געפּאַרעט ביי זיין טאָש

נתעב נסע מיא סטלאַז — נפּורענגאַ דיז יז טאָה — לפּע נאָ טגילענגניראַ אַד ריד באַה־כ — סיררעביא

טלעווקענגאַ נבאָה סעמומ עדייב

נעמ ראַט *קאָראוּ נפּוּיא זאַ, משינ ייילאַ נעד טסייוו רע. דניק ייילאַ אַ וצ יוו מיא וצ מסדער וד — נסע משינ

...ערה־ניע יייק, קינלאַקש אַ —

רעד טנאַפּשעג טאָה עשאַי. רעטסעווש ירד עלאַ טיילגאַב מיא נבאָה ניראַ לוש יא געוו נפּוּיא רע סאָוו, נעמוּל יד וואוּ רעניז שאַט רערעווש רעד משינ נעוו. נגוילפּעג ראָנ, נענגאַנגע משינ. רעטשרע רע. סנרעטיילגאַב עניז וּפּ נסירעגפּאַ רעמ דאָנ דיז רע טלאַוו, דיז ראַפּ טקערטשעגסוּיא נגאַרטעג טאָה נאָ עליינו אַ פּוּיא נטלאַה־ראַפּ מיא טאָה רעוּטלוש מענופּ טייו משינ. רעסוּיראַ אַ ייילאַ וויש דאָד זיא קייליא וואוּ מיא וצ נענגאַנגענאַ דאָנרעד; נעמאַנ מיב נפּורענגאַ נעשאַי טאָה רע. ליבצנאַמ רעטנאַקאַבמוּא דאָנרעד. מעזוב יא עלעגני מעד טפּוטשענגניראַ ספּע, נקילב עדמערפּ וּפּ סע קידנטלאַה־אַבסוּיא ווו רעוּט מוצ טנאַה רעד טימ מיא קידנפּוטשערעטנוּא טכּייל, וואוּ נאָטעג לכּיימש אַ קיטומטוּג מיא וצ רע טאָה

"העש רעטוּג אַ יאַד: נאָטעג גאַז אַ ליטש

וּפּ מינפּ סאָד טקנעדעגראַפּ משינ וליפּאַ טאָה עשאַי זאַ, דיג וואוּ טראוּרעדמוּא ויזאַ נעשעג זיא סע וויש זיא רעטנאַקאַבמוּא רעד רעבאַ, טקוקעגמוּא דיז רע טאָה, טירט עכעלטע טכאַמעג. נטנאַקאַבמוּא מעד נראַוועג טפּעלשראַפּ; נסעגראַפּ קילאַ סע דיז טאָה עגר רעבלעז רעד יא וואוּ. טראַ מעד פּוּיא נעוועג משינ וואוּ נטשרע נשיוּצ, סיררעביא מעד תעב, רעטעפּש. גאַט נקידבו־טוּי מעד וּפּ שינעוואַה וואוּ שער נטימ קידנטיט וואוּ, סאַלק נטייוּצ יא וויש טייג סאָוו, עשימי, דניירפּ ניז נפּאַלעגוצ מיא וצ זיא, דומיל נטייוּצ

טיקעג טאָה עשאַי?" טעפּעשטעגוצ אַד ריד ייב זיא סאָוו: טגערפּעג, דמעח מעניא נעשאַי רעגניפּ נטימ נגויבענגאַ רע טאָה, נסיב מעד קידנענגילשפּאַראַך. לוש יא נבעגעגטימ מיא טאָה עמאַמ יד סאָוו, לפּע מעד זאַ, נעזרעד רע טאָה טציא משרע. לרענלעק נסייוו, נטראַה מעניא ניק נטימ דיז קידנראַפּשנאַ, פּאַק מעד סאָוו, דאָד אַ ספּע, עקליפּש אַ יוו, טעפּעשטעגוצ זיא לפּענק נטייוּצ מעד וואוּ נטשרעבייא מעד נשיוּצ נלאַמש מעד יא רעגניפּ ייווצ טימ טרעמאַלקעגניא דיז טאָה רע. דמעח נרעטניה סוּיא דיז טלאַה־אַב נעפּלאַווּק אַ טנאַה רעד יא נטלאַה־עג טאָה עשאַי. נאָטעג פעלש אַ קיטסאַה סע וואוּ לקיטאַפּ נקידרעבליז רענירג־לקנוּט רעד פּוּיא דעלתיּוּתא ענדעלאַג ענייש טימ טצירקעגסוּיא, טפּירשפּוּיא נאָ ספּע טימ נעמולה ראָנ טנאַקעג טייצ רעניע יא נעמ טאָה נעפּלאַווּק זאַז נבאָה וצ. דאַלפּרעבייא רעקידנצנאַלג טאָה רע; דאָוו רעד פּוּיא נעוועג זיא עשאַי רעבאַ, מיא ייב נפּאַכסוּיראַ סע נעוועג טיירג וויש זיא עשימי מענופּ נעפּעשטפּאַ רעכּיג דיז ידכּ וואוּ, דיז רעטניה לקיטנאַ מעד טימ טנאַה יד טפּעלשעגערעטנוּראַ דיג

נעמונעג "טלעגטירטפּאַז סאָד טאָה עשימי. לפּע מענעסיבענגאַ מעד מיא טנגאַלרעד, לדניירפּ נקידהפּצוּח זיא סע סאָוו נענעיילרעביא נענעק משינ ייילאַ וטסעוו יוו ייס: אַבער דערביי פּאַרגעוואַרפּן מיט אַ שטאַך

"לקענש, נבירשענגאַ טראַד

עשאַי זיא לוש יא יייג נבייהנאַ ניז וּפּ גאַט נטשרע מעד יא דומיל נטצעל מעד וואוּ נטייוּצ מעד

זא, טקרעמאָב יאדוואַ טאָה, אַנוואָנאַטנאַ אַלימדול, עניז ירערעל יד. "לקעלגז זויב נסעזעגסווא מויק סע טאָה יז נעוו. סאַלק מעד רעסווא מוראַ צעגרע נויש זיז טגאַרט דימלת ריא יב פאָק רעד סע יוו, טליפֿרעד טאָה עשאַי. טכאַלעצ זיז רעדניק עלאַ נבאָה, סאַלק נראַפֿ לוק אַ פּווא טכאַרבעגסוואַר אַ זיא סע ווו, ענעשעק יד נאָטעג פּאַט אַ רעדיוו זיז רע טאָה, טסיירט אַ יוו. נרעווא יד נענערב נאָ מוא נבייה ויאז יז רע טאָה סאָד. ליבצנאַמ נטאַקאַבמוא מעד ונֿף הנתמ יד, נעפּלאַווּק ענירג, ענייש יד נגעלעג טציא ערעניט אַזא נעשאַי נעקנעש וצ, רע זיא רעוו? מעצולפ סאָוו רעבאַ. דמעה סעשאַי וצ טעפּעשטעגוצ קנילפֿ וצ נעקנאָדעג יד ויא נגאַרטעגרעביא זיז, מינפֿ ניז נענאַמרעד זיז טוורפּעג רעדיוו טאָה עשאַי..? דאָ נעק רע זא, סע טסייה — "נעקנעשאַי: נאָטעג פּור אַ מוא טאָה רענטאַקאַבמוא רעד נעוו, עלזיוו רענעי...? נענאַוו ונֿף. מוא

"קינלאַקש ריא קידנעזערעד, טניישעג טאָה יז. עמאַמ יד נעמונעגפּאַ מוא טאָה לוש רעד ונֿף זיז נלעפֿעג מוא זיא סע ויאז יוו, נגערפֿסווא נבויהעגאַ דלאַב מוא יז טאָה, שאַט מעד ווו מיב נעמונעג יד ענעשעק רעד ונֿף טפּעלשעגסוואַר טאָה ווא רערעוו ירדייווצ טימ נעמוקעגפּאַ זיא עשאַי. נענרעל אַ נבילבעג טשינ רופּש נייק זיא דיירפֿ ריא ונֿף. מינפֿ נפּווא נטיבעג זיז טאָה עמאַמ יד. נעפּלאַווּק נפּיל יד ונֿף זעלעקניוו עלאַמש יד ויא טעטיטראַפֿ זיז ווא קילב ריא נגויצראַפֿ טאָה טייקטלאַק ראַפֿ זיז קידנטלאַהניא מויק, ווו רעד טגערפֿעג טאָה —? עמאַמ, נבירשעגנאַ טראַד זיא סאָוו — רעגניז

עגאַרפֿ ריא טרעהרעד רע טאָה רעפֿטנע נאָ טאַשנאַ רעבאַ

? דאָ יד ריד וצ טמוק יוו —

נדנוושראַפֿ צעגרע דלאַב זיא רע... רעוילוש מיב אַד, ירפֿ רעד ניא... טשנעמ אַ רענייא —

נראָוועג...

טאָה יז. דרע יד נסירעגפּאַ זיז נאַפּש אַ טימ רעטייוו טלאַוו'ס יוו, טלעטשעגפּאַ זיז טאָה עמאַמ יד מוא טגאַזעגנייראַ גנערטש ווא מוא וצ נגויבעגנאַ זיז, טנאָה רעד יב נעשאַי נאָטעג פעלש אַ...? נעמענ טשינ טשינראַג מענייק יב טסלאַז'ד נטעבעג זיז יד יבא לאַמ לֿפּוו — טאָה, נגווא יד פּווא פּאַראַ מוא זיא לטיה מענופֿ קישאַד רעד. טראַוורעד טשינ סנויאז טאָה עשאַי יוו ווא, נקאַב יד ויא נאָטעג גאַלש אַ מוא טאָה מעטאַ רעסיה ריא ראַג, נעזעג טשינ מינפֿ סעמאַמ רעד רע טירבעגפּאַ

עמאַמ יד טגערפֿעגרעביא טאָה —? ניינ יצ, נטעבעג —

נרעפֿטנעראַפֿ טלאַווּעג זיז טאָה עשאַי

...טקרעמאַב טשינ וליפֿאַ באַה'כ... טפּוטשעגנייראַ ניילאַ רימ סע טאָה רע רעבאַ —

זייב, לעפֿאַב יז ווא טראַוו נפּווא טקאָהעגפּאַ מוא טאָה יז. טרעהעג טשינ מוא טאָה עמאַמ יד

רעווא ניא טעשטפּעשעגנייראַ

זימ טסאָה! נעמענ טשינראַג מוא יב לאַמ נייק ווא, נייגוצ טשינ לאַמ נייק רעמ מוא וצ טסלאַז —

? ניינ יצ, נענאַטשראַפֿ

טשינ טאָה רע. נראָוועג נגויושטנאַ זיא ווא "אַיז נימ אַ זיז ונֿף טשטעווקעגסוואַר טאָה עשאַי מענייא ניא, נרערט יד נענגילשפּאַראַ טייהרעליטש יצ, לוק אַ פּווא נענייוועצ זיז לאַז רע יצ, טסוועג זדלאַה ניא נקעטש נבילבעג ווא קינייוועניא ונֿף טראַפּשעגסוואַר טאָה סאָוו, סאַרדראַפֿ נטימ פּווא, רעדעי. נרוילראַפֿ טשינ טראַוו נייק נויש ווו רעד ווא עמאַמ יד טאָה מיייהאַ געוו נצנאַג מעד יב נויש. נעשעג יז נשויוצ אַטשרע זיא סע סאָוו, נייטשראַפֿ טוורפּעג מינפֿ אַ טאָה, נפּווא מענעגנייא ניז ווו מוצ נפּורעגנאַ זיז קיור עמאַמ יד טאָה, בוטש עמאַס רעד נסיוו טשינראַג מעד נגעוו נפּראַד סעמומ יד, עשאַי, זיז טעב'כ —

טאָה עמאַמ יד נעוו, טלאַמעד ראַג ווא, *עדיבאַ יד נטלאַהעגסווא. נגויושעג קלאַ דאָנ טאָה עשאַי, סעגאַרפֿ יד פּווא טרעפֿטנעעג, ניילאַ זיז ראַפֿ ראַג יוו, רע טאָה, טנאָה רעד טימ טקירדעגוצ זיז וצ מוא "עטאַט נימ נעוועג זיא סאָד: טלייצרעד ירערעל יד סאָוו נרעה וצ טרעטשעג מוא נבאָה סאָוו

Борис САНДЛЕР

Перевод с идиш Эйтана ФИНКЕЛЬШТЕЙНА

Фрагмент романа

КРАСНЫЕ ТУФЕЛЬКИ ДЛЯ РЭЙЧЕЛ

*Немного тёплого куриного помёта
И бестолкового овечьего тепла;
Я всё отдам за жизнь - мне так нужна забота,
И спичка серная меня б согреть могла.*

Осип Мандельштам

ОНИ

Их всегда видят вместе: его, ее и старушку, которую они везут в инвалидной коляске. Он и она – оба среднего роста, оба неброско, даже несколько старомодно одеты, оба в том возрасте, когда люди вот-вот вышли на пенсию и начинают новую жизнь. Старушка же похожа на безвкусно наряженную куклу. Особенно нелепо выглядит ее голова, покрытая розовой шапочкой с узкой шелковой лентой в качестве обрамления. При всем том эта экзотическая шапочка удачно сглаживает смертельную бледность старческого лица. Ноги старушки тщательно укрыты темно-зеленым шерстяным пледом, на котором, словно два клубочка, лежат маленькие, испещренные синими прожилками, кулачки. Старушка сидит неподвижно, устремив в пространство взгляд потухших глаз, и только когда коляска, попав колесом в предательскую ямку или наехав на камушек, слегка подпрыгивает, голова с шапочкой приходит в движение, как это случается у китайской марионетки. Глаза при этом начинают усиленно моргать. И тогда кто-то из них – он или она – наклоняются к старушке, нежно улыбаются ей в лицо, поправляют плед или шапочку, и только после этого прогулка продолжается.

Они гуляют по бордвоку – этой знаменитой на весь Брайтон прогулочной дороге, растянувшейся вдоль берега океана чуть ли не

на десять километров. Мощеная узкими, чуть почерневшими от времени и кое-где подгнившими досками, она позволяет гулять им в любое время года, но более всего они любят это делать ранней весной. Тогда-то они выходят на бордвок очень рано, часам к восьми, когда солнце лишь начинает отпускать свои лучи в холодную воду, а воздух еще дышит солоноватой прохладой. Их прогулки, которые длятся около трех часов, всегда начинаются на Первом Брайтоне, где стоит их дом, и тянутся аж до Кони Айланда, где скопились причудливые сооружения всевозможных аттракционов. Иногда они останавливаются возле какой-нибудь скамейки, надевают на старушку большие темные очки, закрывающие половину ее лица, и разворачивают коляску к солнцу. При этом сами они усаживаются на скамейку, прижимаются друг к другу и подставляют лица свежему ветерку и утренней прохладе. Они почти не разговаривают; похоже, им достаточно кивка головы, движения бровей или пальцев чтобы понять друг друга. Но безмолвно наслаждаясь утренним солнцем и обществом друг друга, они всегда начеку: достаточно старушке издать слабый вздох, чтобы в ту же секунду кто-то – он или она – наклонился к ней, посмотрел, не давит ли где-то, удобно ли ей сидеть. А убедившись, что все в порядке, он или она достает из сумки, подвешенной к коляске, бутылочку с соской и подносит ее к беспомощному рту ...

Так, каждое утро он, она и старушка появляются на этой прогулочной дороге, а пожилые обитатели Брайтона, которые плотно заселяют скамейки вдоль бордвока, провожают их взглядами, полными восхищения и зависти – нам бы таких заботливых детей!

ОНА

Вообще-то Рэйчел родилась в Нью-Йорке, но если бы это событие произошло тремя месяцами раньше, ее местом рождения стал бы маленький немецкий городок Эйшвеге, а назвали бы ее не на американский манер, а так, как имя ее звучит на языке папы и мамы – Рохча. Между прочим, будучи ребенком, она никак не могла выговорить название того места, где после войны находился лагерь для перемещенных лиц, в котором ее родители долгие месяцы ждали разрешения на въезд в благословенную Америку. Возможно, это было связано с тем, что и отец, и мать предпочитали вместо Эйшвеге говорить «там». И что удивительно – всем было понятно, о чем речь!

Совсем другое дело – слово «Мезрич», название местечка, в котором родилась ее мать и о котором она могла говорить часами. При этом все лучшее, что выпало на ее долю, мама непременно связывала с этим словом. В Мезриче и «солнце светило ярче», и «воздух был самым прозрачным», а уж «коз в Мезриче водилось куда больше, чем где бы то ни было на свете!» Короче, все в Мезриче было замечательно, жизнь была там веселой и беззаботной.

Совсем крохой, Рэйчел проглатывала рассказы матери вместе с бисквитом, запаренным в молоке, но чем старше она становилась, тем менее интересными казались ей истории из жизни местечка. В конце концов, истории эти она позабыла, но слово «Мезрич» так и осталось лежать в ее памяти, словно высохший цветок, забытый между страницами старой толстой книги.

Отец был старше матери без малого на двадцать лет. Но это обстоятельство маленькую Рэйчел отнюдь не волновало, а вот то, что говорил он с ней редко, отрывками, да и когда говорил, смотрел вовсе не на нее, а куда-то в пространство, ее очень огорчало. Мать видела, что у Рэйчел не ладится с отцом, что она часто сердится на него, а иногда чуть ли не плачет, принимая его отстраненность на свой счет. Желая то ли объяснить, то ли оправдать замкнутость мужа, мать решила открыть дочери его тайну. До войны, – однажды, собравшись с духом, поведала она дочери, – у отца была другая семья, и в той, первой семье у него тоже была маленькая девочка. И эта девочка, и ее мать погибли в первый же месяц войны.

В бакалейном магазинчике или на американский манер – гроссари, который держали ее родители на Брайтоне, хозяйкой была мать: она получала товар, вела бухгалтерию и конечно же стояла у прилавка, обслуживая редких посетителей. Задача отца – помогать матери: принести и вынести, распаковать и запаковать, сложить и убрать в подвал. Кроме того, каждое утро отец поднимал тяжелые железные жалюзи, а вечером опускал их и запирал на большой висячий замок. При этом, старые заржавевшие шторы он почему-то называл «гармошкой». Возможно потому, что когда он поднимал или опускал эти чудные сооружения, они издавали какие-то невероятные звуки. Что означает слово «гармошка», маленькая Рэйчел не знала, тем не менее, вечерами, когда отец цеплял жалюзи длинным стальным крюком, и они со скрежетом падали на землю, Рэйчел прыгала от радости и хлопала в ладоши. «Ну, как тебе сегодня понравилась моя музыка?», – спрашивал отец. При этом на его

впалых щеках появлялось что-то похожее на улыбку. Рэйчел тут же подбегала к тяжелому занавесу и несколько раз проводила своими тоненькими пальчиками по его железным морщинам, словно пыталась извлечь из них еще какой-то звук. Но более всего она радовалась тому, что теперь, после того как шторы опустились над дверью и окном лавки, ее родители наконец-то закончили долгий трудовой день. Теперь они все вместе пойдут гулять, держа дочь за руки. И пусть по дороге домой они пройдут всего несколько кварталов, зато это будет их совместная прогулка, во время которой она, Рэйчел, станет маленьким колечком, которое соединит два больших кольца.

Увы, бакалейная лавка следовала за ними по пятам. Она преследовала их своим запахом: смесью дешевого мыла, селедки и плесени, которая въедалась в одежду, в волосы мамы, в грубую кожу отцовских ладоней. Но это еще не все. По дороге домой мама непременно задавала отцу один и тот же вопрос: «Ты проверил, все хорошо заперто?» Она спрашивала это не потому, что не доверяла отцу; больше всего на свете она боялась воров, и страх этот не оставлял ее ни на минуту. «Ворам замок не помеха», – всякий раз отвечал отец. Мать и сама это знала, но ещё больше она боялась потерять этот единственный источник существования и никак не могла преодолеть свой страх. Конечно же, лавка – это тяжелая ноша, но нести ее было для матери делом привычным. Еще там, в местечке Мезрич, грошовая лавчонка, в которой она торговала в свои тринадцать лет, когда осталась в гетто вдвоем с младшей сестричкой, стала для нее той «козой, которая дает молоко». Гроссари на Брайтоне тоже должна была стать ее американской «козой». По крайней мере, так объяснил дядя Макс, который перебрался из Мезрича в Америку задолго до войны, успел встать здесь на ноги, а позже отыскал племянницу в лагере для перемещенных лиц в Германии. Он же помог ей получить визу в Америку, он же приобрел для нее лавку на Брайтоне. Правда, американская «коза» давала совсем немного «молока», но свежеиспеченная хозяйка не опускала рук: она изо всех сил осваивала торговлю по-американски. И то сказать, другого выхода у нее не было, там, за спиной, остались лишь безымянные могилы и обугленные головешки.

Будучи совсем маленькой, Рэйчел целые дни проводила в магазине. Устроившись в углу между ящиками и коробками, она играла со своей куклой Сандрой в продавца и покупателя. Она,

Рэйчел, конечно же была продавцом, как и ее мама, а Сандра была покупательницей. Что касается папы, то в магазине у него был свой уголок – каморка, отгороженная двумя стенками. Там, под бронзовым, позеленевшем от времени краном можно было помыть руки. Там же стоял веник и ведро с половой тряпкой. Туда же бежала Рэйчел, когда заигравшись, вдруг вспоминала, что ей нужно на горшочек. А уж устроившись на нем, она принималась за любимое занятие – рассматривала вырезанные из старых журналов картинки, которыми были обклеены стены каморки. С этих изрядно пожелтевших листочков на Рэйчел смотрели улыбающиеся блондинки с красивыми прическами. В свои пять лет девочка еще не слышала о Голливуде и его звездах, да и вообще еще не бывала в кино. Но свет, который излучали эти красавицы, околдовывал ее, окутывал какой-то чарующей негой, и она засыпала. Из сладкого сна ее выводил голос матери: «Рэйчел, ты там случайно не уснула?»

С одной из картинок на нее смотрел мужчина: маленький человек в котелке, с усиками, он опирался на трость, курил толстую сигару и загадочно ей улыбался. Каждый раз, когда Рэйчел встречала взгляд этого смешного человечка, она радовалась – он здесь, он никуда не убежал! И верно, она ничуть не беспокоилась о красивых дамах: ясно, они и без нее счастливы. Как говорила мама, эти тетикупаются в счастье. Совсем другое – маленький человечек с большими черными глазами. Он-то явно счастлив не был и от того вызывал у нее жалость. Глядя на него, Рэйчел чувствовала, что на глаза наворачиваются слезы. Отчего ей становится грустно, почему ей так жалко этого маленького человечка? Этого она не понимала.

И все же, как бы часто Рэйчел не бегала на горшочек и долго на нем не засиживалась, коморка была папиным царством. Каждую свободную минуту он заходил туда и, не зажигая лампочку, садился на корточки словно отбывал наказание. Иногда из коморки доносилось какое-то бормотание, и Рэйчел никогда не знала: то ли папа разговаривает сам с собой, то ли тихонечко жалуется кому-то. «Человек ест себя поедом», – вздыхала мама, когда папа удалялся в коморку. Маленькая Рэйчел только пожимала плечиками, словно спрашивала свою куклу Сандру: «Как это человек может съесть самого себя?»

По субботам, в теплые летние дни, когда лавка была закрыта, Рэйчел ходила с отцом к океану. Мать же оставалась дома: убирала, стирала, готовила обед. «Возьми папу на бордвок, вытащи его на

солнце, пусть он немножко отойдет!» На набережной, когда бы они туда не приходили, всегда было много народа. Но отец не любил скопления людей; в толпе он чувствовал себя потерянным. Рэйчел видела, как очутившись среди людей, отец вдруг менялся: он испуганно озирался по сторонам, словно ждал встречи с чем-то очень опасным или неприятным. Понятно, на бордвок отец ходил ради того, чтобы доставить удовольствие дочери. И правда, маленькая Рэйчел, одетая в нарядное голубое платье с цветочками, в красных туфельках и желтом берете, сияла от счастья. Она прекрасно знала дорогу – ароматный запах жареных орешек, политых сахарным сиропом, манил ее словно пчелку на мед. Запах этот шел из будки на колесах, хозяин которой – худой, загорелый человек с густой шевелюрой, подвязанной красной лентой, выкрикивал странные, ни на что не похожие, звуки. Его раскатистое «р», словно тонкая стрела, пронзало воздух и в нем же растворялось. Чудной человек, которого отец называл «цыганом», раскатывал орешки по сковороде, а затем ловким движением совка подхватывал их и насыпал в бумажные пакетики. Расплатившись с «цыганом», отец забирал пакетик и торжественно преподносил его дочери. И уж тут гуляние приобретало для нее особый смысл.

Орешки были круглыми, прилипали один к другому, но Рэйчел старательно разделяла их своими тонкими пальчиками и отправляла в рот. Отправляла, но не спешила съедать: сначала ощупывала орешек губами, слизывала с него сладкую корочку и уж только после этого подставляла его коренным зубкам. «Хватит тебе их мусолить», – сердился отец. Но Рэйчел не торопилась, она была уверена, что каждый орешек имеет свой собственный вкус и заслуживает того, чтобы с ним повозиться отдельно. Хуже было другое: пакетик очень быстро становился все легче и легче. Когда же Рэйчел обнаруживала, что там осталось два или три орешка, она тут же сворачивала его: оставшиеся – это для мамы! На том заканчивалась первая часть гуляния.

Вторая начиналась когда они сворачивали к воде. Сбросив красные туфельки, Рэйчел погружала свои босые ножки в теплый песок и бежала навстречу игривой волне. Отец только успевал ее удерживать: «Не носись как угорелая, не сходи с ума!». Сам он двигался осторожно, стараясь идти так, чтобы песок не попал в туфли. Но, не смотря на все старания, через некоторое время его туфли были полны песка. Рэйчел опускала в воду свои липкие

ладошки и несколько минут их полоскала. Потом зачерпывала ими воду и пыталась донести ее до лица. Не получалось: вода вытекала сквозь пальцы. Тогда, Рэйчел мокрыми ручонками протирала измазанные губы и даже кончик языка. После приторно-сладких орешек морская вода казалась ей не такой уж соленой.

Наконец наступало главное – Рэйчел забиралась по колено в воду - дальше ее не пускал папа – и любовалась чайками. Белые птицы с острыми носами и серыми пятнистыми крыльями завораживали ее словно те самые блондинки на полинявших картинках в папиной каморке. Но в отличие от блондинок, они были живыми, и их отрывистые крики вызывали внутри ее какое-то волнение. Рэйчел чувствовала, что от криков пролетающих чаек ее голову словно сжимает обруч. Глаза закрывались сами собой, и она видела узкую длинную трубу, втягивающую ее в свою пустоту с одного конца и через мгновение выбрасывающую из другого высоко в небо, где в ожидании ее кружили белые птицы.

Рэйчел не могла оторвать взгляд от этих резких, угловатых птиц. Ей казалось, что своим взглядом она захватывает то одну, то другую чайку и сопровождает ее в полете. Но нет, неожиданно, словно выстрел, раздавался пронзительный крик, линия полета ломалась и птица резко падала вниз. Плюхнувшись в воду, она тут же выбиралась оттуда, зажав в клюве мелкую рыбешку. Чудо, которое совершала чайка, приводило Рэйчел в восторг, она поворачивала голову к отцу - видел ли он это чудо? Увы, его лицо остается отрешенным, взгляд устремлен куда-то вдаль, где небесная дуга сливается с поверхностью океана. Правда, к отсутствующему взгляду отца девочка давно привыкла, но что он ищет там, в дали, когда она, Рэйчел, здесь, рядом? Однажды, когда они стояли у воды, и Рэйчел, протянув руки белым птицам, пыталась ухватиться за невидимую нить их полета, она услышала как отец, словно позвал кого-то: «Миреле, Миреле». Рэйчел оглянулась. Глядя все в ту же даль, отец повторял и повторял: «Миреле, Миреле». Потом он перевел взгляд на Рэйчел и вдруг произнес: «Кум, кум цу мир, Миреле»¹.

От мамы Рэйчел знала, что ту самую дочь отца, что погибла где-то далеко, по ту сторону океана, звали Миреле. Но почему отец обращается к ней «Миреле», она ведь Рэйчел? Не успела Рэйчел об этом подумать, как какая-то наглая чайка пронеслась над ней низко-

¹ Иди, иди ко мне, Миреле. (идиши)

низко и, едва не коснувшись ее волос, прокричала в ухо: «Миррлл». Птичий крик вывел ее из себя: «Я, Рэйчел, Рэйчел», – крикнула она чайке, и, подхватив тувельки, бросилась бежать в сторону дома.

Со временем белые морские птицы стали частью ее существования и позже, не раз и не два возвращаясь на берег океана и стоя по колени в воде, она долго вглядывалась в даль. И может быть именно здесь она придумала историю о девочке Миреле, которая после гибели превратилась в белую птицу, летающую среди этих брайтоновских чаек.

ОН

Яша родился на другом конце света, в городе, что стоит на реке Днестр и называется Бендеры. Жил он с матерью и ее двумя сестрами, отца же не знал вовсе. Впрочем, два раза в жизни он его видел. Впервые это случилось, когда семилетним мальчуганом Яша в первый раз отправился в школу. Ну а второй и последний раз ему удалось увидеть отца на собственной свадьбе. Точнее, в ЗАГСе, где одна важная чиновница говорила какие-то слова о значении брака в жизни советского человека, а другая, менее важная, выдавала положенные по такому случаю бумаги.

Детские годы Яши прошли в доме, который когда-то принадлежал его деду, и, чудом уцелев во время войны, перешел во владение матери и ее сестер. Впрочем, это скорее был не дом, а домишко, состоящий из двух комнат и кухни. В одной комнате спал он и его мама, в другой обитали мамыны сестры. Когда же Яша повзрослел и перешел в пятый класс, мама – и ее сестры – решили, что ребенку пора иметь свой угол. Решили и пристроили к дому небольшую комнату, где Яша стал полноправным хозяином.

Одноклассники, которые никак не могли понять, кто же из трех женщин настоящая мать Яши, частенько его дразнили: «Яшка – три мамки, Яшка – три мамки!» И то правда, в школу его приводила одна женщина, забирала – другая, а на родительские собрания ходила третья. Иногда они являлись на классное собрание втроем, усаживались на парту, где сидел Яша, и с одинаковым интересом слушали то, что говорила учительница Людмила Антоновна. Худые, высокие, бледнокожие, они были так похожи друг на друга, что учительница никогда не знала, говорит ли она с матерью своего ученика или с одной из ее сестер.

Яша же настолько свыкся с тем, что все три сестры – «его мамы», что не мог даже представить, чтобы одна из теток обзавелась собственной семьей, своим ребенком и стала бы жить отдельно от него и его мамы. Да и вопрос: «Кого ты больше любишь – маму или своих теток?» ставил его в тупик также, как иного ребенка вопрос: «Кого ты больше любишь, маму или папу?» Другое дело – отец. Еще до того, как пойти в школу, Яша спросил маму: «Почему у других мальчиков есть папа, а у меня нет?». Мама, не глядя на сына, отрезала: «Так тебе суждено». Слово «суждено» Яше часто приходилось слышать не только от мамы, но и от ее сестер. Более того, это слово держалось у них на кончике языка и часто срывалось оттуда. О чем бы они не говорили между собой, какой бы сложный вопрос не обсуждали, в конце концов все сводилось к одному – так суждено! Ясно, слово это имело для них магическую силу. Во всяком случае, когда они говорили «так суждено!», все неясные вопросы становились ясными, все нерешенные проблемы становились решенными. Вот и Яша. Подражая матери и теткам, он научился в случае чего говорить самому себе: «Так суждено!», не очень-то понимая, что в самом деле означает эта фраза.

В тот сентябрьский день, когда он впервые отправился в школу, все вокруг выглядело настолько торжественно и необычно, что ему трудно было сосредоточиться, подумать о чем-то одном, на чем-то одном остановить свой взгляд. Он шел, одетый в новую школьную форму – серую шерстяную рубашу, опоясанную ремнем с блестящей пряжкой. На голове была фуражка с кокардой, в руке – кожаный портфель, который он собрал еще с вечера, не доверив эту работу ни маме, ни теткам. Он уложил туда азбуку, четыре тетрадки – для арифметики и письма – и узкий пенал с двумя карандашами, стиральной резинкой и красной деревянной ручкой без пера. «Сначала тебе нужно научиться писать карандашом, а уж потом – пером с чернилами», – сказала учительница, когда мама пришла с Яшей еще только записывать его в школу.

Утром Яша проснулся раньше обычного, но мама уже возилась у стола: «Я тебе положила яблоко, но ешь его только на перемене». На это тетки, улыбаясь, заметили: «Ты разговариваешь с ним, как с маленьким ребенком, но разве Яшенька сам не знает, что на уроке нельзя кушать? Он ведь уже, слава Богу, школьник!». В дорогу его провожали все три сестры, он же шел впереди, точнее, не шел, а летел. Если бы не тяжелый портфель, который он нес в одной руке, и

букет цветов – в другой, он бы еще больше оторвался от своего эскорта – ведь теперь он школьник! Около ворот школы его неожиданно остановил незнакомый мужчина. Он назвал Яшу по имени и, озираясь по сторонам, подошел к нему и что-то засунул за пазуху: «В добрый час, Яшенька!». Это произошло так неожиданно и закончилось так быстро, что Яша даже не успел взглянуть на незнакомца. Правда, сделав несколько шагов, он оглянулся, но мужчина уже исчез.

Суета праздничного дня его закрутила и он тут же забыл о встрече с незнакомым мужчиной. Но во время перемены к нему подошел дружок, что жил в соседнем доме и учился во втором классе, и, показав пальцем на верхнюю пуговицу рубахи, спросил: «Что это у тебя?» Продолжая жевать яблоко, Яша опустил голову и только теперь заметил, что в рубашке, между первой и второй пуговицей виднеется блестящая шпилька. Взяв ее двумя пальцами, он вытащил из-за пазухи ... настоящую авторучку. Авторучка была зеленого цвета, а на ней маленькими буквами было что-то написано. Это походило на чудо, ведь о такой авторучке мечтали все мальчишки! Не успел, однако, Яша разглядеть свое сокровище, как дружок попытался его выхватить. Не тут-то было! Яша быстро спрятал ручку за спину и чтобы откупиться от назойливого дружка, протянул ему надкусанное яблоко. Тот принял «отступное», но при этом ехидно заметил: «Ты все равно не сможешь прочитать, что там написано, тютя».

Весь второй - и последний урок – Яша сгорал от любопытства и едва дождался звонка. По выражению его лица учительница поняла, что «голова ученика находится отнюдь не в классе». Когда она об этом сказала, раздался дружный смех. Яша почувствовал, как у него загорелись уши. В утешение самому себе он потрогал карман, где хранился подарок незнакомой женщины - Яша уже понял, что это незнакомец сунул ему авторучку. «Но почему, кто он такой, почему он сделал мне такой дорогой подарок?» Яша снова и снова пытался вернуть то мгновение, чтобы вспомнить лицо незнакомца. «Да, но ведь этот дядя назвал мое имя. Следовательно – размышлял Яша, он меня знает. Откуда?»

Из школы его забрала мама. Она буквально сияла от гордости за сына и непрерывно его расспрашивала, как прошел первый школьный день. Яша ответил ей двумя-тремя словами и тут же вытащил из кармана подарок незнакомца. «Что там написано, мама?»

– спросил Яша, не обратив внимание на то, что лицо мамы сильно изменилось. Вместо ответа, он услышал вопрос: «Откуда у тебя эта вещь?» «Какой-то дядя дал. Здесь, около ворот. Сунул за пазуху и тут же пропал».

Мама остановилась так резко, словно следующий шаг вел в пропасть. Она схватила Яшу за руку и, наклонившись, строго произнесла: «Сколько раз я тебе говорила – не бери ничего у посторонних!»

Яша не ожидал такой реакции – он ведь ничего плохого не сделал! Козырек фуражки съехал на глаза, Яша не видел лица матери, но чувствовал ее горячее дыхание на своих щеках. «Просила я тебя или не просила?» – продолжала мать. Яша пытался оправдаться: «Но ведь он сам мне ее сунул, я даже не заметил ...». Мать на полуслове прервала сына и отчеканила, словно приказ: «Чтобы ты к нему никогда больше не подходил и никогда ничего не брал у него. Ты понял меня?»

Яша беспомощно выдавил из себя «понял», лихорадочно соображая при этом, что ему теперь делать – расплакаться или тихонько проглотить обиду? Всю дорогу до дома мама и сын не проронили ни слова, каждый по-своему пытался понять: что же произошло? Только когда они подошли к дому, мама, наконец, успокоилась и примирительно сказала: «Тети об этом не должны ничего знать».

Продолжая обижаться, Яша молчал. Когда же мама тепло прижала его к себе, он неожиданно все понял и ответил на вопрос, который не давал ему покоя во время урока: «Это был мой папа!»

Peter STAMM

WAS WIR KÖNNEN

Evelyn hatte ein Cafe mit einem lächerlichen Namen vorgeschlagen, Aquarium oder Zebra oder Pinguin, ich kann mich nicht erinnern. Sie esse dort oft zu Abend, hatte sie gesagt. Als ich eintrat, waren nur zwei Tische besetzt. Ich nahm in der Nähe der Tür Platz und wartete. Ich studierte die Karte. Es war einer jener Orte, an dem die Gerichte originelle Namen tragen und halbe Portionen angeboten werden.

Wir könnten ja mal ein Bier zusammen trinken, hatte ich gesagt, als ich Evelyn an meinem letzten Arbeitstag die Hand schüttelte. Ich hatte das an diesem Tag zu allen gesagt und nie wirklich gemeint. Evelyn sagte, sie trinke kein Bier, und ich sagte, es müsse ja nicht unbedingt Bier sein. Darauf sagte sie, gern, und wann ich denn Zeit hätte. Und es blieb mir nichts anderes übrig, als mich mit ihr zu verabreden.

Als Evelyn endlich kam, eine Viertelstunde zu spät, war ich schon ziemlich verärgert.

»Macht es dir etwas aus, dort drüben zu sitzen?« fragte sie. »Ich sitze immer dort.«

Sie grüßte die Gäste an den anderen Tischen mit Nahlen.

»Ist das ein Heim hier oder was?« fragte ich.

Evelyn hatte Mühe, sich für etwas zu entscheiden. Als die Kellnerin die Bestellung schon aufgenommen hatte, änderte sie ihre Entscheidung noch einmal.

»Du mußt die Speisekarte auswendig kennen«, sagte ich.

Evelyn lachte. » Ich nehme immer dasselbe«, sagte sie. Dann sagte sie nichts mehr und anstrahlte mich nur noch. Ich erzählte irgend etwas. Als endlich das Essen kam, wußte ich schon nicht mehr, worüber ich noch hätte reden können. Evelyn schien keine Interessen zu haben. Als ich sie irgendwann nach ihren Hobbys fragte, sagte sie: »Ich wollte immer gern singen können.«

»Nimmst du Gesangsstunden?«

»Nein«, sagte sie, » das ist mir zu teuer.«

»Bist du in einem Chor?«

Петер ШТАММ*Перевод Ефима ШКОЛЬНИКА***ЧТО МЫ МОЖЕМ**

Эвелин предложила кафе с каким-то смешным названием, то ли Аквариум, Зебра или Пингвин, точно не могу вспомнить. Она сказала, что часто там ужинает. Когда я вошёл, заняты были только два столика. Я занял место недалеко от двери и стал ждать. Я изучал меню. В этом кафе, где блюда носили оригинальные названия, можно было заказать половину порции.

Мы можем вместе как-нибудь выпить пива, сказал я пожимая руку Эвелин в мой последний рабочий день. Так я говорил всем в этот день из приличия. Эвелин ответила, что она пива не пьёт, и я сказал, что пиво пить не обязательно.

Тогда она сказала, что когда у меня будет время, то с удовольствием. И мне ничего не оставалось делать, как договориться о встрече.

Когда она наконец спустя четверть часа появилась с опозданием в кафе, я был весьма рассержен. «Ты не против, если мы туда пересядем?», спросила она. «Я сижу там всегда».

Гостей за другими столиками она приветствовала по именам.

«Здесь что, общежитие?», спросил я.

Эвелин сосредоточилась на выборе еды. Едва официантка приняла заказ, Эвелин изменила его ещё раз.

«Ты бы уже должна знать меню наизусть», сказал я.

Эвелин засмеялась. «Я всегда беру одно и то же», сказала она. Потом она замолчала и только сияющее смотрела на меня. Я что-то рассказывал.

Когда, наконец, принесли еду, я уже не знал, о чём бы я ещё мог говорить. Эвелин не проявляла никаких интересов.

Когда я спросил о её хобби, она сказала: «Я всегда хотела уметь петь».

«Ты берёшь уроки пения?»

«Нет, – сказала она, – это для меня дорого».

«Поёшь ты в хоре?»

»Nein. Ich schäme mich, vor anderen Leuten zu singen.«
»Das sind nicht gerade ideale Voraussetzungen für eine Gesangskarriere«, sagte ich, und sie lachte.
»Ich würde es ja nur gern können.«
Kaum hatten wir den Kaffee getrunken, sagte Evelyn, das lokal schließe in einer Viertelstunde.
»Gehen wir noch irgendwo etwas trinken?« fragte ich aus Höflichkeit, als wir auf der Straße standen.
»Ich gehe nicht gern in Bars«, sagte Evelyn. »Ich hasse den Rauch. Aber wenn du willst, mache ich uns noch eine heiße Schokolade.«

Sie wurde rot. Um die Situation nicht noch peinlicher werden zu lassen, sagte ich, wenn sie auch Kaffee hätte, käme ich gern mit. Sie sagte, sie habe nur Pulverkaffee, und ich sagte, das sei in Ordnung.

»Hat deine Freundin nichts dagegen, daß du mit fremden Frauen ausgehst?«

»Ich habe keine Freundin.«

»Ich auch nicht«, sagte Evelyn, »keinen Freund. Im Moment«

Evelyn wohnte im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses. Sie schaute in den Briefkasten. Es schien eine Art Reflex zu sein, sie mußte ihn schon früher am Abend geleert haben. Als sie in die Wohnung trat, machte sie eine ungelenke Handbewegung und sagte: »Willkommen in meinem Palast.«

Sie führte mich ins Wohnzimmer, zeigte auf das Sofa und sagte, ich solle es mir bequem machen. Ich setzte mich, aber sobald sie in der Küche verschwunden war, stand ich wieder auf und schaute mich um. Das ganze Zimmer war mit hellen, klobigen Fichtenmöbeln eingerichtet. Auf dem Büchergestell standen vielleicht drei Dutzend Bildbände zu unterschiedlichsten Themen, einige Reisebücher und viele Romane mit bunten Umschlägen und Titeln, in denen Frauennamen vorkamen. Überall im Raum lagen und standen Trachtenpuppen. An den Wänden hingen Farbstiftzeichnungen von Katzen und Blumentöpfen, die Evelyn wohl selbst gemacht hatte.

Evelyn brauchte lange, um den Kaffee und die Schokolade zuzubereiten. Der Kaffee war viel zu dünn. Ich erzählte irgendeine Geschichte, dann begann Evelyn unvermittelt, von einer Krankheit zu sprechen, an der sie leide. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber es hatte etwas mit der Verdauung zu tun. Erst jetzt fiel mir auf, daß Evelyn unangenehm roch.

«Нет. Я стесняюсь петь перед посторонними»,
«Это не совсем хорошо для певческой карьеры, сказал я, и она засмеялась.

«Я только хотела научиться».

Едва мы успели выпить кофе, как Эвелин сказала, что кафе закрывается через четверть часа.

«Может выпьем что-нибудь ещё в другом месте?», спросил я из вежливости, когда мы вышли на улицу.

«Я бары не люблю», сказала Эвелин. «Я ненавижу табачный дым. Но если ты хочешь, я могу предложить горячий шоколад».

И она покраснела. Чтобы ситуацию не сделать ещё более неловкой, я сказал, что если у неё есть кофе, я пойду охотно. У был только растворимый кофе, и я сказал, что всё нормально.

«Твоя подруга не против, если ты встречаешься с чужими женщинами?»

«У меня нет подруги»

«У меня тоже нет», сказала Эвелин, «никого. На данный момент» Эвелин жила на третьем этаже многоквартирного дома. Она проверила почтовый ящик. Но это выглядело как привычка, она должна была его ещё раньше освободить. Когда мы вошли в квартиру, она сделала неловкое движение и сказала: «Добро пожаловать в мой дворец».

Она провела меня в гостиную, показала на диван и сказала, чтобы я чувствовал себя свободно. Я сел, но как только она исчезла в кухне, встал опять и оглянулся. Вся комната была обставлена светлой, невысокой еловой мебелью. В книжном шкафу стояло около трёх дюжин иллюстрированных изданий на различные темы, несколько путеводителей, и много романов в пёстрых обложках и с заголовками, в которых преобладали женские имена. Повсюду в помещении лежали и стояли куклы в национальных костюмах. На стенах висели цветные рисунки кошек, горшков с цветами, которые Эвелин, вероятно, сделала сама.

Эвелин понадобилось достаточно много времени, чтобы приготовить кофе и шоколад. Кофе был очень слабым. Я рассказывал различные истории, потом Эвелин начала рассказывать о болезни, которой она страдает. Я уже не знаю, что это было, но это было что-то, связанное с пищеварением. Только теперь я заметил, что от Эвелин шёл неприятный запах.

Vielleicht hatte sie mich deshalb immer an eine Pflanze erinnert, an eine Topfpflanze, der irgend etwas fehlt, Licht oder Dünger, oder die zuviel gegossen wird. Danach war Evelyn wieder sehr schweigsam, aber als ich aufstand, um zu gehen, begann sie plötzlich zu sprechen.

»Ich bekomme diese Briefe«, sagte sie, »von einem Mann. Er scheint mich zu kennen. Ich weiß nicht.«

Ein Mann, der sich Bruno Schmid nenne, schreibe ihr seit Monaten Briefe, sagte sie, und ich war mir nicht sicher, ob sie sich nur wichtig machen wollte. Aber sie schien wirklich beunruhigt.

«Ich habe sie versteckt», sagte sie und holte aus dem Büchergestell eine kleine, mit Marmorpapier eingeschlagene Schachtel. Darin lag ein Bündel Briefe. Sie nahm den obersten heraus und reichte ihn mir. Ich las.

»Liebes Fräulein Evelin,

Sie gefallen mir, ich empfinde Ihre Nähe als angenehm. Sind wir in Gefahr zu wollen, was wir nicht wissen? Es soll nicht zur Sünde und nicht zum Tod führen. Wegen der Gefahren brauchen Kinder Eltern. Den Mahnungen entkomme ich zeit meines Lebens nicht. Mein Glaube nimmt einen Teil meiner Zeit und auch meines Geldes in Anspruch. Aber es bleibt viel, das ich teilen möchte. Ich ahne, daß Sie eine Hoffnung in jemanden haben, und würde davon ganz gern erfahren. Ich weiß noch nicht, was mir davon möglich sein wird.

Viele Grüße ...«

»Er schreibt immer dasselbe«, sagte Evelyn und schaute mich bittend an.

»Ein armer Irrer«, sagte ich.

»Was meint er damit, es soll nicht zum Tod führen? «

»Das Leben führt immer zum Tod«, sagte ich. »Ich glaube nicht, daß er gefährlich ist.«

»Manchmal möchte ich, daß ich schon alt wäre. Dann wäre das alles vorbei. Diese Unruhe.«

»Hast du Angst vor ihm?«

»Die Welt ist voll von Verrückten.«

Ich fragte sie nach den Puppen, um sie abzulenken. Sie sammle Puppen in Nationaltrachten, sagte sie. Sie habe schon dreißig verschiedene, die meisten habe sie von ihren Eltern bekommen, die viel reisten.

»Hast du schon eine neue Stelle?« fragte sie.

»Ich wollte eigentlich eine Weltreise machen.«

Возможно, поэтому она мне всегда напоминала горшочное растение, которому чего-то не хватает, света или удобрений, или оно обильно политое. Потом она снова стала молчаливой, но как только я собрался уходить, она вдруг снова заговорила.

«Я получила это письмо», сказала она, от одного мужчины. Он как будто знает меня. Мне он неизвестен».

Она сказала, что один мужчина, который назвал себя Бруно Шмид, пишет ей уже несколько месяцев письма. Я был неуверен в том, не старается ли она этим придать себе значения. Но она казалась искренне обеспокоенной.

«Я их спрятала», сказала она и достала с книжной полки небольшую, обёрнутую мраморной бумагой, коробку. Внутри лежала связка писем. Она вынула верхнее письмо и передала мне. Я прочитал.

«Дорогая фройляйн Эвелин, Вы мне нравитесь, мне приятно чувствовать Ваше присутствие. Опасно нам желать того, что мы не знаем? Это не должно приводить ни к греху и ни к смерти. Из-за опасностей дети нуждаются в родителях. Мне не избежать напоминаний в течение моей жизни. Моя вера отнимает часть моего времени и денег. Но остаётся ещё много, что я бы хотел разделить. Я подозреваю, что Вы на кого-то надеетесь, и хотел бы очень охотно об этом узнать. Я ещё не знаю, насколько это будет возможно. С приветом ...»

«Он пишет всегда одно и то же», – сказала Эвелин и посмотрела на меня просящим взглядом.

«Бедный сумасшедший», сказал я.

«То, что он имеет ввиду, не должно привести к смерти?»

«Жизнь всегда ведёт к смерти», сказал я. «Я не верю, что он опасен.»

«Иногда я желаю быть старой. Тогда всё бы прошло. И это беспокойство».

«Ты его боишься?»

«Мир полон сумасшедшими»

Чтобы отвлечь, я спросил её о куклах. Она сказала, что собирает куклы в национальных костюмах. У неё есть уже тридцать разных, большую часть которых она получила от родителей, которые много путешествовали.

«Ты уже нашёл новую работу?», спросила она.

«Я, собственно, хочу поездить по миру».

»Vielleicht kannst du mir ja eine Puppe mitbringen«, sagte sie. »Ich würde sie natürlich bezahlen.«

Dann verschwand sie in der Toilette und kam lange nicht zurück. Als ich ging, küßte ich Evelyn auf die Wangen.

»Sehen wir uns wieder?« fragte sie.

»Ich weiß nicht genau, wann ich abreise«, sagte ich.

»Du kannst es ja versuchen. Ob ich noch da bin.«

Zwei Wochen später rief Evelyn an. Ich hatte meine Pläne für die Weltreise inzwischen aufgegeben und mich entschlossen, statt dessen für einige Wochen nach Südfrankreich zu fahren. Evelyn fragte, ob ich Lust hätte, zu ihr zum Essen zu kommen. Sie habe ein paar Leute eingeladen.

»Kollegen aus dem Geschäft«, sagte sie. »Es ist mein dreißigster Geburtstag. Bitte komm.«

Obwohl ich keine Lust hatte, meine ehemaligen Kollegen wiederzusehen, sagte ich zu. Es war mir, als schulde ich Evelyn etwas.

Als ich am verabredeten Abend zu ihr kam, war noch niemand da. Evelyn trug einen kurzen Rock, der ihr nicht stand, und darüber eine altmodische Schürze.

»Ich mußte heute morgen Klinken putzen«, erzählte sie.

»Das war eine Idee von Max. Er hat das aus Deutschland. Wenn eine Frau dreißig wird und noch nicht verheiratet ist, muß sie Klinken putzen.«

Sie erzählte, daß einige der Kollegen die Klinken im ganzen Geschäft mit Senf eingeschmiert hätten.

»Sie wollen das jetzt immer machen«, sagte sie. »Chantal ist die nächste. Und die Männer müssen die Treppe wischen. Man darf erst aufhören, wenn man geküßt wird.«

Sie sagte, es sei schlimm gewesen, aber ich hatte den Eindruck, sie habe sich doch über die Aufmerksamkeit der anderen gefreut. Sie zeigte mir eine lange Kette aus kleinen Papierschachteln, die sie sich habe umhängen müssen.

»Weil ich jetzt eine alte Schachtel bin«, sagte sie und lachte.

»Und wer hat dich geküßt?« fragte ich.

»Max«, sagte sie, »nach zwei Stunden. Ich habe ihn eingeladen.«

Die übrigen Gäste kamen miteinander, Max und seine Freundin Ida, Evelyns Chef Richard und seine Frau Margrit. Sie waren in fröhlicher Stimmung. Max sagte, sie hätten schon einen Aperitif getrunken in einer Bar in der Nähe. Sie hätten alle zusammen ein Geschenk gekauft. Er reichte Evelyn eine Schachtel, und die vier begannen zu singen: » *Happy birthday to you.* «

«Возможно, ты можешь мне тоже куклу привезти», сказала она. «Конечно, я за неё заплачу.»

Потом она исчезла в туалете и долго не возвращалась. Уходя, я поцеловал Эвелин в щёки.

«Мы увидимся снова?» спросила она.

«Я точно не знаю, когда я уеду», сказал я. «Ты можешь позвонить, если я ещё здесь буду.»

Через две недели Эвелин позвонила. К тому времени я свои планы путешествовать по миру забросил и решил поехать на юг Франции. Эвелин спросила, не хотел бы я к ней прийти на обед. Она пригласила некоторых людей.

«Коллеги с фирмы», сказала она. «Это моё тридцатилетие. Пожалуйста, приходи.»

Хотя у меня не было никакого желания встречаться с моими бывшими коллегами, я согласился. Я ощущал себя чем-то обязанным Эвелин. Когда я пришёл к ней в назначенный вечер, ещё никого не было. Эвелин была в короткой юбке, которая ей не шла, и к тому же в старомодном переднике.

«Я должна была сегодня утром дверные ручки чистить», рассказала она.

«Это была идея Макса. Он нашёл её в Германии. Женщина, которой должно исполниться 30 лет и она ещё не замужем, должна чистить дверные ручки».

Она рассказала, что одной коллеге все дверные ручки в фирме намазали горчицей.

«Они хотят это теперь всегда делать», сказала она. «Шантал следующая. А мужчины должны лестницы мыть. Можно только тогда перестать, когда кто-нибудь поцелует».

Она сказала, что было очень трудно, но мне показалось, что её порадовало внимание окружающих. Она показала мне длинную цепь из бумажных коробочек, которую она должна на себя повесить.

«Потому что я теперь старая коробка», сказала она и рассмеялась.

«И кто тебя поцеловал?» спросил я.

«Макс», сказала она, «через два часа. Я его пригласила.»

Остальные гости пришли все вместе. Макс и его подруга Ида, шеф Эвелин Ричард и его жена Маргит. Они были в весёлом настроении. Макс сказал, что они уже выпили аперитив в ближайшем баре.

Evelyn wurde rot und lächelte verlegen. Sie wischte die Hinde an ihrer Schürze ab und schüttelte das Paket.

»Was kann das nur sein? « sagte sie.

In der Schachtel lag ein Kochbuch, »Rezepte für Verliebte« oder »Kochen für zwei« oder so ähnlich.

»Es ist noch etwas drin«, sagte Max. Evelyn hob das zerknüllte Seidenpapier hoch. Darunter lag ein Vibrator in Form eines riesigen, grellorangenen Penis. Sie schaute starr in die Schachtel, ohne das Gerät zu berühren.

»Das war eine Idee von Max«, sagte Richard. Er war verlegen, aber Margrit, eine stark geschminkte, vielleicht fünfzigjährige Frau, lachte schrill und sagte: » Das braucht jede Frau. Wenn du mal verheiratet bist, erst recht«

»Den habe ich aus Idas Sammlung«, sagte Max, und Ida sagte: »Max, du bist schrecklich. Nein, ich habe so was nicht.«

»Nicht mehr«, sagte Max, »jetzt nicht mehr. Batterien sind auch dabei.«

»Ich muß in die Küche«, sagte Evelyn, »sonst brennt das Essen an.«

Sie legte das Seidenpapier zurück in die Schachtel, schloß den Deckel und verschwand.

»Ich habe ja gesagt, das ist eine blöde Idee«, flüsterte Richard.

»Ach was«, sagte Max, »das wird ihre gut tun. Du wirst sehen, in einem Monat ist sie ein anderer Mensch«

Margrit lachte wieder schrill, und Ida sagte: » Max, du bist ein Schwein.«

»Aber jetzt hat Evelyn ja dich« , sagte Max zu mir.

Dann begannen sie, sich über die Firma zu unterhalten, und ich ging in die Küche, um Evelyn zu helfen.

Sie hatte sich große Mühe gegeben, aber das Eisen war nichts Besonderes. Trotzdem war die Stimmung gut. Max erzählte schmutzige Witze, über die Richard und seine Frau ausgelassen lachten. Ida schien schon nach dem ersten Glas Wein betrunken zu sein und sagte nicht mehr viel, nur daß Max schrecklich sei. Evelyn war damit beschäftigt, das Essen auf- und das schmutzige Geschirr abzutragen. Ich langweilte mich. Nach dem Essen tranken wir Tee und Pulverkaffee. Dann sagte Max, wir sollten Evelyn jetzt allein lassen, sie sei sicher schon ganz begierig, ihr Geschenk auszuprobieren. Die vier standen auf und zogen ihre Mäntel an. Ich sagte, ich würde Evelyn beim Abwasch helfen. Max machte eine anzügliche Bemerkung, und Ida sagte, er sei ein Schwein.

Evelyn brachte sie zur Haustür, und ich hörte aus dem Treppenhaus lautes Lachen und dann die Tür, die mit einem Knall ins Schloß fiel.

Подарок они купили вместе. Он передал Эвелин коробку и все четверо запели:» » *Happy birthday to you.*» Эвелин покраснела и смущённо засмеялась. Она вытерла руки о свой фартук и потрясла пакет.

«Что это может быть?» спросила она.

В коробке лежала поварская книга. «Рецепты для влюблённых» или «Варить вдвоём» или что-то похожее.

«Внутри есть что-то ещё», сказал Макс. Эвелин подняла вверх смятую шёлковую бумагу. Под ней лежал вибратор в форме огромного, яркооранжевого пениса. Она оцепенело уставилась в коробку не дотрагиваясь до прибора.

«Это была идея Макса», сказал Ричард. Он был смущён, но Маргит, ярко накрашенная дама лет пятидесяти, пронзительно засмеялась и сказала: «Это нужно каждой женщине. Тем более, если ты когда-нибудь выйдешь замуж.»

«Этот я взял из коллекции Иды.» сказал Макс, а Ида сказала: «Макс, ты ужасен. У меня такого нет.»

«Теперь нет», сказал Макс, «теперь уже нет. Батарейки приложены.»

«Я должна в кухню», сказала Эвелин, «иначе всё сгорит».

Она положила в коробку шёлковую бумагу, закрыла крышку и исчезла.

«Я говорил, что это глупая идея», прошептал Ричард.

«Ах, какой», сказал Макс, «это будет ей полезно. Ты увидишь, через месяц она будет другим человеком.»

Маргит снова пронзительно рассмеялась, а Ида сказала: »Макс, ты свинья».

«Но теперь у Эвелин есть ты», сказал мне Макс. Тут они завели разговор о фирме, и я ушёл на кухню помогать Эвелин.

Она очень старалась, но еда была – ничего особенного. Несмотря на это, настроение было хорошее. Макс рассказывал сальные анекдоты, которым Ричард и его жена заразительно смеялись. Ида выглядела уже после первого бокала выпившей, много не говорила, только, что Макс был ужасный. Эвелин при этом подносила еду и уносила грязную посуду. Я скучал. После еды мы пили чай и растворимый кофе. Потом Макс сказал, что мы должны теперь Эвелин оставить одну, она точно уже сгорает от желания попробовать свой подарок. Все четверо встали и одели свои пальто. Я сказал, что помогу Эвелин помыть посуду. Макс сделал двусмыслен-

»Das Geschirr wasche ich morgen ab«, sagte Evelyn, als sie zurückkam. Dann sagte sie, sie wolle sich frisch machen. Es war ein Satz wie aus einem Film oder einem schlechten Roman. Ich wußte nicht, was er bedeutete und was ich darauf hätte sagen sollen. Sie verschwand im Badezimmer, und ich wartete. Ich wollte Musik machen, aber ich fand keine CD, die ich hören mochte, und so ließ ich es bleiben. Ich nahm einen Bildband über die Kalahari aus dem Gestell und setzte mich aufs Sofa. Ich wünschte mir, irgendwo anders zu sein, am liebsten zu Hause.

Einmal hörte ich Evelyn vom Badezimmer ins Schlafzimmer gehen, dann kam sie endlich zurück ins Wohnzimmer. Sie war nur noch in Unterwäsche, weißer Unterwäsche aus einem festen, seidig glänzenden Material. An den Füßen trug sie Hausschuhe. Sie blieb in der Tür stehen, lehnte sich an den Rahmen und stellte ein Bein leicht angewinkelt vor das andere. Ich hatte eben Bilder von Erdmännchen angeschaut, dünnen, katzenartigen Tieren, die auf Erdhügeln standen und in die Weite schauten. Ich legte das Buch neben mich auf das Sofa. Wir schwiegen. Evelyn wurde rot und schaute zu Boden. Dann sagte sie: »Möchtest du noch einen Kaffee? Ich glaube, es ist noch heißes Wasser da.«

»Ja«, sagte ich.

Sie verschwand in der Küche. Ich folgte ihr. Sie nahm das Glas mit dem Pulverkaffee vom Gestell, und ich hielt ihr meine Tasse hin. Sie schüttete zuviel Pulver hinein und goß heißes Wasser nach. In der Tasse bildeten sich ölig schimmernde Schlieren. Ich sah, daß Evelyn Tränen in den Augen hatte, aber wir sagten beide nichts. Ich setzte mich an den Küchentisch, und sie setzte sich mir gegenüber. Zusammengesunken saß sie auf ihrem Stuhl, hielt die Augen geschlossen und zitterte. Ich schaute sie an. Ihr Büstenhalter war zu groß. Die beiden gewölbten Schalen standen wie Schilde von ihren Brüsten ab. Wieder fiel mir Evelyns unangenehmer Geruch auf.

»Bist du homosexuell?« fragte sie.

»Nein«, sagte ich und dachte, ich wäre gern betrunken.

»Ich habe Kopfschmerzen.«

»Ist dir nicht kalt?«

»Nein«, sagte sie. Sie stand auf und kreuzte die Arme vor der Brust, so daß ihre Hände auf den Oberarmen lagen. Ich folgte ihr, als sie ins Schlafzimmer ging. Sie legte sich aufs Bett und begann, lautlos in das Kopfkissen zu weinen. Ihr Körper zuckte kampfhafte. Ich setzte mich auf die Bettkante.

»Was hast du?« fragte ich.

ное замечание, и Ида сказала, что он свинья.

Эвелин проводила их до входной двери, я услышал громкий смех из подъезда, и дверь с грохотом закрылась.

«Посуду я помою завтра, сказала возвратившаяся Эвелин. Потом она сказала, что хочет освежиться. Это было предложение как из фильма или плохого романа. Я не знал, что это должно означать, и что я должен сказать. Она исчезла в ванной, и я остался ждать. Я хотел послушать музыку, но не нашёл ни одного, понравившегося мне, компакт диска, и отказался от этой затеи. Я взял с полки одно иллюстрированное издание о Калахари и устроился на диване. Мне хотелось бы быть где-нибудь в другом месте, лучше всего дома.

Я услышал, как Эвелин прошла из ванной в спальню, и, наконец, она возвратилась в гостиную. Она была в одном белье из плотного блестящего шёлка белого цвета. На ногах были домашние туфли. Она остановилась в дверях, облокотилась на дверную раму и выставила вперёд слегка согнутую в колене ногу. В это время я рассматривал фотографии сурикатов, тонких, кошачеобразных животных, стоящих на земляных холмиках и глядящих вдаль. Я положил книгу рядом с собой на диван. Мы молчали. Эвелин покраснела и уставилась в пол. Потом она сказала: «Может ты хочешь ещё кофе? Я думаю, там ещё есть горячая вода.» «Да», сказал я.

Она исчезла в кухне. Я пошёл тоже. Она взяла с полки банку с порошком кофе, и я протянул ей свою чашку. Она сыпанула в неё чересчур много порошка и залила его горячей водой. В чашке образовались блестящие маслянистые полосы. Я увидел в глазах Эвелин слёзы, но мы оба молчали. Ясел на кухонный стол, она села напротив меня. Сгорбившись сидела она на своём стуле, глаза её были закрыты, и она дрожала. Я оглядел её. Бюстгалтер был ей велик. Обе его пологие оболочки стояли как таблички перед её грудями. Снова я почувствовал неприятный запах Эвелин.

«Ты гомосексуал?», спросила она.

«Нет», сказал я и подумал, лучше бы мне было быть пьяным.

«У меня болит голова».

«Тебе не холодно?»

«Нет», сказала она. Она встала и скрестила руки на груди так, что её ладони легли ей на плечи. Я пошёл за ней в спальню. Она легла на кровать и начала беззвучно плакать в подушку. Её тело вздрагивало от всхлипываний. Я присел на краешек кровати.

«Что с тобой?», спросил я.

»Ich weiß nicht«, sagte sie.

Ich fuhr mit meiner Hand über ihren Rücken und über ihre Beine bis zu den Füßen.

»Du hast einen schönen Rücken«, sagte ich.

Evelyn schluchzte laut auf, und ich sagte: »Auch ein schöner Rücken kann entzücken.«

Sie drehte sich um und lag einen Moment lang ganz entspannt vor mir, die Arme seitlich am Körper. Sie atmete langsam und tief und schaute zur Decke. Dann sagte sie: »Es ist nicht gut. Und es wird nicht besser.«

»Du darfst nicht zuviel erwarten«, sagte ich. »Glück heißt, das zu wollen, was man kriegt.«

»Ich will ein Glas Wein«, sagte sie und schnupfte und richtete sich mühsam auf. Neben ihrem Bett lag eine Schachtel Kleenex, und sie zog eines heraus und putzte sich damit die Nase. Dann stand sie auf und ging zum Stuhl, über dem ihr Kleid hing. Sie zögerte kurz, dann nahm sie ein Paar Jeans und eine Bluse aus dem Schrank. Ich schaute zu, wie sie sich mit routinierten Handbewegungen anzog. Als sie etwas in die Knie ging und mit beiden Händen die Strümpfe an den Beinen glattstrich, hatte ich einen Moment lang Lust, mit ihr zu schlafen.

»Am schönsten sind wir, wenn wir tun, was wir können«, sagte ich, »was wir immer getan haben.«

Evelyn drehte sich zu mir um und sagte, während sie ihre Jeans zuknöpfte:

»Aber ich mag nicht, was ich tue. Und was ich bin, mag ich noch weniger. Und es wird nur immer schlimmer.«

Wir gingen wieder in das Wohnzimmer, und sie holte eine Flasche Wein aus der Küche. Dann ging sie zur Stereoanlage, zog einige CDs aus dem Gestell und legte sie wieder zurück. Dann schaltete sie das Radio ein. Es lief ein Stück von Tracy Chapman. Ich ging zur Toilette. Vom Flur aus hörte ich, wie Evelyn leise mitsang: »*Last night I heard a screaming ...*«

Sie sang nicht gut, und als ich wieder in die Stube trat, hörte sie auf.

»Ich muß jetzt nach Hause«, sagte ich. »Geht es?«

»Ja«, sagte sie, »es geht. Tust du mir einen Gefallen?«

Sie holte die Schachtel mit dem Vibrator und drückte sie mir in die Hand.

Wirf das irgendwo in eine Mülltonne. Ich möchte es heute Nacht nicht in der Wohnung haben. «

»Die Batterien?« fragte ich. Sie antwortete nicht.

»Ja«, sagte ich, »du mußt mich nicht nach unten bringen.

Als ich mich auf dem Treppenabsatz umdrehte, stand Evelyn noch in der offenen Tür. Ich winkte, und sie lächelte und winkte auch.

«Я не знаю», ответила она.

Я провёл ладонями по её плечам и ногам.

«У тебя красивые плечи», сказал я.

Эвелин громко всхлипнула, и я сказал: «Красивые плечи могут тоже очаровывать».

Она повернулась и одно мгновение лежала передо мной совсем расслабившись, руки вытянув вдоль тела. Она дышала медленно и глубоко и смотрела в потолок. Потом она сказала: «Плохо. И лучше не будет».

«Ты не должна ждать многого», сказал я. «Счастье тогда, когда ты довольна тем, что получаешь».

«Я хочу бокал вина», сказала она, всхлипнула и с трудом села. Около её кровати лежала пачка Клинекс, она вынула оттуда один платочек и вытерла свой нос. Потом она встала и пошла к стулу, где висела её одежда. Она немного помедлила, потом взяла джинсы и блузку из шкафа. Я наблюдал, как она привычными движениями одевалась. Когда она немного наклонилась и двумя руками разгладила на ногах чулки, на мгновение я почувствовал желание с ней спать.

«Мы лучше всего тогда, когда мы делаем то, что мы можем», сказал я, «то, что мы всегда делаем».

Мы вернулись в гостиную, и она принесла из кухни бутылку вина. Потом она подошла к стереопроигрывателю, достала с полки КД, но положила его обратно. Потом она включила радио. Звучала пьеса Трейси Чэпмен. Я пошёл в туалет. Из коридора я слышал, как Эвелин тихо подпевала: »*Last night I heard a screaming ...*« (»Прошлой ночью я услышал крик ...«)

Она пела плохо, и когда я вернулся в комнату, она перестала.

«Мне пора домой», сказал я. «Идёт?»

«Да», сказала она. «Ты мне сделаешь приятное?»

Она принесла коробку с вибратором и вложила мне в руки.

«Брось где-нибудь в мусорник. Я не хочу это иметь сегодня в квартире.»

«Батарейки?», спросил я. Она не ответила.

«Хорошо», сказал я. «Ты не должна провожать меня вниз.»

Когда я на лестничной площадке обернулся, Эвелин ещё стояла в открытой двери. Я ей помахал, она рассмеялась и помахала тоже.

Сергей БИРЮКОВ

ты возводишь речь в степень
parole уравниваешь с lingua
и тут же обнаруживаешь
жабры бытия раскрытые
для поглощения пузырьков
для произнесения ночных песен
там на глубине
прозрачными глазами
ты видишь прозрачность
и слегка задеваешь плавником
малейшее движение
смену тональности
при переходе

млеко дрожит на сосцах
выступают жемчужные капли
ладонь касается губ
лепет-лепет сладок губ лепет
одним движением оказываешься в глубине

Sergej BIRJUKOV*Übersetzung Bernhard SAMES*

du potenzierst die Rede
parole stellst du *lingua* gleich
und schon entdeckst du die
Kiemen des Seins aufgestellt
zur Absorption von Bläschen
zur Wiedergabe nächtlicher Lieder
dort in der Tiefe
mit transparenten Augen
siehst du Transparenz
stößt du leicht mit der Flosse
kleinste Bewegung
Wechsel der Tonalität
beim Übergang

Milch zittert in Brustwarzen
Tropfen treten aus wie Perlen
Hand berührt Lippen
Lallen-Lallen süß der Lippen Lallen
eine Bewegung bringt dich in die Tiefe

ОСНОВЫ ФОНОЛОГИИ

эта листва просит настоящего
подумать так неизбежно
теловходитвтело
отверстияокруглостимягкоститвердости
зияниязаднийпереднийподъем
фонетика
фонология – иное
выбор между архифонемой и
ее коррелятом
боже это не релевантно!
так просит листва настоящего
пафоса страсти апофеоза
мысли-спермы

обнажив одну грудь она привстала на колено
и так застыла на неопределенное время
полушарие Земшара синими прожилками рек
перекрещенное
обнаружилось
усталый путник несколькими мгновениями позже нахло-
нился утолить жажду
да утолит

или
к горячей расщелине
между матовеющих скал
тоже путник припал

GRUNDLAGEN DER PHONOLOGIE

dies Laub bittet um Wirklichkeit
überdenken wie unausweichlich
Körperpenetriertkörper
Öffnungenrundungenweichheitfestigkeit
dehnungvordereshinteresheben
Phonetik
Phonologie – anders
Wahl zwischen Erzphonem und
seinem Korrelat
Gott das ist nicht relevant!
so bittet dies Laub um Wirklichkeit
Pathos Leidenschaft Apotheose
Gedankensperma

eine Brust entblößend kniete sie nieder
und verharrte so unbestimmte Zeit
Halbkugel der Erdkugel blaugeädert durch Flüsse
bekreuztes
entdeckt
ein müder Reisender einige augenblicke später beug-
te sich den Durst zu stillen
und stillt

oder
zur heißen Spalte
zwischen mattwerdenden Felsen
auch der Reisende neigte sich

РЕЦЕПТУРА

(Из серии "Чисто конкретная поэзия")

Яблоки снижают холестерин

Лимоны укрепляют соединительные ткани и кости

Бананы предохраняют от острой и соленой пищи

Бобы снижают холестерин

Бобы нормализуют содержание сахара

Бобы препятствуют раку груди и предстательной железы

Бобы грызы

Цветная капуста снижает холестерин

Морковь поддерживает зрение, сердце

Картофель успокаивает желудок

Чеснок антибиотик и заботник сосудов

Апельсины не допускают атрофии мышц

Апельсин полезен для десен есен

Грейпфруты снижают давление и холестерин

Сладкий перец универсален

От простуды

Астмы

Бронхита

И склероза

Лук при простуде, ангине, бронхите

Яблоки снижают холестерин

REZEPTUR

(Aus der Reihe „Reine konkrete Poesie“)

Äpfel senken Cholesterin
Zitronen stärken Bindegewebe und Knochen
Bananen schützen vor scharfer und salziger Kost
Bohnen senken Cholesterin
Bohnen normalisieren den Zuckergehalt
Bohnen verhindern Brust- und Vorsteherdrüsenkrebs
Bohnen beißen
Blumenkohl senkt Cholesterin
Möhren unterstützen Sehkraft und Herz
Kartoffeln beruhigen den Magen
Knoblauch ist Antibiotikum und Schutz für Gefäße
Apfelsinen verhindern Muskelschwund
Apfelsinen sind nützlich fürs Zahnfleisch Ahnfleisch
Pampelmusen senken Blutdruck und Cholesterin
Delikateßpaprika ist universell
Gegen Erkältung
Asthma
Bronchitis
Und Sklerose
Zwiebeln bei Erkältung, Angina und Bronchitis
Äpfel senken Cholesterin

убегающий ветер утра
удивленно проснуться

здесь темнота

зеленых мельниц перекрестье
туман околиц

слышно
хруст яблока

возвращение

возможно

но не

это похоже
на отрицание

если бы отрицание
могло бы само
себя отрицать

если бы так было
бы так

и в нас
самих
существует

но не

как будто решено
уравнение солнца

зачем еще ветер
и дождь со снегом

и мороз пустынный

и облачко пара

остальное неведомо

scheidender Wind am Morgen
verwundert erwachen

dunkel hier

grüner Windmühlen Überkreuz
Nebel der Zäune

ertönt
Apfelknirschen

Rückkehr

möglich

doch nicht

das ist wie
eine Negation

wäre es Negation
könnte es sich
selbst negieren

wäre es denn so
denn so

und in uns
selbst
existiert
doch nicht

als sei gelöst
der Sonne Gleichung

warum noch Wind
und Regen mit Schnee

und Frost wüst und öd

und Wolkendunst

das übrige wer weiß es schon

В СТОРОНУ ЗНАКА

Jerzy Faryno

узнать как пятятся корни
деревьев
в сторону знака
в сторону корня из минус единицы
понять обратный ход
это собственно вот
постижение
на уровне меты и мета
и движение
от к до
и обратное
обратное знака
(запомнить)

подумай как любит
тебя пространство
оно вбирает
твой голос
речь вливает
в себя
принимает
жесты
в темноте
легкие касания
и безмолвно
говорит "да"

IN RICHTUNG ZEICHEN
Jerzy Faryno

erkennen wie Baumwurzeln
weichen
in Richtung Zeichen
in Richtung Wurzel aus minus Eins
verstehen den Rückwärtsgang
das ist wirklich so dann
Verständnis
auf der Ebene von Meter und Meta
und Bewegung
von zu bis
und rückwärts
rückwärts Zeichen
(merken)

denk nur wie dich
der Raum liebt
er saugt deine
Stimme ein
Rede gießt er
in sich hinein
empfängt
Gesten
in der Dunkelheit
leichte Berührungen
und schweigend
spricht „ja“

ПРИНЦИП АЛФАВИТА

образ букв
из ветра и солнца
создается
можно ветер
представить как букву **А**
и крутить на пальце
как солнце
и тогда возникнет
В – словно два оконца
и снова перетечет
в **А**
и в **Л** разомкнется
и обнаружится **И**
А вернется
и разорвется угол
и станет **Н**
чтобы в финале **И**
Авалиани

ПЕРФОРМАНС ОДИНОЧЕСТВА В ПАМЯТЬ О ВЕЛИМИРЕ (описание)

в полном одиночестве
в пустой комнате
плеснуть немного спирта
на дно стакана
встать посредине комнаты
повороты на четыре стороны
острая влага брошенная
в глотку
тихое произнесение имени
– проступает портрет Велимира
на стене

PRINZIP DES ALPHABETS

Bild von Buchstaben
aus Wind und Sonne
bildet sich
Wind kann man
vorstellen als Buchstaben **A**
und auf dem Finger drehen
wie die Sonne
dabei entsteht
W – wie zwei Fensterchen
und wieder fließt es
ins **A**
und im **L** öffnet
und findet sich **I**
A kehrt wieder
und der Winkel reißt
und wird **N**
zum Finale **I**
Awaliani

ENSAMKEITSPERFORMANCE IM GEDENKEN AN VELIMIR (Beschreibung)

in völliger Einsamkeit
in leerem Zimmer
eiwas Alkohol gießen
auf den Boden des Glases
in der Zimmermitte stehen
Drehungen nach vier Seiten
scharfe Nässe beim Kippen
in die Kehle
leises Aussprechen des Namens
– Velimirs Porträt tritt hervor
an der Wand

Axel SANJOSE

Zum Abschied hell,
ein Rinnsal quillt so leis davon,
davon heißt jemals und nicht ich,
was sickert hier, was sickert

von irgendher, von draußen rein,
das Land so leck, die Zunge gelb,
was endet hier nicht Fisch nicht Reh,
was brennt die Naht im Fell.

Der Einsilb kommt mit falber Pracht,
dem immer nur das Letzte war.
Wir stummen leis das erste Lied,
wer sind wir hier ...

Аксель САНХОЗЕ

Перевод Ефима ШКОЛЬНИКА

Светло прощанье,
ручей течёт так тихо, отчего
не я, но кто-то скажет:
что каплет здесь, *что* каплет

откуда-то, с наружи внутрь,
пролизывает землю, жёлт язык,
он жалит здесь не рыб не лань,
он в шкуре жжёт рубец.

В поблекшей роскоши молчун
всегда в раздаче обделён.
Безмолвьем песню глушим мы,
но кто мы здесь ...

GEBETE IM NAHVERKEHRZUG

1

Ich fürchte die Schneisen im Forst,
wenn jäh sie bedeuten,
den unvermuteten Parkplatz,
den man zu sehen bekommt,
so ortlos, so unangebracht,
die Zeilen, die niemand lesen sollte.

2

Das Kind auf dem Sitz gegenüber
redet und redet laut mit sich selbst,
einem Stofftier ohne Aug.
Brabbeln die Muttersprache
des Menschengeschlechts.
 Verspätet
wegen einer Signalstörung,
sagt der Schaffner,
ein alter Bekannter.

3

Allershausen, kein Bahnhof,
Allegorem.

Die Tafeln ohne Inschriften,
Allegorem.

Die Gleise, ha ha,
Allegorem, Allegorem.

МОЛИТВЫ В ПОЕЗДЕ

1

Мне страшны просеки в лесу,
они могут принудить
к непредвиденной парковке,
которая окажется,
такой неуместной, такой ненужной,
как строчки, что не для чтения.

2

Ребёнок, сидящий напротив
говорит и говорит громко сам с собою,
держа тряпичного зверёныша без глаз.
Не разобрать на каком языке.

Опаздываем.

Помехи на пути,
говорит проводник,
старый знакомый.

3

Аллерсхаузен – не вокзал,
аллегория.

Таблички без надписей,
аллегии.

Перроны, ха-ха,
аллегии, аллегии.

NACH MOTIVEN VON PETER HUCHEL

Die None, ein Abstand,
so nah wie cis
und leer die Oktave. Ein Schlitz.

Der Schritt hinaus ein Sprung, der
dreizehnte Halbton, spindeldürr, schlaflos,
fast ein Verhängnis, eine Erscheinung,
wie weise Frauen, wie Wegkreuzungen.
Wie Klirren, Risse, Finsterwerden.
Stimmgabeln, die letzte schwindet.

Die Glocken schlagen zur Non,
kein Abstand.

(Wie sanft es bebt.)

FUNDSTELLE

Sieh dies Gefild.
Es fristen hier die Dinge
ihre Not, es ziehen hastiger
die Wolken, wie gescheucht,
und Kinder hüpfen
über freigelegte Steine.

Reste vielleicht vom berühmten
Fries mit den falschen Mäandern,
alles schwer beschädigt,
die Triptychenkammer wurde gesperrt.
Hier und da, ungesichert,
ein frühes Behältnis mit Gold
und Hülsenfrüchten, ohne Legende.

Hast du an der Uniform des Wachpersonals
die kupfernen Knöpfe bemerkt?

ПО МОТИВАМ ПЕТЕРА ХУХЕЛЯ

Нона, расстоянье
близкое как секунда
только ещё с пустой октавой. Расщелина.

Пружинный шаг наружу, полутон
тринадцатый, бессонный, тощий,
словно судьба, и как явление
праматери, как перекрестье дорог,
как дребезг, рана, затемнение.
Но камертон последним исчезает.

Ноны. Звонят колокола,
без паузы.

(Как нежен перезвон)

БЮРО НАХОДОК

Всмотрись в это поле.
Здесь доживают вещи
свою беду, плывут поспешно
облака, как от погони,
и дети скачут
через разбросанные камни.

Остатки когда-то известных
фриз с фальшивым меандром,
жестоко разбиты,
каморка для триптихов была заперта.
Беззащитные, и здесь и там,
потёртые шкатулки с бобами,
с золотом, без надписей.

Заметил ли ты на униформе
охранников
блестящие пуговицы?

STÖRUNG

„Es ist so spät,
so spät und abendmüde,
wir sind so spät,
und jedes Wort ade,
Ein Rauschen scheint oder ... oder
ein Zögern, als führe eine Hand
sehr klamm über den Stoff (ein bleiern weiches Tuch),
sehr kalt über die Brust, mit Krallen nur zu streicheln,
der Zitzen jähes Riff, ein Rest vielleicht von Speichel,
die Schultern nackend weiß, so bloß und ungeküsst
am leeren Strand,
nein, nein, lass uns gedenken,
so lieblich einst,
so endlich und so spät“.

„Ja, das Koma ist nur
ein Zustand, ja
der Streifen dort am Horizont,
so unerhört türkis, aber gemalt,
(längere Zwischenmusik)
wir dämmern und verschwinden,
sagt wer im lauwarmen Halbschatten
hier vorne plätschert es,
Brackwasser, Bildrand
hypnagogisch,
ein Singsang und wieder
ja, verschwimmen im Marschland,
im Abenddunst wechseln wie ein Lurch,
murmeln, summen, die Halbvokale, das w
wie in engl. *wet*,
hinüber wall ich
zucke

jetzt Schneeregen,
was für ein Übergang“.

БЕСПОКОЙСТВО

«Уже так поздно,
так поздно и усталый вечер,
мы опоздали,
и слово каждое – прощай,
И слабый шорох или ... или
руке пройти мешает к цели ткань
(как неприступно мягкое сукно),
морозит грудь поглаживанье нежное ногтями
кончиков сосков в следах слюны,
и нецелованные, беззащитно голые, белеют
плечи на опустевшем пляже,
нет, нет, давай же вспомним
нежно прошлое
всё до конца,
пусть хоть и поздно так».

«Да, кома – это только
состояние, да
полосы вдаль на горизонте,
что невозможно бирюзовы, но картинны,
(длинная музыкальная пауза)
светлеем мы и исчезаем,
скажи кто это плещется там впереди
в тепловатой полутени,
солонватая вода, полусмытые края картины,
монотонное пение и опять
да, расплыться в топи,
в вечерней дымке меняться как
амфибия, журчать, жужжать, полугласно,
w, как в англ. wet,
я уже на том свете
исчезаю

идёт дождь со снегом,
что за переход».

Анри ВОЛОХОНСКИЙ

Почему она танцует?
Почему поет певец?
Почему причин и сует
Не уводит их вдовец?
Почему надежды тусклой
Душ сердца огнем горят?
Почему стезей искусной
Бродят, что ни говорят?
Почему инда Природа
Мать-материю трудов
Не препятствует уродам
Сыпать в образы удов?
Почему их мед на лире
Не удерживает съесть? –

Потому, что в этом мире
Сверхъестественное есть.

Henry VOLOHONSKY

Übersetzung Kay BOROWSKY

Warum tut sie immer tanzen?
Warum singt der Sänger dort?
Warum führt denn nicht ihr Witwer
all die nichtigen Gründe fort?
Warum brennen in matter Hoffnung
die Kerzen der Seelen so feuerhell?
Warum gehen auf künstlichem Pfade
Leute erwiesenermaßen nicht schnell?
Warum hat die Natur nicht verhindert,
dass die Ausgeburten wie wild
die Mutter-Materie all unserer Mühen
schütten auf Extremitäten-Bild?
Warum hält sie auf der Leier
der Honig nicht vom Sitzen ab?

Deshalb natürlich, weil unsere Erde
ein übernatürliches Wesen hat.

СТЕПЬ

Шелестит далекая трава
Слышатся в тиши слова родные:
Беспредельно нищая страна,
Где твои резцы и коренные?

Я смотрю в осиротелый рот:
Где концы твоих голодных десен?
Чахлой шелухи невпроворот
Выпало с плотин болотных сосен

Сладок дистрофический укус
На лугах империй гниловатых
Бьют фонтаны уксуса на вкус
Из ноздрей столпов продолговатых

DIE STEPPE

Es raschelt im fernen Grase
Traute Worte fliegen heran:
Du armes Land du grenzenloses
wo liebst du Backen- und Schneidezahn?

Ich schau dir in den Mund, den verwaisten:
Dein hungriges Zahnfleisch endet wohl nicht?
Aus den Sumpfkieferdämmen fallen
welke Schalen Schicht um Schicht

Süß ist der Biß der Dystrophien
Auf den Wiesen des Reichs voller Beulen
springen Essigfontänen hervor
aus Nasenlöchern ovaler Säulen

Gerhard BACHLEITNER

IMPROMPTU

Ein Gedicht ist
Klavierspielen im Dunkeln,
ein Tasten auf Tasten,
und die freigelassenen Klänge
steigen fremder und reicher,
als die Hände sie sehen könnten.
Aus Erinnerung
fließt Ahnung,
(am Denkmal der Gegenwart vorbei,
das die Null markiert)
und versickert wieder.

IMPROMPTU II

Ein Ton wächst
aus einer Brust
dehnt sich zum Saal
verströmt und fließt zurück,
ein Leben als Atem;
ganz in ihn einzutauchen,
gibt Antwort auf die Fragen
eines Ichs an eine Welt.
Den Ton zu verstehen, ist:
die Angel des Daseins zu finden.

Герхард БАХЛАЙТНЕР

Авторизованный перевод Ирены ЛЕЙН

ЭКСПРОМТ

Стихосложение –
фортепьянить впотьмах
нащупывая клавиши,
видеть как отпущенные звуки
всплывают ярче и постороннее,
и руки их больше не узнают.
Память
сочится предчувствием
(сквозь памятник сиюминутному
с отметкой нуль)
и снова впитывается внутрь.

ЭКСПРОМТ II

Тон растёт
из груди в горло
разрастается до зала
разливается и плывет назад.
Жизнь – дыханье.
Окупись с головою в звуки,
в них ответы на все вопросы
одинокого Я к миру.
Звук понять – это значит
зацепить блесну бытия.

Rainer Maria RILKE

Aus „DIE SONETTE AN ORPHEUS“

I. 3

Ein Gott vermags. Wie aber, sag mir, soll
 ein Mann ihm folgen durch die schmale Leier?
 Sein Sinn ist Zwiespalt. An der Kreuzung zweier
 Herzwege steht kein Tempel für Apoll.
 Gesang, wie du ihn lehrst, ist nicht Begehrt,
 nicht Werbung um ein endlich noch Erreichtes;
 Gesang ist Dasein. Für den Gott ein Leichtes.
 Wann aber sind wir? Und wann wendet er
 an unser Sein die Erde und die Sterne
 Dies ists nicht, Jüngling, daß du liebst, wenn auch
 die Stimme dann den Mund dir aufstößt, — lerne
 vergessen, daß du aufsangst. Das verrinnt.
 In Wahrheit singen, ist ein anderer Hauch.
 Ein Hauch um nichts. Ein Wehn im Gott. Ein Wind.

I. 5

Errichtet keinen Denkstein. Laßt die Rose
 nur jedes Jahr zu seinen Gunsten blühen.
 Denn Orpheus ists. Seine Metamorphose
 in dem und dem. Wir sollen uns nicht mühen
 um andre Namen. Ein für alle Male
 ists Orpheus, wenn es singt. Er kommt und geht.
 Ists nicht schon viel, wenn er die Rosenschale
 um ein paar Tage manchmal übersteht?
 O wie er schwinden muß, daß ihrs begriffst!
 Und wenn ihm selbst auch bangte, daß er schwände.
 Indem sein Wort das Hiersein übertrifft,
 ist er schon dort, wohin ihrs nicht begleitet.
 Der Leier Gitter zwängt ihm nicht die Hände.
 Und er gehorcht, indem er überschreitet.

Райнер Мария РИЛЬКЕ

Переводы Лоренса БЛИНОВА

Из «СОНЕТОВ К ОРФЕЮ»

I. 3

Бог это мог. Но как, скажи мне, он,
не бог, но смертный проскользнет сквозь лиру?
Ведь двойствен смысл его. Тут нет кумира:
не встал в распустье сердца Аполлон.
И пенье, – ты учти, – не путь желать,
не способ к еще большему стремиться;
петь – значит быть. Бог мог здесь проявиться.
Но что **есть** мы? И что как обращать
на нас начнет **он** звезды все? и землю!
Не то все это, друг мой, что твой нрав
велит тебе, лишь запоешь ты, – внемли:
забуди, что ты певал. И свой мотив.
Петь можно, лишь иным дыханьем став.
Оно – ни в чем. Оно как бог. Порыв.

I. 5

Надгробия не ставьте. Только роза
цветет пусть ежегодно в его честь.
Ведь то – Орфей! Его метаморфоза
и в том, и в том. Не будем здесь
имен искать. Ведь он уж изначально
Орфеем был; и пел. Придет, уйдет.
Не много ли уже, что розой стала
вся суть его и пару дней живет.
О, как он исчезал, вам не постичь!
Хоть было самому и жутковато.
Пока **здесь** бытие удерживал мотив,
он снова – **там**, куда уж не успеть нам.
Рука решеткой лиры не зажата.
И он покорен, проходя сквозь клетки.

I. 9

Nur wer die Leier schon hob
auch unter Schatten,
darf das unendliche Lob
ahnend erstatten.
Nur wer mit Toten vom Mohn
aß, von dem ihren,
wird nicht den leisesten Ton
wieder verlieren.
Mag auch die Spiegung im Teich
oft uns verschwimmen:
Wisse das Bild.
Erst in dem Doppelbereich
werden die Stimmen
ewig und mild.

II.12

Wolle die Wandlung. O sei für die Flamme begeistert,
drin sich ein Ding dir entzieht, das mit Verwandlungen prunkt;
jener entwerfende Geist, welcher das Irdische meistert,
liebt in dem Schwung der Figur nichts wie den wendenden Punkt.
Was sich ins Bleiben verschließt, schon ists das Erstarrte;
wähnt es sich sicher im Schutz des unscheinbaren Grau's?
Warte, ein Härtestes warnt aus der Ferne das Harte.
Wehe —: abwesender Hammer holt aus!
Wer sich als Quelle ergießt, den erkennt die Erkennung;
und sie führt ihn entzückt durch das heiter Geschaffne,
das mit Anfang oft schließt und mit Ende beginnt.
Jeder glückliche Raum ist Kind oder Enkel von Trennung,
den sie staunend durchgehn. Und die verwandelte Daphne
will, seit sie lorbeern fühlt, daß du dich wandelst in Wind.

I. 9

Тот лишь, кто лиру поднять
смог в преисподней,
смеет хвалою воздать
миру достойно.
Кто вместе с мертвыми мог
мака отведать,
тот на малейший намек
звука ответит.
Пусть отражения ткань
в озере тает:
Образ усвой.
Лишь запредельная грань
голос рождает
вечно живой.

II.12

Верь обновленью. О пусть это пламя не гаснет,
где поглощается вещь, тьмы превращений продукт;
ведь созидающий Дух, всех этих дел земных мастер
ценит в кипении Форм лишь поворотный пункт.
То, что замкнулось в себе, все это остыло;
в серой броне бытия есть ли надежда спастись?
Знай, всякой силе грозит из дали бóльшая сила.
Горе: невидимый Молот навис!
Тот, кто кипит, как родник, будет отмечен признаньем;
и вдохновеннейший труд радостью вспыхнет внезапно,
там, где последний миг с мгновением первым слит.
Но и счастливейший шаг – только дитя прощанья,
след изумленья в душе. И в лавр превращенная Дафна
с дрожью испуганной ждет, не ветра ль ты принял вид.

II. 29

Stiller Freund der vielen Fernen, fühle,
wie dein Atem noch den Raum vermehrt.
Im Gebälk der finstern Glockenstühle
laß dich läuten. Das, was an dir zehrt,
wird ein Starkes über dieser Nahrung.
Geh in der Verwandlung aus und ein.
Was ist deine leidendste Erfahrung?
Ist dir Trinken bitter, werde Wein.
Sei in dieser Nacht aus Übermaß
Zauberkraft am Kreuzweg deiner Sinne,
ihrer seltsamen Begegnung Sinn.
Und wenn dich das Irdische vergaß,
zu der stillen Erde sag: Ich rinne.
Zu dem raschen Wasser sprich: Ich bin.

II. 29

Многих далей тихий друг, почувствуй,
как твое дыханье мир творит.
В темных балках колоколен чутких
звоном грянь! И то, что нас томит,
вдруг наполнится иным размахом.
Обновленью следуй вновь и вновь.
Что – весь опыт наш, пошедший прахом?
Коль горчит напиток, стань вином!
В эту ночь избыток дивных сил
ты отдай преображенью чувства,
встречей редкостной захвачен весь.
Если ж мир земной тебя забыл,
ты скажи земле притихшей: мчусь я,
водам бурным прокричи: я есмь!

Bertolt BRECHT

BALLADE VON DEN SEERÄUBERN

Von Branntwein toll und Finsternissen!
Von unerhörten Güssen naß!
Vom Frost eiskalter Nacht zerrissen!
Im Mastkorb, von Gesichtern blaß!
Von Sonne nackt gebrannt und krank!
(Die hatten sie im Winter lieb)
Aus Hunger, Fieber und Gestank
Sang alles, was noch übrig blieb:
O Himmel, strahlender Azur!
Enormer Wind die Segel bläh!
Laßt Wind und Himmel fahren! Nur
Laßt uns um Sankt Marie die See!

Kein Weizenfeld mit milden Winden
Selbst keine Schenke mit Musik
Kein Tanz mit Weibern und Absinthen
Kein Kartenspiel hielt sie zurück.
Sie hatten vor dem Knall das Zanken
Vor Mitternacht die Weiber satt:
Sie lieben nur verfaulte Planken
Ihr Schiff, das keine Heimat hat.
O Himmel, strahlender Azur!
Enormer Wind die Segel bläh!
Laßt Wind und Himmel fahren! Nur
Laßt uns um Sankt Marie die See!

Mit seinen Ratten, seinen Löchern
Mit seiner Pest, mit Haut und Haar
Sie fluchten wüst darauf beim Bechern
Und liebten es, so wie es war.
Sie knoten sich mit ihren Haaren

Бертольт БРЕХТ*Перевод Романа НУДЕЛЬМАНА***БАЛЛАДА О ПИРАТАХ**

Лихое бешенство от рома,
Промозглость от сплошных дождей,
И негде спрятаться без дома
От зимних ледяных ночей.
А летом солнце беспощадно
Большую кожу жжет и жжет.
Как жарко, голодно и смрадно!
Но тот, кто жив еще, поет:
Пусть неба яркую лазурь
Скрывает тучей ураган!
Мария нас спасет от бурь!
Летит наш парус сквозь туман!

Ни колосящейся пшеницей,
Ни громкой песней кабака,
Ни картами и ни девицей
Не удержать вам моряка.
На берегу он затоскует,
От бабских ссор невзвидит свет.
Он любит палубу родную,
У судна же отчизны нет.
Пусть неба яркую лазурь
Скрывает тучей ураган!
Мария нас спасет от бурь!
Летит наш парус сквозь туман!

Свой тяжкий быт под парусами,
Засилье крыс, жару, чуму
Готовы проклинать часами,
Но вечно преданны ему.

Im Sturm in seinem Mastwerk fest:
Sie würden nur zum Himmel fahren
Wenn man dort Schiffe fahren läßt.
O Himmel, strahlender Azur!
Enormer Wind die Segel bläh!
Laßt Wind und Himmel fahren! Nur
Laßt uns um Sankt Marie die See!

Sie häufen Seide, schöne Steine
Und Gold in ihr verfaultes Holz
Sie sind auf die geraubten Weine
In ihren wüsten Mägen stolz.
Um dünnen Leib riecht toter Dschunken
Seide glühbunt nach Prozession
Doch sie zerstechen sich betrunken
Im Zank um einen Lampion.
O Himmel, strahlender Azur!
Enormer Wind die Segel bläh!
Laßt Wind und Himmel fahren! Nur
Laßt uns um Sankt Marie die See!

Sie morden kalt und ohne Hassen
Was ihnen in die Zähne springt
Sie würgen Gurgeln so gelassen
Wie man ein Tau ins Mastwerk schlingt.
Sie trinken Sprit bei Leichenwachen
Nachts torkeln trunken sie in See
Und die, die übrig bleiben, lachen
Und winken mit der kleinen Zeh:
O Himmel, strahlender Azur!
Enormer Wind die Segel bläh!
Laßt Wind und Himmel fahren! Nur
Laßt uns um Sankt Marie die See!

Vor violetten Horizonten
Still unter bleichem Mond im Eis
Bei schwarzer Nacht in Frühjahrsmonden
Wo keiner von dem andern weiß
Sie lauern wolfgleich in den Sparren

Пусть шторм ревет с накалом новым,
Вперед! Добыча ждет вдали!
Ограбить небеса готовы,
Когда б туда доплыть смогли.
Пусть неба яркую лазурь
Скрывает тучей ураган!
Мария нас спасет от бурь!
Летит наш парус сквозь туман!

Шелка, браслеты золотые
И камни в свой сундук суют,
Добычу - вина дорогие,
Они, кичась, как воду пьют.
Тела, что пахнут дохлой джонкой,
Оденут в пестрые шелка,
Чтоб опьянев, в рубашке тонкой,
Подрагаться в свете камелька.
Пусть неба яркую лазурь
Скрывает тучей ураган!
Мария нас спасет от бурь!
Летит наш парус сквозь туман!

Они бесстрастно убивают
Любого – прав ли, виноват,
Их пальцы горло обвивают,
Как мачту судовой канат.
Они готовы пить на трупах,
Свалившись в воду, в море пить,
И хохотать от шуток глупых,
И небу пальчиком грозить.
Пусть неба яркую лазурь
Скрывает тучей ураган!
Мария нас спасет от бурь!
Летит наш парус сквозь туман!

Где горизонт так фиолетов,
И льется бледный свет луны,
А ночь чернильна и при этом
Враги друг другу не видны,

Und treiben funkeläugig Mord
Und singen um nicht zu erstarren
Wie Kinder, trommelnd im Abort:
O Himmel, strahlender Azur!
Enormer Wind die Segel bläh!
Laßt Wind und Himmel fahren! Nur
Laßt uns um Sankt Marie die See!

Sie tragen ihren Bauch zum Fressen
Auf fremde Schiffe wie nach Haus
Und strecken selig im Vergessen
Ihn auf die fremden Frauen aus.
Sie leben schön wie noble Tiere
Im weichen Wind, im trunknen Blau!
Und oft besteigen sieben Stiere
Eine geraubte fremde Frau
O Himmel, strahlender Azur!
Enormer Wind die Segel bläh!
Laßt Wind und Himmel fahren! Nur
Laßt uns um Sankt Marie die See

Wenn man viel Tanz in müden Beinen
Und Sprit in satten Bäuchen hat
Mag Mond und zugleich Sonne scheinen:
Man hat Gesang und Messer satt.
Die hellen Sternennächte schaukeln
Sie mit Musik in süße Ruh
Und mit geblähten Segeln gaukeln
Sie unbekannten Meeren zu.
O Himmel, strahlender Azur!
Enormer Wind die Segel bläh!
Laßt Wind und Himmel fahren! Nur
Laßt uns um Sankt Marie die See!

Doch eines Abends im Aprile
Der keine Sterne für sie hat
Hat sie das Meer in aller Stille
Auf einmal plötzlich selber satt.

Они ползут, глаза их светят
По-волчьи, смерть даруя, но
Они поют, как плачут дети,
Кому родиться не дано.
Пусть неба яркую лазурь
Скрывает тучей ураган!
Мария нас спасет от бурь!
Летит наш парус сквозь туман!

Чтоб брюхо было вечно сыто,
Стремятся ближе к пище быть.
Чужое захватив корыто,
Жратву и баб себе добыть!
Таких, что всех даров достойны,
На них не жалко кошельков.
Из-за таких бывали войны,
Их похищали семь быков.
Пусть неба яркую лазурь
Скрывает тучей ураган!
Мария нас спасет от бурь!
Летит наш парус сквозь туман!

От плясок отдышаться нужно.
Живот набит и в меру пьян.
Луна и солнце светят дружно,
И сыт кровавый ятаган.
Тогда поют и отдыхают
При свете звезд с ночных небес,
А ветер парус надувает,
Зовя на поиск новых мест.
Пусть неба яркую лазурь
Скрывает тучей ураган!
Мария нас спасет от бурь!
Летит наш парус сквозь туман!

Но как-то вечером в апреле
Они вдруг убедились в том,
Что им ужасно надоели
Моря и ветры в штиль и в шторм.

Der große Himmel, den sie lieben
Hüllt still in Rauch die Sternensicht
Und die geliebten Winde schieben
Die Wolken in das milde Licht.
O Himmel, strahlender Azur!
Enormer Wind die Segel bläh!
Laßt Wind und Himmel fahren! Nur
Laßt uns um Sankt Marie die See!

Der leichte Wind des Mittags fächelt
Sie anfangs spielend in die Nacht
Und der Azur des Abends lächelt
Noch einmal über schwarzem Schacht.
Sie fühlen noch, wie voll Erbarmen
Das Meer mit ihnen heute wacht
Dann nimmt der Wind sie in die Arme
Und tötet sie vor Mitternacht.
O Himmel, strahlender Azur!
Enormer Wind die Segel bläh!
Laßt Wind und Himmel fahren! Nur
Laßt uns um Sankt Marie die See!

Noch einmal schmeißt die letzte Welle
Zum Himmel das verfluchte Schiff
Und da, in ihrer letzten Helle
Erkennen sie das große Riff.
Und ganz zuletzt in höchsten Masten
War es, weil Sturm so gar laut schrie
Als ob sie, die zur Hölle rasten
Noch einmal sangen, laut wie nie:
O Himmel, strahlender Azur!
Enormer Wind die Segel bläh!
Laßt Wind und Himmel fahren! Nur
Laßt uns um Sankt Marie die See!

На их любимом небосклоне
Свет ясных звезд потух слегка,
А их любимый ветер гонит
В туманном свете облака.
Пусть неба яркую лазурь
Скрывает тучей ураган!
Мария нас спасет от бурь!
Летит наш парус сквозь туман!

С полудня легкий ветер вьется,
Он дует ночью до утра,
Лазурь вечерняя смеется,
А рядом черная дыра.
Они почувствовали жалость
В тяжелом взгляде волн морских,
Потом объятья ветра сжались
И в полночь умертвили их.
Пусть неба яркую лазурь
Скрывает тучей ураган!
Мария нас спасет от бурь!
Летит наш парус сквозь туман!

В последний раз корабль швыряет
До неба штормовой порыв.
Там перед ними вырастает
Опасный неприступный риф.
И наконец, сквозь рев натужный
Чуть доносилось целый час,
Как громко слаженно и дружно
Они поют в последний раз:
Пусть неба яркую лазурь
Скрывает тучей ураган!
Мария нас спасет от бурь!
Летит наш парус сквозь туман!

К восьмидесятилетнему юбилею**Бориса РАЦЕРА**

*Дорогой Борис М. Рацер,
Есть у нас РАЦ-предложение:
Всей редакцией признаться
Вам в любви и уваженье.*

*Вы вошли в литературу
Драматургом и поэтом.
Петербургскую культуру
Нынче сеете по свету.*

*Ну а мы при слове «Рацер»
Вспоминаем Ленинград.
И не только ленинградцы
Вам желают сил стократ.*

— — — — —

Даниил ГРАНИН

Борис Рацер – драматург, причём комедийный, то есть представитель, может, самого трудного жанра. Но для меня, знающего его многие годы, было совершенно неожиданно открыть ещё одну грань его таланта. Оказывается, что он автор множества афоризмов, изречений, «мини мыслей». Подобные вещи требуют особенностей особых. Афоризмы Бориса Рацера очень точно отмечают характер нашей жизни, её абсурды, своеобразие мышления современного человека. Блески подлинного остроумия и ума определяют их ценность.

Даниил АЛЬ

...Однажды, в конце 1960-х годов, порог ленинградского Театра Комедии впервые переступили два молодых человека – Борис Рацер и Владимир Константинов. Согласно просьбе пришедших, которые за несколько дней до того оставили в канцелярии театра свою первую пьесу – комедию «После двенадцати», их провели прямо в кабинет главного режиссера – Николая Павловича Акимова.

– Входите, молодые люди, – сказал Николай Павлович. И они вошли. Вошли в кабинет Акимова и одновременно в театральную жизнь Ленинграда. А вскоре и всей страны. Комедия «После двенадцати», поставленная в акимовском театре, мгновенно разошлась по многим театрам страны. Таковой стала и судьба других веселых пьес Рацера и Константинова – «Инкогнито», «Неравный брак», «Ход конем» и многих других.

В чем же был секрет этого успеха? Ответить на этот вопрос, на мой взгляд, следует так: в творчестве Рацера и Константинова нашли органическое сочетание важнейшие для писателей-юмористов качества. Прежде всего, талант. Умение увидеть не просто смешное, а достойное осмеяния общественное явление. Умение это смешное изобразить, не впадая при этом в пустое, тем более в низкопробное смехачество. (За примерами такого «юмора» сегодня не приходится далеко ходить – ими переполнен современный шоу-бизнес.) И главное – юмор Рацера и Константинова был неизменно добрым. Именно такой юмор был в то время, в 60-е годы, весьма востребован. На памяти у тогдашнего зрителя было еще много тяжелых воспоминаний. Еще «вчера» была война. Еще «вчера» были репрессии. И душа человека жаждала настоящей, а не только казенной оттепели. А новых веселых и добрых комедий, посвященных современной жизни, было еще очень мало. Это положение нашло тогда отражение в строках моего шуточного стихотворения:

*«От лакировочных картинок
Порой стояла боль в висках,
А Рацер, да и Константинов,
Еще ходили в бедняках».*

Именно творчество Рацера и Константинова решительно переменяло это положение. Они работали много и стали

безусловными чемпионами комедийного репертуара. Я невольно, как всегда бывает, когда речь идет о соавторах, все время говорю и о Рацере, и о Константинове. Между тем люди они были, естественно, разные. Владимир Константинов был человек необыкновенно моторный, предельно общительный, соответственно, разговорчивый. В отличие от него Борис Рацер – человек весьма сдержанный, можно сказать, молчаливый. Но зато каждая его фраза всегда содержала какую-нибудь интересную, оригинальную мысль и, как правило, была окрашена тонким юмором. Мне, как и многим нашим друзьям, не хватает прежнего, частого общения с Борисом Рацером, живущим ныне за границей. Особенно не хватает его тонкого, доброго юмора.

Пользуюсь случаем сердечно поздравить старого друга – Борю Рацера с юбилеем, пожелать ему всего самого доброго, тем более что он всего самого доброго вполне заслужил, поскольку принес много доброго людям.

Исай ШПИЦЕР

Борису Рацеру

*Стихи он пишет, прозу, пьесы
И эпиграммы на известных.
Такого ранга мастер сам
Достоин всяких эпиграмм.*

*Своей судьбой избрал он слово.
И в нём переплелись навек.
Сатирик острый и суровый
И добрый, мягкий человек.*

Борис РАЦЕР

АФОРИЗМЫ & ЮМОРИЗМЫ

Чтобы сбыть плоские шутки, юмористам нужны круглые даты.

Те, кто думают, что завтра будет хорошо, думают плохо.

А богатырей-то было не трое, а четверо – четвёртый их фотографировал.

Почему бы не создать Клуб Невесёлых и Ненаходчивых? Вот действительно смеху было бы.

Ничего не принимайте близко к сердцу, даже валидол.

Разбудить совесть могут многие, а вот не дать ей заснуть – единицы.

На переправе

Те, кто в седле всю жизнь, те понимают,

Что сказано не ради красных слов:

«Коней на переправе не меняют»,

Но почему у б не поменять ослов?

Плюс–минус

Не спорю — каждому своё.

Но хоть у всех своя дорога,

Чтоб жизнь сложилась, из неё

Должны мы вычесть очень много.

Ничего не напишешь

Таким уж создан человек

И с этим надо примириться:

Чем меньше мыслей в голове,

Тем больше тянет поделиться.

Основное отличие

Что отличает дурака,
Что в мудрецы зачислен:
Невоздержанье языка
При воздержанье мысли.

Приятные неприятности

Есть истины, что вслух не называют,
Но я вам назову одну из них:
И неприятности приятными бывают,
Когда они бывают у других.

Раньше срока

Хотел бы я неправым оказаться,
Но говорит мне опыт и чутьё:
Кто в эту жизнь никак не смог вписаться,
Тот выпишется раньше из неё.

Что страшнее?

Не тем дивлюсь, кто смог деньги скопить,
А тем, кто их сподобился раздать.
Не тех боюсь, кто может всех купить,
А тех страшусь, кто может всех продать.

Без мужчин

Кто классика (он многих душ кумир),
Сегодня процитировать не любит?
Да, красота спасёт, конечно, мир,
Но без мужчин. Мужчин она погубит.

Главный вопрос

К Всевышнему у нас вопросов много,
Но как отцу мне хватит одного:
Талант у сына, видимо, от Бога,
Узнать бы — остальное от кого?

Девиз для критиков

У критиков девизом быть
Могла б в наш век такая фраза:
«Поэтов можешь ты не бить,
А графоманов бить обязан».

Довольствуясь малым

В преддверье рая или ада
Нас посещает мудрость вещая —
Как мало человеку надо!
Конечно, если он не женщина.

Желания

Мы все рабы своих желаний,
И тут, хоть рви нас на куски,
Но не поднимут на восстанье
Нас никакие Спартаки.

Измельчание

Мельчают люди, в том числе и я.
А что мельчаю, в этом убеждают
Большим начальством ставшие друзья —
Они меня в упор не замечают.

Истина

Истин в жизни познаём немало,
Но одною поделиться тянет:
Сколько жить ни начинай сначала —
Больше жизнь от этого не станет.

Исторические раздумья

Хоть и был во времена царизма
Под Полтавой швед разбит Петром,
Он живет теперь в социализме,
Ну а мы черт знаем в чем живем.

Потому что вкалывали шведы,
Чтобы свой вернуть авторитет,
Ну а мы все пили в честь победы —
Вот уже почти что триста лет.

Книга жалоб

Жизнь не всем, как говорится, светит,
И отсюда — слёзы и нытьё.
Самой толстой книгой на планете
Стала б книга жалоб на неё.

Кто ищет, тот найдёт

Я, жизнь пройдя уже за половину,
Оставлю людям пару вещей строк:
Кто ищет, тот всегда найдёт причину,
Из-за которой ничего найти не смог.

Культура и инфляция

Согласно достоверной информации,
Зависима культура от инфляции.
Была Россия больше всех читающей,
А нынче стала больше всех считающей.

Любовь зла

Когда от любви, что коварна и зла,
В мозгах происходят смещения,
То можно влюбиться не просто в козла,
А даже в козла отпущения.

Болдинское лето

Нынче муза измененья вносит
В творческие графики поэтов,
Почему-то болдинская осень
Чаще к ним приходит в бабье лето.

Царь или не царь?

Леса у нас лысеют год от года,
Моря у нас мелеют, хоть тут плачь!
Сегодня человек не царь природы,
А чаще, к сожалению, палач.

Какая не была б эпоха,
Тому живется в ней неплохо,
В ком есть талант предугадать:
Кому и сколько надо дать.

Прочел историка труды
И родились такие строфы:
В России только две беды,
Все остальное – катастрофы.

Хоть и другая жизнь сейчас,
Но перспективы те же:
Нам жизнь дается только раз,
А удаётся реже.

Хоть мы не иноземцы
В своём родном краю,
Но все невозвращенцы
Мы в молодость свою.

Черное и белое
Не валите в кучу –
Тот, кто может – делает,
Кто не может – учит.

Эх, не забыть бы нам в жизни учесть,
Чуть пораскинув мозгами:
Самое ценное, что у нас есть,
Это, конечно, мы сами.

Нынче редко на нашей планете
Можно братьев по разуму встретить,
Но зато многократно на дню
По маразму встречаем родню.

Может гений лишь понять,
Что с тех пор как создан свет,
Невозможно первым стать,
Если очереди нет.

Кто при деле сегодня в Отчизне,
у того лишь дела на умею
Посидеть и подумать о жизни
Можно сидючи только в тюрьме.

Дети наше будущее, но,
Хоть и светлым видится оно,
Глядя на потомков наших что-то
Мне туда не очень-то охота.

Хоть и не верю я всем мудрецам,
Но этими верно подмечено:
Если никто не завидует вам,
Значит, завидовать нечему.

И даже в Африке в наш век
Антисемиты есть.
Еврей для них не человек –
Хоть режь, не станут есть.

Эх, сколько б лет не жить и зим нам,
Нет счастья большего в судьбе,
Когда любовь твоя взаимна
С любовью родины к тебе.

Что будет с нами дальше – неизвестно,
Но где и кем бы не пришлось служить,
Вперёд! Назад! Бегом! Ползком! Ни с места! –
Команды без которых нам не жить.

Так уж на Руси заведено,
И сей обычай не утерян:
Прорубить куда-нибудь окно,
Позабыв врубить сначала двери.

Нету яхты, джипа, дачи,
С детства в карты не везло.
Если время – деньги, значит,
Наше время не пришло.

Чтоб славы достичь и почёта,
А кто о таком не мечтает,
Наверх пробивается кто-то,
А кто-то, простите, всплывает.

Сейчас в цене не ум, увы, а сила,
И страшно, если на века
То чувство локтя, что в России было,
Заменит чувство кулака.

Поскольку в браке я не первый год,
То новичкам могу открыть секрет,
Когда жена вопрос вам задаёт,
То у неё уже готов ответ.

Вы знаете, о чём поют дрозды,
А с ними хором и другие птицы?
Что старый конь не портит борозды,
Так дай нам Бог ещё побороздиться!

Когда тупик, когда обвал,
Когда ни к черту нервы,
Кто первым выход указал,
Того и давят первым.

Моя недремлющая Лира
С пелёнок шепчет мне любя:
Не сотвори себе кумира,
а сотвори себе себя.

Как на земле не многолюдно,
И как не тесно нам на ней,
Найти другей хороших трудно,
Но потерять врагов – трудней.

Ludwig MARKUSE

ARGUMENTE UND REZEPTE

Alternativen

Tertium datur. Die weltberühmten Alternativen sind meist gar keine – zum Beispiel: Glaube oder Unglaube

Anarchie

Ich wünschte, die Menschheit könnte sich eine Anarchie leisten. Sie kann es nicht, leider. Vergessen wir aber nie das Ideal: soviel Anarchie wie möglich.

Argumente

Du sollst nicht vor einem Argument in die Knie brechen. Vielleicht überzeugt es nur, beweist aber nichts.

Aufklärung

Die Vernunft macht immer heller, in welchem Dunkel wir leben.

Biographie

Das Vorurteil sagt, es sei leichter, das Leben eines anderen zu beschreiben. Manchmal: ja; manchmal: nein. Wenn ich mit jemand spreche und beobachte zu gleicher Zeit ihn und mich, so ist von vornherein ausgemacht, wen ich richtiger sehe. Es mag sogar sein: mich; weil ich in diesem Moment vielleicht nicht interessiert an mich bin.

Es ist ein Aberglauben, dass Selbstbildnisse mehr von Illusionen gefährdet sein müssen als Bildnisse von Zeitgenossen oder historischen Figuren.

Demokratie

Du sollst auf dich mehr hören als auf die priesterlichen Stimmen der Zeit.

Exklusivität

Es ist Faulheit oder Haltlosigkeit, ausschließlich zu sein

Людвиг МАРКУЗЕ

Перевод Ефима ШКОЛЬНИКА

АРГУМЕНТЫ И РЕЦЕПТЫ*Альтернативы*

Третье дано. Всемирно известные альтернативы в большинстве такими не являются. Пример – вера и неверие.

Анархия

Я желал, чтобы человечество могло позволить себе анархию. К сожалению, оно к этому неспособно. Но мы никогда не забудем идеал: анархии столько, сколько возможно.

Аргумент

Ты никогда не должен преклоняться перед аргументом. Возможно, он убеждает, но не доказывает.

Просвещение

Рассудок всегда делает светлее темноту, в которой мы живём.

Биография

Предрассудок утверждает: нет ничего легче, чем описать чужую жизнь. Иногда – да, иногда – нет. Если я с кем-то разговариваю и одновременно наблюдаю его и себя, то априори значит, что кого-то я вижу лучше. Может, даже себя, ведь в этот момент, возможно, я собою не интересуюсь.

Это суеверие, что автопортреты больше страдают от иллюзий, чем портреты современников или исторических фигур.

Демократия

Ты должен больше слушать себя, чем проповеди времени.

Исключительность

Быть исключительностью – это по сути лень или распущенность.

Formulierungen

Originelle Formulierungen sind noch nicht originelle Einsichten

Führer

Ein Führer entsteht nur, wenn eine Gefolgschaft bereits da ist

Grenzen des Skepsis

Jede Skepsis enthält den individuellen Umriß ihrer Grenze: wo ist ein Skeptiker nicht mehr skeptisch?

Ideal

Sobald die Wirklichkeit mit einem Ideal verschmolzen wird, verdeckt es sie.

Idealisten

>Idealisten< nennt man die, welche von einer Macht weichen – aber noch nicht der Logik.

>Idealisten< nennt man die, welche von einer Macht vernichtet werden, die sie nicht durchschauten.

Individuum

Widersprüche sind kein Einwand gegen einen Menschen.

Das Wort Individuum meint nur: Unteilbarkeit, nicht: Harmonie der Teile.

Intelligenzdefekt

Mit vielem rechnet Gescheite nicht, weil sie sich ein solches Maß von Dummheit nicht vorstellen können

Ironie

Ironie ist keine Waffe, eher in Trost der Ohnmächtigen

Klassenmoral

Könige dürfen griesgrämig sein. Knechte müssen lachen

Klassiker

Die Werke der Philosophen und Künstler sind nicht so monolithisch, wie es die Fabel will, die Zukunft die über sie umläuft. Sie sind nie aus einem

Формулировки

Оригинальность формулировок ещё не означает оригинальность убеждений.

Вождь

Вождь возникает тогда, когда уже есть свита.

Границы скептицизма

Каждый скепсис обретает индивидуальные очертания своих границ: где скептик больше не скептичен?

Идеал

Как только реальность сливается с идеалом – он маскирует её.

Идеалисты

>Идеалистами< называют тех, кто уступает власти, а не логике.

>Идеалистами< называют тех, которых власть не понимает и, поэтому, уничтожает.

Индивидуум

Возражения не являются протестом против людей.

Слово *индивидуум* подразумевает неделимость, а не гармонию частей.

Интеллигентность ущербна

Разумность многое не учитывает, потому что она не может себе представить весь размер глупости.

Ирония

Ирония – это не оружие. Скорее, это утешение для бессильных.

Классовая мораль

Король может быть угрюмым. Рабы должны смеяться.

Классик

Произведения философов и художников не так монолитны, как того желает фабула, определяемая будущим. Она никогда не была однородной. Всем своим содержанием устремляясь в будущее,

Guß gewesen. Eng erworben mit dem, was die Zukunft vorwegnahm, war, was von der abgelebten Zeit nicht loskam.
Es gibt keine Klassiker in dem Sinn: Poeten und Interpreten des Alls über dem Sternenzelt.

Konservativ

Die Verteidigung des Ungeliebten ist das Zeichen modernen Konservativseins: sie bewahren nicht, sie klammern sich an.

Kritik der Kritik der Kritik

Der Schauspieler sagt vom Kritiker: er ist nicht vom Bau. Das stimmt, denn sonst würde der Kritiker theaterspielen und nicht kritisieren. Aber der Schauspieler kritisiert, obwohl er nicht vom Bau des Kritikers ist: er kritisiert seine Kritiker.

Kritik der Kritiker

Viele Rezensenten können schreiben, aber nicht lesen.

Kulturnobismus

Die offizielle hehre Kultur will mit der Nase, die rüchert, und der Zunge, die schmeckt, nichts zu tun haben, weil sie nicht am Weltgeist beteiligt sind. Beteiligt ist höchstens die Reflexion auf Geruch und Geschmack.

Liebe

Wie einer das Leben-sprengende Element, die Liebe, in sein Leben einordnet, zeigt die Art dieses Lebens an.

Maskenstürmer

Die Gewohnheit, Masken abzureißen, wo gar keine sind, hat noch keinen Namen: man sollte die Feste-druff-Klärung nennen.

Massenkultur

Nachdem Platons Dialoge für fast nichts zu kaufen sind, entstand die Schwierigkeit, die Kosten aufzubringen, ihn auch noch zu verstehen.

Moral

Es ist besser, das Gute steht nur auf dem Papier – als nicht einmal dort.

она хранит в себе пережитое прошлое.

В этом смысле нет во всей вселенной ни одного классика: ни поэта, ни философа.

Консервативность

Защита непопулярного есть признак современного консерватизма: не сохранять, а цепляться.

Критика критики критики

Артист говорит о критике: он не знает дело. Это так, иначе критик должен играть в спектакле, а не критиковать. Но артист критикует, хотя дела критика не знает: он критикует своего критика.

Критика критиков

Многие рецензенты умеют писать, но не читать.

Культурный снобизм

Официальная высокая культура отрицает нос как определитель запаха, а язык – как определитель вкуса, потому, что она не является частью общественного сознания. Участвует максимум рефлексы на запахах и вкус.

Любовь

Любовь – элемент, расщепляющий жизнь. Включаясь в жизнь, она показывает характер этой жизни.

Срывание масок

Обыкновение срывать маски там, где никаких масок нет, ещё не имеет названия: его можно бы назвать провоцирующей разведкой.

Массовая культура

После того как стало почти невозможно купить Диалоги Платона, возникла трудность найти средства, чтобы его понять.

Мораль

Хорошее остаётся только на бумаге, но это лучше чем, если бы и там его не было.

Motive

Es ist ein nicht genug zu bedenkendes Phänomen, dass die tiefsten Motive eines Mannes oft nur im Werk (nicht selten maskiert) erscheinen – nicht im Leben, von dem sie durch die stärksten Gegenmotive zum Schweigen gebracht worden sind.

Nietzsche, der Pechvogel

Nietzsche ist der größte Pechvogel der Philosophiegeschichte. Er wurde von Analphabeten nicht nur in ihr Deutsch übersetzt, auch noch in ihre Wirklichkeit.

Wie wenige durchschauten das? Albert Schweizer, den man für ein Denker hielt, las Nietzsche in der Übersetzung Hitlers.

Optimistische Schwarzseher

Die große Mode ist jetzt pessimistischer Optimismus: es ist zwar alles heilbar, aber nichts heil.

Persönlichkeit

Das lebende Ein-Mal-und-Nie-Wieder ist mehr als die Menschheit, welche (abgesehen von einer Summierung) nur eine Sehnsucht ist.

Dieser da und dort, der einst mit schönem Stolz >Persönlichkeit< genannt wurde, wird heute zu Recht und zu Unrecht ausgelacht; beides muß endlich gegeneinander abgegrenzt werden.

Pessimisten

Die großen Pessimisten haben ihr Glück ebenso großartig manifestiert wie ihr Unglück – nur versteckter

Pluralismus

Was aber die neue Vielgötterei betrifft, Pluralismus genannt, so ist er nicht so pluralistisch, wie er tut. Es gibt nur wenige zentrale Ideen und Praktiken; aber da ist ein breiter Kleiderschrank voll sprachlicher Überhänge.

Pose, harmlos

Ein bisschen eitel Getue schadet nichts – wenn der Poseur, allein zwischen seinen vier Wänden oder mit einem Komplizen, über sich lacht.

Мотив

Это ещё недостаточно осмысленный феномен: глубочайшие мотивы человека часто проявляются (нередко замаскировано) только в искусстве, а не в жизни, где о них, из-за их сильной противоречивости, предпочитают молчать.

Неудачник Ницше

Ницше – это самый большой неудачник в истории философии. Он был безграмотно переведён не только на немецкий язык, но и *адаптирован* в немецкую действительность. Многие ли это заметили? Альберт Швейцер, которого считают мыслителем, читал Ницше в *перевод* Гитлера.

Оптимистичный пессимист

Очень моден сейчас пессимистичный оптимизм: это хоть и излечимо, но не до конца.

Индивидуальность

Живущий Один-Раз-и-Никогда-Снова значительнее, чем человечество, которое (несмотря на обобщение) является только иллюзией. Тот, кто ранее всюду с искренней гордостью был назван «Индивидуальностью», будет сегодня по праву и не по праву осмеян; и то и другое нужно наконец отделить друг от друга.

Пессимисты

Великие пессимисты великолепно демонстрировали своё счастье, как и своё несчастье, только не так открыто.

Плюрализм

Но что касается нового многобожия, называемого плюрализмом, оно не настолько плюралистично, как о том заявляет. Имеется только немного основополагающих идей и опытов. Но их с успехом можно постоянно облачать в различные языковые драпировки, словно из некоего широкого платяного шкафа.

Безобидная поза

Немного пустого важничанья не повредит – если позёр один в своих четырёх стенах или с приятелем смеётся над собой.

Prinzip Hoffnung

Die prinzipielle Hoffnung ist eine Munterkeit mit zusammengebissenen Zähnen. Vielleicht ist sie auch weniger Hoffnung als Sehnsucht.

Propheten

Viele, die richtig prophezeit zu haben scheinen, haben nur auf richtige Pferd gesetzt.

Realismus

Es gibt viel mehr Realisten, als die Realisten ahnen.

Schicksal

Der Zufall ist das Schicksal des Einzelnen, die Statistik das Vielen, die Geschichtsphilosophie das Schicksal der Menschheit. Es wird immer pompöser, je weniger man auf diesen oder jenen Menschen schaut.

Sex

Es ist ein Glück, dass das Bestehen der Menschenrasse ans sexuelle Vergnügen gefesselt ist; man hätte es sonst längst aus der Welt hinausmanipuliert.

Skeptiker

Die Enthusiasten haben nie recht, die Skeptiker immer. Dafür schaffen nicht sie, sondern jene das Neue.

Tabu 2

Ignorieren ist der Königsweg des Tabuierens.

Tabu 3

Die Tabuierung von Antworten ist nie so schlimm wie die Tabuierung von Fragen.

Texter

Ein origineller Schriftsteller sagt heute nicht >Texte<, sondern Roman, Gedicht, Drama, Essay.

Принцип надежды

Принципиальная надежда – это весёлость со стиснутыми зубами. Возможно, она всё же больше тоска, чем надежда.

Пророки

Многие, которые казались настоящими пророками, просто ставили на правильную лошадь.

Реализм

Реалистов существует больше, чем реалисты об этом догадываются.

Судьба

Случай – это судьба единицы, статистика – многих, история философии – судьба человечества. Чем меньше на этого или другого человека смотрят, тем он становится помпезней.

Секс

Это счастье, что лучшее в человеческой расе связано с сексуальным удовольствием; иначе оно бы давно исчезло с земли.

Скептик

Скептики всегда правы, энтузиасты никогда. При этом открытия делают они, а не другие.

Запрет 2

Игнорирование – это путь королей.

Запрет 3

Запрет ответов не так плох, как запрет вопросов.

Текстовик

Настоящий писатель никогда не говорит >тексты<, а – роман, стихотворение, драма, эссе.

Tod

Du sollst dich nicht so sehr vor dem Tod fürchten, das du schreist: „Garpe diem.“

Tradition

Es gibt keine Tradition mehr, nur noch Traditionen; auch keine Traditionslosigkeit, selbst sie nur im Plural.

Tragödien nicht gefragt

Die Neigung zur Tragödie auf der Bühnendar der Drang zur Offenbarung dessen, was mit aller Gewalt von tausend täglichen Veranstaltungen unterdrückt worden ist.

Wir haben nicht mehr Tragödien auf der Bühne, weil sie bereit in den Boulevardblättern ausgeplaudert werden.

Utopismus

Ein Utopist kann ein Mann sein, der zu wollen wagt, was noch keinen Präzedenzfall gehabt hat. Aber auch ein Mann, der es sich leistet, alles auszuklammern, was der Utopie im Wege steht.

Zensor

Einer regt sich auf, weil er annimmt, dass andere sich aufregen werden, oder weil er will, dass sie es tun.

Zynismus

Zynismus kann ein Präludium echter Moral sein.

Смерть

Ты должен не настолько пугать себя смертью, чтобы кричать: «Лови момент!».

Традиция

Традиция больше не существует – только традиции без традиционности, и во множественном числе.

На трагедии спроса нет

Тенденция к трагедии на подмостках – стремление явить то, что всеми силами подавляется тысячами повседневных мероприятий. У нас нет больше трагедий на сцене, так как они уже заболтаны бульварными листками.

Утопизм

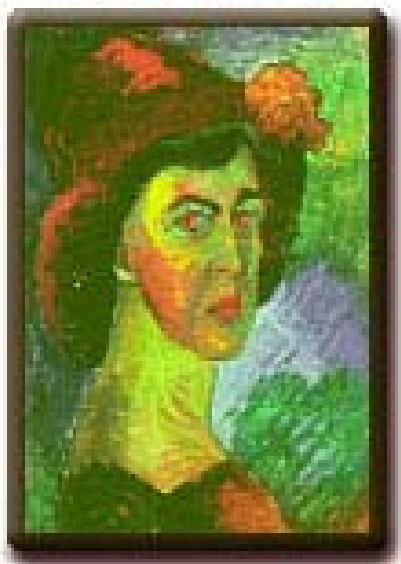
Утопистом может быть человек, который стремится к беспрецедентности. Но также и человек, который позволяет себе отбрасывать всё, что стоит на пути к утопии.

Цензор

Некто волнуется, воспринимая волнения других, или потому, что он хочет их волнения.

Цинизм

Цинизм может быть прелюдией истинной морали.



Марианна ВЕРЕВКИНА

Моя вера - это моя жизнь, всё остальное только обрамление. Я создала себе жизнь из иллюзий... Мне скучно в мире фактов. Я вижу конец, границу всех вещей, в то время когда моя душа жаждет безмерного, вечного.

Эта страшная красота всё сильнее и сильнее говорит во мне... Вообрази ... на грязном сером небе черная гора, вся черная с еще более черными домами и вдруг внизу огненно-красный дом, фиолетовый барак с пятнами снега и на ней цепь людей черных как вороны.

Все это кривое, косое, страшное - а вместе с тем здесь такое безумие красок, дома все низкие и всех цветов и оттенков, грязь похожа на палитру великого колориста, и фигуры, утратившие все условно-человеческое, чтобы действовать только как настроение и ритм.

Я люблю вещи, которых нет, Я люблю любовь, которой нет, которая реет над тобой, как невидимый город, как неуловимый запах любви, которая возбуждает стремление к заколдованным странам, которая наполняет голову чудок-картинами, которая делает сильным, которая делает большим, которая гонит все существа к совершенству.



Marianne von WEREFKIN

Mein Glaube ist mein Leben, der Rest ist nur der Rahmen dazu. Ich habe mir mein Leben der Illusion geschaffen... Alles langweilt mich in der Welt der Tatsachen. Ich sehe ein Ende, eine Grenze aller Dinge, und meine Seele dürstet nach dem Unbegrenzten, dem Ewigen.

Diese schreckliche Schönheit spricht in mir immer stärker und stärker... Stell dir vor... auf dem schmutzigen grauen Himmel ein schwarzer Berg, ganz schwarz mit noch schwärzeren Häusern und unten plötzlich ein feuerrotes Haus, eine violette Baracke mit Schneeflecken und davor eine Kette von Menschen, schwarz wie Raben.

Alles ist schief, ungerade, schrecklich - und dabei ist hier ein solcher Wahnsinn an Farben, alle Häuser sind niedrig und schillern in allen Farben und Farbnuancen; der Schmutz ähnelt der Palette eines großen Koloristen, und die Gestalten haben alles bedingt menschliche eingeübt - um lediglich wie Stimmung und Rhythmus zu agieren.

Ich liebe die Dinge, die nicht sind. Ich liebe die Liebe, die nicht ist, die über dir schwebt, wie eine unsichtbare Stadt, wie ein unfassbarer Geruch, eine Liebe, die Verlangen nach verzauberten Ländern weckt, die den Kopf mit Wunderbildern füllt, die stark macht, die Großmacht, die alle Wesen zur Vollendung treibt.

Я всей душой умела и умею брать от всего все хорошее, я и теперь накапливаю такие впечатления, что они вероятно проживут до конца дней моих. Но пером ли, кистью мне хочется передать все это тебе, потому что во всем свете ты один, для которого мне хочется и думать, чувствовать... Мне жизнь сохранила молодую сильную душу ... Здесь все стары, этим мы оторваны навсегда от этой жизни. Мы были бы здесь в 100 раз более одиноки, чем в одиночестве Мюнхена, потому что дело нашей жизни – искусство.

Искусство не истерика. Искусство также нормально для человека, как и мысль. Оно - нормальная функция его мозга. Искусство – наблюдение и сознание. Оно не неопределенный, не нерешенный и не болезненный инстинкт.

Для меня навсегда останется сожалением, что я вижу все это без тебя. Три месяца разлуки, три месяца жизни врозь, тогда как для меня день без тебя – мука. И поверь мне, что вынести это могла я только благодаря безмерности окружающей меня красоты.

История искусства – это история художника в форме его понимания жизни. Ты или художник или нет. Художник это тот, кто видит жизнь как прекрасный разноцветный ковер, как песню без слов, как мистерию. Произведение искусства есть жизнь, и в этом – художник.

Здесь царит черное красного цвета, а кругом лиловое; то эта гамма холодная, то жгучая как пекло ... Темно, фонари не освещают, а темнят улицы, как лиловые огни висят зловеще среди тьмы ... И вся эта тень полна людей, которые все горят только об одном – о любви ...

Я верна себе, я жестока к себе, снисходительна к другим. В этом отношении я мужчина. Я люблю пение любви. В этом я женщина. Я создаю себе намеренно иллюзии и мечты. В этом я художник.

А над всем поет во мне какая-то чисто русская тоска, сплетенная из красоты и жалости, из поэзии и страха, из пейзажей и ужаса, из звуков сердца и отталкивающих впечатлений.

Я вижу тут не только внешний мир красоты необыкновенной, но вижу во всем саму себя, все то, что живет и страдает во мне с тех пор как я себя знаю ... Тот панический ужас, который всегда живет во мне, я нахожу его здесь всюду, и он уже не мучает меня, а дает наслаждение, граничащее с мукой. Точно вся душа моя вышла из меня, воплотилась кругом меня и смотрит на меня победительно и говорит: вот я, вот моя форма, делай, лови.

Ich konnte und kann mit der ganzen Seele aus allem das Gute nehmen, auch jetzt horte ich solche Eindrücke, sodass sie wahrscheinlich bis zum Ende meiner Tage bleiben. Aber ob mit der Feder oder mit dem Pinsel, all das möchte ich dir übermitteln, weil Du auf der ganzen Welt der Einzige bist, um dessentwillen ich denken und fühlen möchte ... Mir hat das Leben eine junge, starke Seele bewahrt ... Hier sind alle alt, und somit sind wir für immer von diesem Leben losgerissen. Hier wären wir 100 mal einsamer als in der Einsamkeit von München, weil das Anliegen unseres Lebens – Kunst ist.

Die Kunst ist keine Hysterie. Die Kunst ist für den Menschen ebenso natürlich wie der Gedanke. Sie ist eine normale Funktion seines Gehirns. Die Kunst ist Beobachtung und Bewusstsein. Sie ist kein vager, unentschiedener und kränklicher Instinkt.

Es wird mir ewig leid tun, dass ich das alles ohne dich sehe. Eine Trennung von drei Monaten, drei Monaten getrennten Lebens, wobei ein Tag ohne dich für mich eine Qual ist. Und glaube mir, ich konnte das nur aushalten dank der Maßlosigkeit der mich umgebenden Schönheit.

Die Geschichte der Kunst ist die Geschichte des Künstlers in seiner Form, das Leben zu begreifen. Man ist Künstler oder man ist es nicht. Der Künstler ist der, der das Leben wie einen schönen vielfarbigen Teppich sieht, wie ein Lied ohne Worte, wie ein Mysterium. Das Kunstwerk ist das Leben, und das ist der Künstler.

Hier herrscht das schwarze der roten Farbe und rundherum ist lila, diese Farbenskala ist entweder kalt oder heiß wie die Hölle ... Die Laternen erhellen nicht die Strassen, sondern verdunkeln sie, sie hängen wie lila Feuer unheilrohend im Dunkel. Und dieser ganze Schatten ist voller Menschen, die nur von einem reden – von der Liebe.

Ich bin mir selber treu, grimmig gegen mich selbst, nachsichtig gegen andere. Darin bin ich ein Mann. Ich liebe den Gesang der Liebe. Darin bin ich Frau. Ich schaffe mir ganz bewusst Illusionen und Träume. Darin bin ich Künstler.

Und über allem singt in mir eine rein russische Sehnsucht, die aus Schönheit und Mitleid geflochten ist, aus Poesie und Angst, aus Landschaften und Schrecken, aus Tönen des Herzens und abstoßenden Eindrücken.

Ich sehe hier nicht nur eine Außenwelt von ungewöhnlicher Schönheit, sondern ich sehe in allem mich selbst, an das, was in mir lebt und leidet, seitdem ich mich kenne ... Jene panische Angst, die immer in mir lebt, finde ich hier überall und sie quält mich nicht mehr, sondern vermittelt mir einen Genuss, der an Qual grenzt. Es ist, als ob meine ganze Seele mich verlassen, sich um mich herum verkörpert hat, mich siegreich betrachtet und sagt: hier bin ich, das ist meine Form, schaffe, greife.

Лайма ЛАУЧКАЙТЕ

ИСТОРИЯ ПИСЕМ «СИНЕЙ ВСАДНИЦЫ»

Искусствоведы не выбирают своих объектов изучения или художников, они находят нас сами. Имя Марианны Веревкиной раньше я не слыхала, такая художница в истории искусства Литвы отсутствовала. Впервые о ней я узнала в 1989 году из литовского журнала «Крантай» (“Krantai”), основанного во время перестройки и посвященного культуре и искусству. В статье о связях Литвы с искусством Западной Европы итальянец Энзо Пеллай писал о русской художнице немецкой группы «Синий всадник» Марианне Веревкиной, которая занималась живописью в родительском имении «Благодать» в Каунасской губернии около городка Утены. Я много времени провожу в своей усадьбе в Утене, поэтому знала, что недалеко есть имение, которое когда-то принадлежало помещикам Веревкиным, но ничего не слышала о художнице из этого рода. Это меня заинтересовало, и я попросила одного знакомого в Германии прислать мне какую-нибудь книгу о ней. Посланная как Рождественский подарок, книга пришла по советской почте на Пасху 1990 года. Сомнений не осталось: в нескольких километрах от моего дома некогда жила и работала интереснейшая художница. Потом в Национальной библиотеке Литвы в Вильнюсе я начала читать литературу об Илье Репине, надеясь найти имя упомянутой его ученицы Веревкиной. И действительно нашла опубликованные письма Репина, написанные Марианне Веревкиной. Но каково было мое удивление, когда я прочла, что оригиналы этих писем хранятся здесь же - в Рукописном отделе Национальной библиотеки Литвы!

Я сразу помчалась туда и обнаружила настоящее сокровище – большой архив бывшего губернатора Каунаса и Вильнюса Петра Веревкина – брата художницы. Этот архив хранился в имении «Благодать» до прихода советской власти в Литву в 1940 году, тогда имение было национализировано. Во время Второй мировой войны Веревкиным удалось перебраться из Литвы на Запад, а в 1942 году архив и библиотека имения попали в Государственную библиотеку Литвы. В этом архиве сохранилась корреспонденция членов семьи Веревкиных, в том числе и эпистолярное наследие сестры Петра Веревкина - Марианны. Точно неизвестно, как корреспонденция Марианны оказалась в имении «Благодать», так как сама художница не жила в имении с 1896 года, поселившись в Мюнхене. У меня есть две версии. Согласно первой, сама Марианна привезла свою корреспонденцию в 1913 году, когда последний раз посетила Литву и даже имела планы остаться здесь жить. Согласно второй версии, ее брат Петр Веревкин привез эпистолярное наследие сестры «Благодать» в 1938 году из Асконы, после похорон Марианны. В любом случае письма попали в Литву.

Так началось мое знакомство с художницей, которая поразила меня яркой личностью, необычайной биографией и творчеством. Она стала объектом моих научных исследований и долголетней кропотливой работы с *веревкинским*

Laima LAUČKAITĖ

Übersetzung Oxana ANTIC

DIE GESCHICHTE DER BRIEFE DER «BLAUEN REITERIN

Nicht die Kunsthistoriker wählen die Themen zur Erforschung von Malern aus, die Themen finden uns. Den Namen Marianna Werefkina habe ich früher nicht gehört, eine solche Malerin ist in Litauens Kunstgeschichte nicht vorhanden. Zum ersten Mal habe ich von ihr 1989 erfahren und zwar aus der litauischen Zeitschrift „Krantar“, die zur Zeit der Perestrojka gegründet worden war und sich mit Kultur und Kunst befasste. In dem Artikel über die Verbindungen von Litauen mit der Kunst von West-Europa schrieb der Italiener Enzo Pellai über die russische Malerin Marianne Werefkina in der deutschen Gruppe „*Blauer Reiter*“, die sich auf dem elterlichen Gut „Blagodatj“ im Gouvernement von Kaunas mit der Malerei befasste. Ich verbringe viel Zeit auf meinem Besitz in Utenė und deshalb weiß ich, dass es ein Gut in der Nähe gibt, das früher den Gutsbesitzern Werefkin gehört hat, jedoch habe ich nie von einer Malerin aus dieser Familie gehört. Das hat mein Interesse geweckt und so bat ich einen Bekannten in Deutschland, mir ein Buch über sie zu besorgen. Ich sollte das Buch als ein Weihnachtsgeschenk bekommen und erhielt es durch die sowjetische Post zu Ostern 1990. Es gab keine Zweifel mehr, nur einige Kilometer von meinem Haus entfernt hat ehemals eine höchst interessante Malerin gelebt und geschaffen. Später habe ich in der Nationalen Bibliothek von Litauen in Vilnius Literatur über Repin gelesen in der Hoffnung, dass ich dort Hinweise auf seine Schülerin Werefkina finde. Und tatsächlich, ich fand die veröffentlichten Briefe von Ilja Repin und Marianna Werefkina. Aber wie groß war mein Staunen, als ich erfuhr, dass die Originale dieser Briefe genau hier aufbewahrt werden – in der Abteilung für Handschriften der Nationalen Bibliothek von Litauen!

Ich stürzte sofort dorthin und entdeckte einen echten Schatz – ein großes Archiv des ehemaligen Gouverneurs von Kaunas und Vilnius, Pjotr Wladimirowitsch Werefkin. Bis zum Einmarsch der Sowjetischen Armee in Litauen in 1940 wurde dieses Archiv auf dem Gut „Blagodatj“ aufbewahrt, damals wurde das Gut „nationalisiert“. Im Zweiten Weltkrieg sind die Werefkins aus Litauen in den Westen geflüchtet, 1942 kamen das Archiv und die Bibliothek des Gutes in die litauische Staatsbibliothek. In diesem Archiv ist die Korrespondenz der Mitglieder der Familie Werefkin enthalten, darunter auch epistolares Erbe der Schwester von Pjotr Wladimirowitsch, Marianna Wladimirowna Werefkina – *Marianne von Werefkin*. Es ist nicht genau bekannt, wie die Korrespondenz von Marianna auf das Gut „Blagodatj“ gekommen ist, denn die Malerin hat auf dem Gut seit 1896 nicht mehr gewohnt, da sie damals nach München gezogen war. Ich habe zwei Versionen: gemäß der ersten hat Marianna selbst ihre Korrespondenz 1913 gebracht, als sie zum letzten Mal Litauen besucht hat und sogar Pläne schmiedete, dort zu bleiben. Gemäß der zweiten Version hat ihr Bruder Pjotr Werefkin den Briefwechsel seiner Schwester nach ihrer Beerdigung in Ascona, 1938, nach „Blagodatj“ gebracht. Auf jeden Fall sind die Briefe nach Litauen gelangt. So begann meine Bekanntschaft mit der Malerin, die mich durch ihre ausgeprägte Persönlichkeit, ungewöhnliche Biografie und ihr

архивом. Эпистолярное наследие Марианны представляет собой большую ценность для историка искусства, поскольку включает в себя не только письма самой художницы, но и письма знаменитых художников конца 19 – начала 20 века: Ильи Репина, Дмитрия Кардовского, Василия Кандинского, Пауля Клее и других. Очень интересную часть этой корреспонденции составляет переписка Марианны с долголетним другом художником Алексеем Явленским, поскольку всю совместную жизнь - с 1896 до 1922 года - они при разлуке интенсивно переписывались. Наиболее обширную и ценную часть представляет группа писем, которые Марианна писала из Каунаса Явленскому в Мюнхен с декабря 1909 г. - до Пасхи 1910 года. Приехав погостить к своему брату Петру, губернатору Каунаса, она внезапно потянула сустав ноги, заболела и поэтому была вынуждена остаться там на целые месяцы. Письма, написанные в это время, показывают, как духовно близки они были, как тепло и дружественно относилась Марианна к Алексею. Они писали друг другу ежедневно, в крайнем случае, через день или два, подробно описывая все происшествия дня, свои работы, занятия, самочувствие, делясь размышлениями.

Эти письма исключительны тем, что в отличие от других писем Марианна их иллюстрировала. Наряду с текстом она делала зарисовки, желая поделиться с Алексеем своими яркими визуальными впечатлениями. Именно эти рисунки представлены в данном календаре. В них художница изображает поразившие мотивы Каунаса: дворики старого города, закаты солнца над рекой Неман, комета, пролетевшая над городом, конюшни казарм, ночные костельные процессии, толпы людей на базаре, а так же «Зеленая гора» перед окнами дома, где жила художница. её процессии, толпы людей на базаре, В глазах художницы непримечательный провинциальный город превратился, по ее словам, в «чудо». И действительно ее рисунки, представляющие целые композиции, проникнуты сильным чувством, они очень красочны, смелы, экспрессивны.

Не менее интересен и текст писем, отражающий повседневную жизнь Марианны в губернии: роскошную обстановку, нескончаемые балы, рауты, ежедневное посещение театра, торжественные мессы, званые обеды, праздничные заседания разных организаций. Не смотря на болезнь ноги, аристократка активно принимала участие в светской жизни. В письмах заключены также и более глубокие размышления художницы о самобытности русской жизни, о национальном характере. Она неоднократно рассуждает о своих корнях, и о своем выборе жить в Мюнхене. Веревкина раскрывает и свою противоречивую, парадоксальную концепцию «страшной красоты», в которой красота неотделима от ужасной, отталкивающей стороны жизни. И, наконец, в её письмах ярко отражена индивидуальность художницы, ее самобытное мировосприятие, определившее и характер ее творчества. Как писала Веревкина в Мюнхен Алексею Явленскому из Каунаса: «А над всем поет во мне какая-то чисто русская тоска, сплетенная из красоты и жалости, из поэзии и страха, из пейзажей и ужаса, из звуков сердца и отталкивающих впечатлений».

Schaffen beeindruckt hat. Sie wurde zum Gegenstand meiner wissenschaftlichen Forschung und jahrelangen aufwändigen Arbeit mit dem Werefkin-Archiv. Das epistolarische Erbe von Marianna stellt einen großen Wert für Kunsthistoriker dar, denn es enthält nicht nur die Briefe der Malerin, sondern auch Briefe berühmter Maler Ende des 19. – Anfang des 20. Jahrhunderts: Ilja Repin, Dmitri Kardowsky, Wassily Kandinsky, Paul Klee und anderer. Sehr interessant ist der Briefwechsel von Marianna mit ihrem langjährigen Freund Alexej Jawlensky, da sie ihr ganzes gemeinsames Leben lang, von 1896 bis 1922, wenn sie getrennt waren, miteinander korrespondierten. Den umfangreichsten und wertvollsten Teil stellten die Briefe dar, die Marianna von Dezember 1909 bis Ostern 1910 Jawlensky aus Kaunas nach München geschrieben hat. Als sie zu ihrem Bruder Petr, dem Gouverneur von Kaunas zu Besuch gekommen war, verrenkte sie sich plötzlich den Fuß, wurde krank und wurde deshalb gezwungen, viele Monate dort zu bleiben. Die Briefe, die in jener Zeit geschrieben wurden, zeigen, wie nahe sie sich geistig gestanden haben und wie warmherzig und freundschaftlich Marianna Alexej gegenüber gewesen ist. Sie schrieben einander täglich, höchstens mal nach einem oder zwei Tagen und beschrieben detailliert alle Ereignisse des Tages, ihre Beschäftigungen, ihr Befinden und ihre Überlegungen.

Diese Briefe sind deshalb außerordentlich, weil sie, im Gegensatz zu anderen Briefen von Marianna, illustriert sind. Sie machte neben dem Text auch Zeichnungen, um ihre markanten visuellen Eindrücke mit Jawlensky teilen zu können. Genau diese Zeichnungen sind in diesem Kalender abgebildet. Sie zeigen ihre Empfindungen in Kaunas, die die Malerin besonders beeindruckt haben: Hinterhöfe der Stadt, Sonnenuntergänge über dem Fluss Neman, einen Kometen, der über die Stadt geflogen ist, die Pferdeställe der Kasernen, nächtliche Kirchenprozessionen, Menschenmengen auf dem Markt, den „Grünen Berg“ vor den Fenstern der Stadt, wo die Malerin gewohnt hat. In den Augen der Malerin verwandelte sich die unscheinbare Provinzstadt, nach ihren Worten, in ein „Wunder“. Und tatsächlich: ihre Zeichnungen, die ganze Kompositionen darstellen, sind von einer starken Empfindung durchdrungen, sie sind sehr farbig, mutig, ausdrucksstark.

Nicht weniger interessant ist der Inhalt von Briefen, die den Alltag von Marianne widerspiegeln, die Gesellschaft beschreiben, prächtige Einrichtungen, endlose Bälle, Routs, tägliche Theaterbesuche, festliche Messen, Festessen, Festveranstaltungen von verschiedenen Organisationen. Trotz der Schmerzen im Fuß, hat die Aristokratin aktiv am Gesellschaftsleben teilgenommen. In ihren Briefen sind auch tiefeschürfende Betrachtungen über die Urwüchsigkeit des russischen Lebens, über den nationalen Charakter, sie sinniert mehrmals über ihre Wurzeln und über ihren Entschluss, in München zu leben. Sie enthüllt ihre widersprüchliche, paradoxe Auffassung von „schrecklicher Schönheit“, in der die Schönheit untrennbar ist von der schrecklichen, abstoßenden Seite des Lebens. Und, schließlich, in den Briefen zeigt sich klar die Individualität der Malerin, ihre urwüchsige Weltauffassung, die den Charakter ihres Schaffens kennzeichnet. Wie die Malerin Alexej Jawlensky aus Kaunas nach München geschrieben hat: „Und über allem singt in mir irgendeine rein russische Schwermut, die aus Schönheit und Mitleid geflochten ist, aus Poesie und Furcht, aus Landschaften und Schrecken, aus Tönen des Herzens und abstoßenden Eindrücken“.

Татьяна ЛУКИНА

ЦАРИЦА НЕЗРИМОГО

Марианна Верёвкина вошла в мою жизнь ровно десять лет назад, потихоньку, но прочно, и, кажется, навсегда. То, что я – уроженка России, до этого никогда не слышала о ней, ничего удивительного. Ведь она окончательно порвала со своей родиной около 100 лет назад, то есть, в революционные годы, и этим самым надолго смыла свои следы в истории русского, а вернее, советского искусства, как, впрочем, и многие её соратники. Некоторые из них в годы «перестройки» обрели второе рождение, и их художественное наследие и имена вернулись и заняли подобающее место в строю выдающихся художников России. К ним относятся и оба сподвижника Верёвкиной – Кандинский и Явленский, а вот Марианне Владимировне повезло меньше.

И если этому двуязычному юбилейному календарю выпадет честь способствовать более чем заслуженной популярности её имени и творческого наследия в России, то мы будем считать нашу миссию выполненной. К пятилетию создания нашего общества «МИР – Центр русской культуры в Мюнхене», мы задумали выпустить книгу «Российские следы в Баварии». Сюжетов было предостаточно: это и поэт Фёдор Тютчев («лучший мюнхенский друг» Генриха Гейне), воспевший в своей лирике красоту баварской природы, и революционер Владимир Ульянов, впервые подписавшийся в Мюнхене своим псевдонимом – Ленин, поэтическая женщина-психоаналитик Луиза Саломе – подруга Ницше и Рильке, философ Фёдор Степун – любимец мюнхенских славистов, основатель студенческого сопротивления нацизму «Белая роза» – Александр Шморель, но и, конечно же, легендарная колония русских художников, из которой впоследствии родилось знаменитое творческое содружество «Голубой всадник». Наша идея увлекла многих замечательных авторов, которые с большим энтузиазмом и безвозмездно трудились над созданием этого, основанного на документах и фактах, сборника. Двое из них – внучка Льва Копелева и Игоря Грабаря – Екатерина Грабарь, а так же д-р философии и художница Элеонора Бурмистрова, посвятили свои статьи Марианне Верёвкиной. Вот тогда-то, благодаря их работам, я и открыла для себя эту незаурядную, выдающуюся личность – баронессу фон Верёвкин, которая жила, творила и страдала совсем неведальке от меня, буквально в пару сотен шагов, но лишь только веком раньше.

Надо ли говорить, каким радостным событием оказалось для меня известие, что одна из улиц баварской столицы – дорога, прилегающая непосредственно к новой, третьей по счёту мюнхенской пинакотеки – «Пинакотеки модерна» – будет носить имя Марианны Верёвкиной. Городское управление в лице г-жи Ирмгарт Шмидт, неустанной борьбе которой за увековечивание имени русской художницы в истории Мюнхена, можно только

Tatjana LUKINA

DIE ZARIN DES UNSICHTBAREN

Marianna Werefkina trat vor genau zehn Jahren in mein Leben, still und heimlich, aber stetig und, wie es scheint, für immer.

Dass ich als gebürtige Russin bis dahin niemals von ihr gehört hatte, ist nicht verwunderlich. Denn sie hatte vor etwa hundert Jahren, d. h. in den Jahren der Revolution, endgültig mit ihrer Heimat gebrochen, und somit für lange Zeit ihre Spuren in der Geschichte der russischen, besser gesagt der sowjetischen Kunst verwischt, wie übrigens auch viele ihrer Mitkämpfer. Einige von ihnen fanden in den Jahren der „Perestroika“ eine zweite Geburt, ihr künstlerischer Nachlass kehrte zurück und sie bekamen einen gebührenden Platz in der Reihe der hervorragenden Künstler Russlands. Dazu gehören auch die beiden Mitstreiter Werefkinas – Kandinsky und Jawlensky, doch Marianna Wladimirowna hatte bis jetzt dieses Glück nicht.

Aber wenn diesem zweisprachigen Jubiläumskalender gelingt, zur mehr als verdienten Popularität ihres Namens und ihres künstlerischen Nachlasses beizutragen, dann betrachten wir unsere Mission als erfüllt.

Für das fünfte Gründungsjubiläum unseres Vereins „MIR e.V., Zentrum russischer Kultur in München“, dachten wir an die Herausgabe eines Buches, „Russische Spuren in Bayern“. Themen dazu gab es genügend: unter anderem auch den Dichter Fjodor Tjutschew („der beste Münchner Freund“ Heinrich Heines), der in seiner Lyrik die Schönheit der bayerischen Natur pries, der Revolutionär Wladimir Uljanow, der erstmalig in München mit seinem Pseudonym Lenin unterschrieb, die poetische Psychoanalytikerin Lou Andreas Salomé, eine Freundin Nietzsches und Rilkes, den Philosophen Fjodor Stepun, der Liebling der Münchner Slawisten, Alexander Schmorell, Gründer der studentischen Nazi-Widerstandsbewegung „Weiße Rose“, und schließlich auch die Leningrader Künstlerkolonie, aus der später die bekannte Künftlervereinigung „Blauer Reiter“ hervorging.

Unsere Idee begeisterte viele bedeutende Autoren, die mit großem Enthusiasmus und unentgeltlich an der Gründung dieses Sammelbandes voll solider Dokumente und Fakten arbeiteten.

Zwei von ihnen, die Enkelin Lew Kopeljews und Igor Grabars, Jekaterina Grabar, sowie die Künstlerin und Dr. der Philosophie, Eleonora Budminstrowa, veröffentlichten ihre Aufsätze über Marianne von Werefkin. Ja, gerade damals, dank ihrer Arbeit, erschloss ich mir diese außergewöhnliche, hervorragende Persönlichkeit – Baroness von Werefkin, die da gelebt, gearbeitet und gelitten hatte, gar nicht weit von mir, tatsächlich nur einige hundert Schritte weit, aber eben ein Jahrhundert früher.

поклониться, предоставило мне честь, от имени всех русских мюнхенцев сказать приветственное слово на торжественном открытии «Дороги Марианны фон Верёвкин», которое состоялось 23 ноября 2002 года. Заключительные слова моей короткой, но, по понятным причинам, эмоциональной речи: «Так пусть же эта дорога Марианны Верёвкиной станет символом нашего – России и Германии – совместного пути в третье тысячелетие», подхватили журналисты, предназначив им этим долгую жизнь в газетной хронике.

Год спустя, к 65-летней годовщине со дня смерти художницы, в содружестве с актёрами Карин Вирц и Артуром Галиандином, я создала литературный спектакль «Краски кусают меня за сердце», премьера которого состоялась 9 октября 2003 года в неофициальном музее Кандинского – Ленбаххаузе. В нём были использованы наряду с отрывками из опубликованных дневников художницы, так же письма её учителя Ильи Репина, которые я получила по почте от совершенно мне незнакомой женщины, буквально за несколько дней до премьеры. Эти откровения великого мастера-реалиста внесли определённые корректуры в уже завершённый мною сценический образ, придав моей героине ещё больше загадочности и недосказанности.

А еще три года спустя на моем пороге появилась немецкая режиссер – документалистка Стела Тинбергер, которая предложила мне принять участие в работе над фильмом о жизни Веревкиной. Благодаря ей, мне и удалось посетить те места, где более 100 лет назад жила и творила художница – Вильнюс, Каунас и С. Петербург. 23 октября 2009 года в немецком городе Визбадене, музей которого гордится большой коллекцией картин Алексея Явленского, состоится премьера документально-художественного фильма о жизни и творчестве Марианны Веревкиной, на которую приглашена и я, как участник и действующее лицо трехгодичной экспедиции в судьбу нашей замечательной соотечественницы. Но на этом моя связь с баронессой Верёвкиной не оборвалась. Весной 2006 я получаю письмо от режиссёра-документалиста Стеллы Тинберген из Визбадена, с просьбой об интервью, тема – Марианна Верёвкина. «Как Вы нашли меня?» – спрашиваю я при встрече г-жу Тинберген. «И почему именно я?» Всё оказалось очень просто: собирая материалы для своего нового фильма, режиссёр натолкнулась на газетные сообщения об открытии улицы Верёвкиной в Мюнхене, в которых были процитированы мои слова, сказанные в тот знаменательный день. По-видимому, она почувствовала в них какой-то особый смысл, и ей захотела непременно поговорить со мной о героине её будущего фильма. Наш разговор затянулся на несколько часов. За чаем с русскими пряностями мы пытались разгадать, какие элементы «загадочной русской души» можно разглядеть в творчестве, а так же в жизненных ситуациях и поступках Марианны Владимировны. Мои фантазии на эту тему так увлекли Стелу – в ходе дискуссий мы быстро перешли на «ты» – что она загорелась всё это перенести на экран мои рассуждения об особенностях русского духа и души.

На этом мы и распрощались. А неделю спустя, она озадачила меня своим звонком из Визбадена: не хочу ли я сопровождать её в поездке по Литву и России по следам Марианны Верёвкиной – в качестве переводчика? Признаться,

Ich muss schon sagen, welch freudiges Ereignis für mich die Nachricht war, dass eine der Straßen der bayerischen Landeshauptstadt – ein Weg, der unmittelbar an die neue, die dritte der Münchner Pinakotheken, die „Pinakothek der Moderne“ angrenzt – den Namen Marianna Werefkinas tragen sollte. Die Stadtregierung, in der Gestalt von Frau Irmgard Schmidt, vor deren unermüdlichem Einsatz für die Verewigung des Namens dieser russischen Künstlerin in der Geschichte Münchens man sich nur verneigen kann, überließ mir die Ehre, im Namen aller russischen Münchner ein Begrüßungswort zu sprechen, anlässlich der feierlichen Eröffnung des „Marianne-von-Werefkin-Wegs“, welche am 23. November 2002 stattfand. Die Schlussworte meiner kurzen, aber aus verständlichen Gründen emotionalen Rede: „So möge denn dieser Weg mit dem Namen Marianna Werefkina als Symbol eines für Russland und Deutschland gemeinsamen Weges ins dritte Jahrtausend stehen.“, wurden von den Journalisten aufgenommen, wobei sie dem Schlusswort im Voraus ein langes Leben in der Zeitungschonik vorherbestimmten.

Ein Jahr später, zum 65. Jahrestag des Todes der Künstlerin, schuf ich in Zusammenarbeit mit den Schauspielern Karin Wirz und Arthur Galiandin das Literaturschauspiel „Farben beißen mir ins Herz“, dessen Premiere am 9. Oktober 2003 im inoffiziellen Kandinsky-Museum im Lenbach-Haus stattfand. In dem Stück, das mit Fragmenten der veröffentlichten Tagebücher der Künstlerin geschmückt war, sind auch die Briefe ihres Lehrers Ilja Repin verwendet worden, die ich von einer mir vollkommen unbekanntem Frau buchstäblich einige Tage vor der Premiere per Post erhalten hatte. Diese Offenbarungen des Meisters des Realismus brachten gewisse Korrekturen in mein schon vollendetes szenisches Werk und verliehen meiner Heldin noch mehr Rätselhaftigkeit und Unsagbarkeit.

Jedoch riss dadurch meine Verbindung zur Baroness Werefkina keinesfalls ab. Im Frühjahr 2006 erhielt ich von der Regisseurin und Dokumentatorin Stella Tinbergen aus Wiesbaden einen Brief mit der Bitte um ein Interview über das Thema Marianna Werefkina. „Wie haben Sie mich gefunden?“, fragte ich Frau Tinbergen, als wir uns trafen, „Und warum ausgerechnet ich?“ Alles stellte sich dann als sehr einfach heraus: Als sie Material für ihren neuen Film sammelte, fand die Regisseurin in der Zeitung eine Mitteilung über die Einweihung der Werefkina-Straße in München, in der meine Worte zitiert wurden, die ich an diesem denkwürdigen Tag gesagt hatte. Offenbar empfand sie dabei ein besonderes Gefühl, und sie wollte unbedingt mit mir über die künftige Heldin ihres Films reden. Unser Gespräch dauerte einige Stunden. Bei Tee mit russischen Gewürzkräutern versuchten wir zu enträtseln, welche Elemente der „geheimnisvollen russischen Seele“ man in dem Werk, sowie an den Lebenssituationen und Handlungen Marianna Wladimirownas erkennen kann.

Meine Fantasien zu diesem Thema inspirierten Stella so sehr – im Laufe der Diskussion waren wir bald zum „du“ übergegangen – dass sie darauf brannte, dies alles auf dem Bildschirm zu zeigen: meine Überlegungen zu den Besonderheiten des russischen Geistes und der Seele. Darauf einigten wir uns auch. Aber eine Woche später verblüffte sie mich mit einem Anruf aus Wiesbaden, ob ich nicht Lust hätte, sie auf einer Zugfahrt nach Litauen

я не долго раздумывала. И вот я уже лечу из Мюнхена во Франкфурт на Майне – самый крупный аэропорт Европы, который 28 лет назад принял меня, человека только что покинувшего свою родину, в свои серые, холодные объятия. Здесь меня уже поджидает Стелла и мы вдвоём летим машиной балтийской авиакомпании в Вильнюс. В Литве я никогда не была, и тем не менее, чувство любопытства соперничало во мне с чувством беспокойства. Я не ехала домой, я отправлялась в чужую страну, которая когда-то была моей. Но что значит, чужое, моё? Всё перемешалось: моей страной был Советский Союз, который я покинула, значит он был мне чужим. Моей страной уже почти четверть века является Германия, которая входит в ЕС. Туда же входит теперь и Литва, значит я лечу домой. Так рассуждала я приземляясь на землю, которая во времена баронессы Верёвкиной была в составе Российской империи. В аэропорту нас никто не встретил. Таксист, которого мы наняли для поездки в заказанную мною заранее гостиницу, оказался русским. Исполняющая роль администратора гостиницы девушка-литовка, также вполне сносно говорила по-русски. Нам достался номер квартирнного типа: две отдельные комнаты, общая ванная комната и общая кухонька. Мои окна выходили на двор, Стеллины – на улицу. Всё было чисто, уютно, простенько. Но может быть, как раз эта простота способствовала развитию фантазии, а также давала возможность собраться с мыслями и составить план действий. Вечером мы встретились с Лаймой – литовским искусствоведом и историком, специалистом по Верёвкиной. Стелла познакомилась с ней по Интернету и попросила её курировать нашу поездку. Мой приезд был для Лаймы неожиданным. Переводчик ей был не нужен так как она прекрасно общалась со Стеллой на английском языке, и поэтому, первое время, я чувствовала свою «лишность». Кроме того, меня долго не покидало чувство, что Лайма, семья которой в Советское время относилась к литовским семьям-диссидентам, относилась ко мне - русской, как-то настороженно. Это было тем удивительнее, потому что она, с другой стороны, была большим знатоком и ценителем русского искусства. И, тем не менее, общение с ней было приятным и продуктивным, а после совместного посещения Благодати – бывшего фамильного имения Верёвкиных, которое закончилось импровизированным прощальным вечером в гостеприимном доме Лаймы, стена между нами рухнула, и мне показалось, что мы знали друг друга уже всю жизнь. В результате Вильнюс оставил у меня очень тёплое впечатление: зелёный, чистый, приветливый город, поражающий множеством церквей разных концессий на относительно небольшом отрезке площади, и огромным количеством симпатичных девушек. Благодаря организации Лаймы, нам удалось за пять дней побывать абсолютно во всех местах, связанных с именем Марианны Владимировны в Литве, в том числе в Каунасе, где губернатором служил в своё время брат Марианны Владимировны – Петр Верёвкин. Но пожалуй самым впечатляющим было посещение архив вильнюсской Государственной библиотеки, в которой хранятся уникальные письма, фотографии и личные вещи художницы, о существовании которых ни в России, ни на Западе, до

und Russland, auf den Spuren Marianna Werefkinas zu begleiten – als Dolmetscherin sozusagen. Ich gestehe, dass ich nicht lange überlegt habe. Und schon fliege ich von München nach Frankfurt/Main, Europas größtem Flughafen, der mich vor 28 Jahren mit grauen, kalten Umarmungen empfangen hatte, einen Menschen, der gerade seine Heimat verlassen hatte. Hier erwartet mich Stella bereits, und zu zweit fliegen wir mit einer Maschine der baltischen Fluggesellschaft nach Wilna. Ich war niemals in Litauen, umso mehr kämpften in mir widerstreitende Gefühle der Neugierde und Aufregung. Ich fuhr nicht nach Hause, sondern brach in ein fremdes Land auf, welches damals meines gewesen war. Aber was bedeuten „fremd“ und „meines“? Alles hatte sich verlagert: mein Land war die ehemalige Sowjetunion, die ich verlassen hatte, was bedeutet, dass diese mir fremd war. Mein Land, das ist bereits seit einem Vierteljahrhundert Deutschland, das zur EU gehört. Inzwischen gehört auch Litauen dazu, das bedeutet also, dass ich nach Hause fahre. Mit solchen Überlegungen landete ich auf der Erde, die zur Zeit der Baroness Werefkina zum russischen Imperium gehörte.

Am Flughafen erwartete uns niemand. Der Taxifahrer, den wir für die Fahrt zu meinem im Voraus gebuchten Hotel mieteten, war Russe. Das litauische Fräulein sprach in ihrer Eigenschaft als Hotellangestellte ebenfalls ganz passabel russisch. Wir erhielten Zimmer mit Wohnungscharakter: zwei separate Zimmer mit einem gemeinsamem Bad und gemeinsamer Küche. Meine Fenster führten zum Hof, die von Stella zur Straße. Alles war sauber, gemütlich, einfach. Aber diese Einfachheit trug vielleicht zum Einen zur Anregung der Fantasie bei, zum Anderen bot sie die Möglichkeit, seine Gedanken zu sammeln und einen Aktionsplan zu erstellen.

Am Abend trafen wir uns mit Laima, einer litauischen Kunsthistorikerin, Kunstwissenschaftlerin und Werefkina-Expertin. Stella hatte sie übers Internet kennengelernt und sie gebeten, unsere Reise zu betreuen. Meine Ankunft kam für Laima unerwartet. Eine Dolmetscherin brauchte sie nicht, da sie mit Stella ausgezeichnet englisch sprechen konnte, und so hatte ich anfangs das Gefühl, „überflüssig“ zu sein. Außerdem ließ mich der Verdacht nicht los, dass Laima, deren Familie in der Sowjetzeit zu den litauischen Dissidenten-Familien gehörte, sich mir als Russin gegenüber verhielt, als sei sie vor mir auf der Hut. Das war umso offensichtlicher, als sie andererseits eine große Fachfrau und Kennerin der russischen Kunst war.

Aber trotz alledem war der Umgang mit ihr angenehm und produktiv, und nach einem gemeinsamen Besuch in Blagodat – das ist der ehemalige Familienbesitz der Werefkins –, der mit einem improvisierten Abschiedsabend in Laimas gastlichem Haus endete, fiel die Mauer zwischen uns, und es schien mir, als ob wir beide uns schon ein Leben lang gekannt hätten. Am Ende hinterließ Wilna bei mir einen äußerst warmen Eindruck: eine grüne, saubere, einladende Stadt, die mit einer Vielzahl an Kirchen verschiedener Konfessionen auf einem relativ kleinem Platz überrascht – und mit einer großen Anzahl sympathischer Mädchen. Dank Laimas Organisation gelang es uns, in fünf Tagen absolut alle Plätze aufzusuchen, die eine Verbindung zum Namen Marianna Wladimirowna haben, darunter Kaunas, wo der Bruder

недавнего времени даже не подозревали.

В Петербург мы летели через Ригу, так как прямых полётов из Вильнюса в бывшую столицу Российской империи нет. Хотя в Риге до сегодняшнего дня более сорока процентов населения – русские, все объявления в аэропорту идут на литовском и английском языке. В результате мы чуть было не пропустили наш самолёт. Когда-то, ещё будучи студенткой актёрского класса при музыкальном училище Ленинградской консерватории, я прилетала в Ригу на кинопробы фильма «Робин Гуд», в котором я должна была играть подружку легендарного героя. И хотя на роль утвердили литовскую актрису, я всегда вспоминала Ригу с каким-то особым чувством. На этот раз она мне показалась настолько негостеприимной, что я была рада, когда мы уже оказались на борту самолёта, уносившего нас в город моего детства и юности – Ленинград-Петербург.

Советское время относилась к литовским семьям-диссидентам, относилась ко мне - русской, как-то настороженно. Это было тем удивительнее, потому что она, с другой стороны, была большим знатоком и ценителем русского искусства. После совместного посещения Благодати – бывшего фамильного имения Верёвкиных, которое закончилось импровизированным прощальным вечером в гостеприимном доме Лаймы, стена между нами рухнула, и мне показалось, что мы знали друг друга уже всю жизнь. В результате Вильнюс оставил у меня очень тёплое впечатление: зелёный, чистый,

Наша петербургская программа была ещё более интенсивнее, чем вильнюсовская. Нам так же предстояло посетить театр, музеи, службы в церквях, кладбища. Если в Вильнюсе мы положили цветы на могилу матери Верёвкиной, то в Петербурге мы поклонились могиле отца художницы, который был царским генералом и занимал должность коменданта Петропавловской крепости. В русском музее мы часами напрасно искали «неизвестную» картину художницы, находившуюся в закрытых фондах музея, пока нам посчастливилось наткнуться на человека, посоветовавшего нам подойти к Мраморному дворцу – филиалу музея. Там мы, наконец, увидели одну из ранних работ Верёвкиной – «Литовец», которую известный коллекционер купил когда-то буквально за копейки в антикварном магазине на Невском, и подарил её вместе со всей своей ценнейшей коллекцией Русскому музею. К сожалению этого удивительного человека нам не пришлось увидеть, но в коротком разговоре по телефону, он успел посоветовать, что эта талантливая художница отдала свой талант в жертву своей любви. Так же как и в Литве, мы совершили несколько поездок за город, связанных с именем художницы. Одной из них была посещение дома-музея художника Ильи Репина, у которого юная Марианна брала частные уроки живописи. Дом этот находится в местечке Репино, которое раньше звалось Куоккала и находилось на территории Финляндии, которая во время её посещения Верёвкиной ещё входила в состав России. После Октябрьской революции, когда Ленин отпустил финскую губернию «на волю», великий русский живописец вдруг оказался за границей.

Marianna Wladimirownas, Pjotr Werefkin, als Gouverneur diente. Doch am eindrucksvollsten war wohl der Besuch des Archivs der staatlichen Bibliothek von Wilna, in der die einzigartigen Briefe, Fotografien und persönlichen Dinge der Künstlerin aufbewahrt werden, von deren Existenz man bis vor kurzem weder in Russland, noch im Westen eine Ahnung hatte. Nach Petersburg flogen wir von Riga aus, denn es gab in der ehemaligen Hauptstadt des russischen Imperiums keine Direktflüge von Wilna aus. Obwohl bis zum heutigen Tag mehr als vierzig Prozent der Bevölkerung Russen sind, erfolgen alle Ansagen am Flughafen in litauischer und in englischer Sprache. Deshalb hätten wir beinahe unser Flugzeug verpasst. Damals – als Studentin der Schauspielklasse der Musikschule im Leningrader Konservatorium – war ich nach Riga geflogen, zur Kinoprobe des Films „Robin Hood“, in dem ich die Freundin des legendären Helden spielen sollte. Und obwohl man eine litauische Schauspielerin für die Rolle bestimmte, habe ich mich an Riga immer mit so einem ganz besonderen Gefühl erinnert. Diesmal jedoch zeigte sich mir die Stadt so ungastfreundlich, dass ich froh war, als wir uns wieder an Bord unseres Flugzeugs befanden, das uns in die Stadt meiner Kindheit und Jugend brachte: Leningrad, heute Sankt Petersburg.

Unser Petersburger Programm war noch interessanter als das von Wilna. Uns standen Besuche von Theatern, Museen, Gottesdiensten und Friedhöfen bevor. Wenn wir in Wilna Blumen auf das Grab der Mutter Werefkinas legten, so verneigten wir uns am Grab des Vaters der Künstlerin, der ein General des Zaren war und seinen Dienst als Kommandant der Petropawlowsker Festung versah. Im Russischen Museum suchten wir stundenlang vergeblich nach „unbekannten“ Bildern der Malerin, die sich in gesperrten Museumsfonds befanden, bis wir das Glück hatten, auf einen Menschen zu treffen, der uns riet, zum Marmorschloss zu gehen, einem Zweig des Museums. Dort entdeckten wir endlich eine der frühen Arbeiten Werefkinas, den „Litauer“, den ein bekannter Sammler damals tatsächlich für eine Kopeke in einem antiquarischen Geschäft am Newski erstanden hatte, und der das Bild zusammen mit seiner äußerst kostbaren Sammlung dem Russischen Museum übergeben hatte. Leider ergab es sich für uns nicht, diesen wunderbaren Menschen von Angesicht zu Angesicht zu sehen, aber in einem kurzen Telefongespräch kam er noch dazu, zu beklagen, dass diese talentierte Malerin ihr Talent zugunsten ihrer Liebe geopfert hatte.

Genau wie auch in Litauen, unternahmen wir jenseits der Stadt einige Reisen, die mit dem Namen der Künstlerin zu tun hatten. Eine davon war der Besuch des Museums des Malers Ilja Repin, bei dem Marianna als junge Frau häufig Unterricht in Malerei genommen hatte. Dieses Haus steht auf einem kleinen Grundstück Repins, das früher ... hieß, als es sich auf Finnlands Territorium befand und welches zur Zeit der Besuche der Werefkina noch zu Russland gehört hatte. Nach der Oktoberrevolution, als Lenin der finnischen Regierung „die Freiheit“ gab, verzichtete der berühmte russische Maler plötzlich auf seine Grenzen. Nach dem unrühmlichen Krieg gegen Finnland, sowie nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs verschoben sich die Grenzen der Sowjetunion ein wenig, und das Haus des Künstlers wurde zusammen mit seinem Grab erneut zu

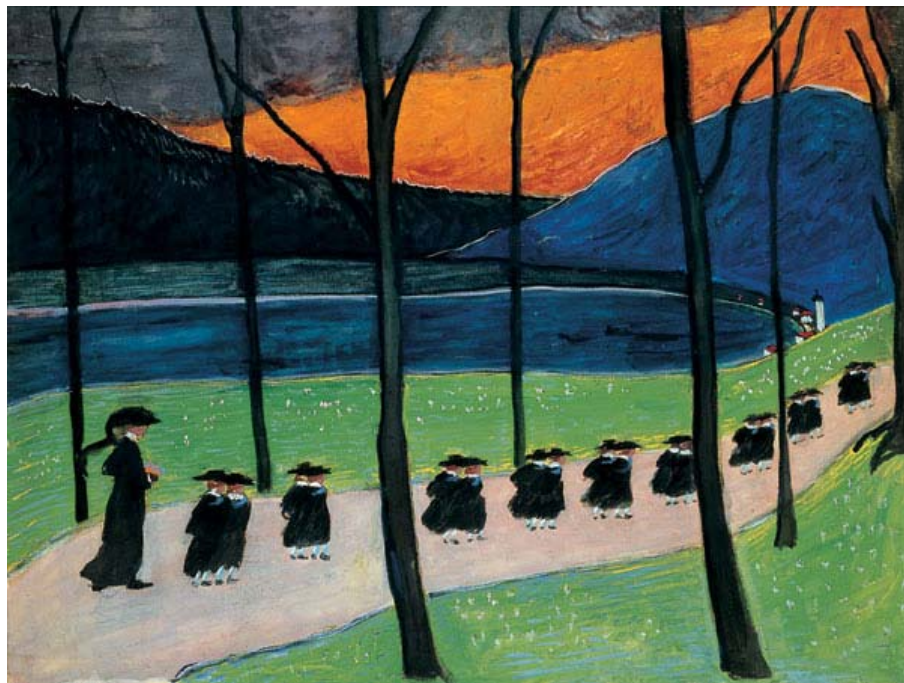
После бесславной войны с Финляндией, а также после окончания Второй мировой войны, границы Советского Союза немного раздвинулись, и дом художника вместе с его могилой снова стал русским достоянием. Именно с Домом-музеем Репина связано наше знакомство с ещё одним интереснейшим человеком – искусствоведом Еленой Владимировной Кириллиной. И хотя её нельзя причислить к знатокам творчества нашей героини, но её познания в области русского искусства и в особенности Репина и его школы – феноменальны. Самой Верёвкиной она никогда не занималась, но всё, что связано с именем её патрона для неё священо. Поэтому она не только уделила нам много внимания, но и показал портреты и рисунки великого реалиста, где по её убеждениям, изображена молодая Марианна Владимировна. Один из портретов изображает обольстительную красавицу, какую, по мнению большинства специалистов-верёвкиноведов, она никогда не была. И действительно, на всех дошедших до нас фотографиях, художница не производит впечатления «фэм фаталь», хотя в воспоминаниях некоторых её современников она и представлена как импозантная, обращающая на себя внимание особа. Так или иначе, Петербург открыл нам ещё одну страницу в биографии художницы и загадал нам новые загадки её образа. И, тем не менее, общение с ней было приятным и продуктивным, а пять питерских дней пролетели за бесконечными поисками и новыми знакомствами совсем незаметно, и вот я уже лечу домой. Как странно звучит – домой, в то время, когда я лечу из дома, из моей бывшей ленинградской квартиры, приютившей нас на несколько дней, – в баварский город Мюнхен. Но в этом городе я уже живу более четверть века, и ровно столько я уже не живу «дома».

После относительно лёгких дней в Вильнюсе, я окунулась в нелёгкие будни моих петербургских земляков. Безусловно, Россия непростая страна, к ней надо привыкнуть, её надо понять, особенно иностранцу, её надо прочувствовать. Стелле это не всегда удавалось, и в мои обязанности вошли не только переводы с одного языка на другой, но и с одного образа мышления на другое. Теперь, сидя в самолёте и подводя итоги моей поездки, я могу с уверенностью сказать, что для себя лично я открыла загадку русской души – она заключается в умении терпеть. Я бы даже сказала, это не просто умение, это страсть – русское терпение. Не так ли терпела и Марианна Владимировна все бесконечные выходки г-на Явленского? «Терпение и труд всё перетрут» – говорит русская пословица. Ну что ж, вот и подходит мой десятидневный труд в роли переводчицы к концу. Самолёт приземляется. Через час я уже буду сидеть за своим письменным столом и торопливо дописывать последние строчки моего Верёвкинского дневника. Под окном будет шуметь Аугустенштрассе, пересекающаяся с Терезиенштрассе, которая в свою очередь, через несколько сот шагов, приведёт к дороге Марианны Верёвкиной.

russischem Eigentum. Gerade mit dem Repin-Museum war für uns die Bekanntschaft mit einem weiteren interessanten Menschen verbunden: der Kunsthistorikerin Jelena Wladimirowna Kirillina. Und wengleich man sie nicht zu den Kennern der Werke unserer Heldin zählen darf, so sind doch ihre Kenntnisse auf dem Gebiet der russischen Kunst, insbesondere Repins Kunst und seiner Schule, phänomenal. Mit der Werefkina selbst hatte sie sich nie beschäftigt, aber alles, was mit dem Namen ihres Patrons, Repin, verknüpft ist, gilt ihr als heilig. Deshalb schenkte sie uns nicht nur viel Aufmerksamkeit, sondern zeigte uns auch Porträts und Zeichnungen des berühmten Realisten, auf denen nach ihrer Überzeugung die junge Marianna Wladimirowna dargestellt sind. Eines dieser Porträts stellt eine bezaubernde Schönheit dar, die sie aber nach Meinung der meisten Experten der Werefkina-Forschung niemals war. Und tatsächlich, auf keinem der von uns gefundenen Fotografien erweckt die Künstlerin den Eindruck einer „femme fatale“, wengleich sie in den Erinnerungen einiger ihrer Zeitgenossen durchaus als imposante Erscheinung dargestellt wird, der besondere Aufmerksamkeit zuteil wurde. Wie dem auch sei, Sankt Petersburg eröffnete uns einen weiteren Aspekt der Biografie der Künstlerin und gab uns gleichzeitig neue Rätsel ihres Charakters auf.

Fünf Tage mit unendlichen Nachforschungen und neuen Bekanntschaften vergingen wie nichts, und schon fliege ich wieder nach Hause. Wie seltsam das klingt – nach Hause, zu jener Zeit, als ich von zu Hause weggefliegen war, aus meiner ehemaligen Wohnung in Leningrad, der Stadt, die uns für einige Tage beherbergt hatte – nach Hause in die bayerische Stadt München. Aber in dieser Stadt wohne ich schon ein viertel Jahrhundert, und genauso lange lebe ich nicht mehr „zu Hause“.

Nach diesen relativ einfachen Tagen in Wilna tauchte ich in den schwierigen Alltag meiner Petersburger Landsleute ein. Zweifellos ist Russland kein einfaches Land, sondern eines, an das man sich erst gewöhnen muss, das man verstehen muss, das man erfüllen muss, was besonders für einen Ausländer gilt. Stella ist dies nicht immer geglückt, und mir oblag nicht nur die Pflicht der Übersetzung von einer Sprache in die andere, sondern auch von einer Mentalität in die andere. Jetzt, da ich im Flugzeug sitze und die Bilanz meiner Reise ziehe, kann ich mit Überzeugung sagen, dass ich für mich persönlich das Rätsel der russischen Seele gelöst habe: es kommt auf die Fähigkeit an, erdulden zu können. Ich würde sogar sagen, dass sie nicht nur eine Fähigkeit ist, die russische Duldsamkeit, sie ist eine Passion. Ertrug nicht auch Marianna Wladimirowna allen unendlichen Unfug des Herrn Jawlensky? „Geduld und Mühe überwinden alles“ – sagt ein russisches Sprichwort. Nun, hierzu passt am Ende auch meine zehntägige Arbeit als Übersetzerin. Das Flugzeug landet. In einer Stunde werde ich wieder an meinem Schreibtisch sitzen und eilig an den letzten Zeilen meines Werefkina-Tagebuchs schreiben. Unter meinem Fenster wird die Augustenstraße lärmern, die sich mit der Theresienstraße kreuzt, die ihrerseits nach einigen hundert Schritten zum Marianne-von Werefkin-Weg führt.



Herbst / Осень



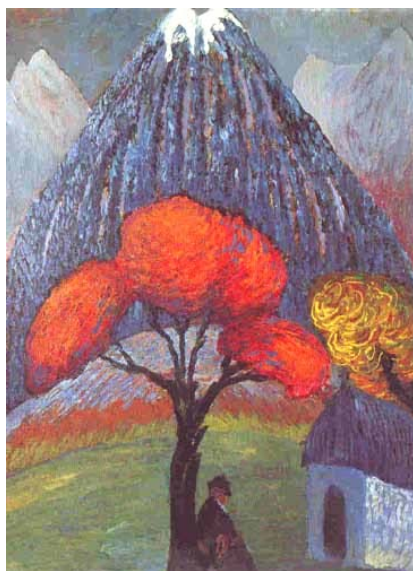
Die Landstraße / Проселочная дорога



Orchester / Оркестр



Stadt in Litauen / Город в Литве



Der rote Baum / Красное дерево



Mit dem Rücken zum Leben / Спиною к жизни



Lebende und Tote / Живые и мертвые

Семён ГУРАРИЙ

**КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
ИЛИ ДРУГОЙ МУСОРГСКИЙ**

Выставка ...

Всю жизнь мы путешествуем по некоей выставке.

Глазеем на меняющиеся картинки, созерцаем.

Порой оторваться не можем. Но чаще не замечаем их в суете, пробегаем мимо, забываем. И лишь потом вспоминаем об исчезнувшем видении. С ностальгией или с разочарованием.

Увиденное не оставляет нас.

Потому мы и рисуем, лепим, воспеваем, шаржируем. Оживляем старые картины или лихорадочно стираем их из памяти.

Или ... страстно пытаемся любой ценой стать частью картинки, пусть даже неприметной. В ход тогда идут эскизы, лейтмотивы, карикатуры, фантазии ...

Ведь по существу мы не только посетители и наблюдатели.

Мы сами – мираж, самообман, фата-моргана ...

Потому и череда реальных и воображаемых картинок не только окружает нас постоянно. Они внутри нас и не исчезает никогда.

Пробежимся же по анфиладам выставки, не имеющей ни стен, ни географии, ни примет времени. По выставке, длиною в жизнь.

ПРОГУЛКА. Попраздновать. Пропустить, прозевать, опоздать. Прогулять.

Прогулка, однако, хороша после дела. Или между делом. Или от картины к картине. Двигаясь. Путешествуя. Вроде бы беззаботно. Про-ме-жу-точ-но.

Мы – праздные бездельники, мы празднуем с удовольствием.

Хорошо! Легко! Дело уже сделано или нет, но у нас время есть.

Время смотреть по сторонам, да себя показывать.

По сути, так мы и живём во все времена. Прогуливаясь. Двигаясь то в одиночку, то в массе. То счастливо совпадая с хором и не слыша себя, то надрываясь – солистом.

И не важно, кто основную мелодию нашёл и ведёт теперь всех вперёд. То ли ты, то ли хор.

И все же: несёшься ты за хором или он за тобой? Хороший вопрос.

Мы стоим на перекрёстке. Мимо нас в разные стороны двигаются люди, толпы людей.

Каждый одержим собственной правотой, идеей.

Ощущение шагающего куда-то в оптимистическом марше единого организма. Разумеется, мы желаем непременно присоединиться. Но к кому? Какая разница. Сердце бьётся сильнее – бежать или идти – главное двигаться со всеми вместе!

И вот незаметно мы уже в толпе и устремляемся куда-то в диком марше. Мы спотыкаемся, падаем, встаём снова, лишь бы не отстать ...

Но куда мы идём? Зачем? Есть ли цель? Двигаемся мы вперёд или назад? Направо или налево? Остановиться и задуматься? Позже, позже!

К коммунизму? – Вперед! Капитализм? – Согласны!

Служить государству, отдать за него свою жизнь? – Это ли не высшая правда. Пацифистом быть? Антиглобалистом? Только на себя работать? – О Кей! Все учатся на программистов? – Почему же не мы? Бег трусцой? – Истина! Питаться по-вегетариански? – Замечательно! Голодать и худеть? Разумеется! Сексуальная революция? – Смысл жизни. Рожать под водой? – Естественно, только под водой.

Стоп! Человек должен быть не как все – быть другим, только другим! Это ли не спасительное решение? – Конечно!

Мы двигаемся. Прямо или в обход – это не главное. Важен процесс. Оставаться в строю, не сбиваться с ритма. Шаг за шагом, раз-два, раз-два!

Мы лопаемся от гордости. От единства со всеми.

Пути? По колдобинам, так по колдобинам, какие ещё там пути-дороги ...

Мы движемся. Не важно куда. Главное не сбиваться с лихого, пусть и глуповатого шага.

Всё одно, неровен час, собьют и с пути, и с ритма.

Или сам сковырнёшься. Ведь потому что на самом деле ты не кто иной, как ... гном ...

ГНОМ. Гном, гномик, уродец ... хоть самонадеянно и прошагал изрядное время псевдо-героем в неизвестном направлении, воображая себя в гордыне не просто равным остальным, а чуть ли не вождём ...

Гримаса осознания, что ты не такой как все, пронзает как молния. В шоке замечаешь собственную хромоту, нетипичную внешность, угловатые манеры ...

Замороженные октавы. Всё видится и слышится в преувеличенном, искажённом зеркале: разорванность мира, прерывистость дыхания, судороги ритма ...

Последовательность? Движение в направлении к цели? – Бред!

Растрянность. Боль одиночества. Жалость к самому себе. Мольбы о сострадании. И прочь, прочь! От себя ли, от других ...

ПРОГУЛКА. Слышно, теперь слышно, что хор не такой уж мощный и единый. Голоса массы расщепляются и смещаются куда-то вниз, то ли в прошлое, то ли в ...

СТАРЫЙ ЗАМОК, затонувший в океане времени.

Замок, крепость, хранилище тепла. Дом.

Ностальгия по детству, по предкам, по другой жизни? Нерасторжимость времён и поколений? Непрерываемость жизненной эстафеты?

Всё созвучно в этом измерении, имеет смысл. Хоть и подтанцовывает в тумане недосказанности, размытости. Ощущение, тем не менее, потерянности.

ПРОГУЛКА. Голоса? Кто слышит их? Уже не хор, а одинокий голос. Чей? Может быть ваш? Или мой? Он истончается. Почти исчезает. Но мы не желаем доходить до края.

Укрыться бы в середине. Там наше место. Одновременно эта пресловутая срединность, мучает нас: не усреднённость ли?

Середина – сумасшедший корабль, плывущий на волнах то ли из прошлого в будущее. То ли наоборот.

Гулять со всеми, с кем-то? Лучше одному, тогда можно и примериться, прислушаться к собственным шагам, приостановиться, оглянуться, даже возвратиться ... в детство, в ...

ТЮИЛЬРИ. Помните это чудесное время ритмических заклинаний? Университет детских игр? Испытание бесконечными просьбами? Калейдоскоп наивных лукавств?

Маска беспомощности, настойчивый импульс преодоления. Поиски собственных решений. Всё как во взрослой жизни – вприпрыжку через препятствия.

БЫДЛЮ. Ещё не знаем мы точно что это такое, но ощущаем нечто враждебное и угрожающее. Ещё не видны его контуры, но мы слышим где-то в глубине, как приближается некая зловещая сила.

Это *нечто* ширится, заполняя всё пространство, но мы не понимаем его устройства, его природу и истоки. Мы чувствуем только страх и ужасаемся мерной, нарастающей угрозе всему живому. Тупая сила вырастает до почти что невыносимого по своей силе звучания. Однако, по-прежнему её механизм и происхождение непонятны.

Но вдруг неожиданно мы замечаем, что ритм и тон уже нам когда-то встречался. Да-да, в этом пульсе мы уже маршировали. То, что начиналось марширующим бодрым шагом, превратилось в бесчеловечные механистичные жернова.

О, ужас – это наша Прогулка! Превращение очевидно: раз-два, раз-два ...

Исчезни! Сгинь! Ещё тише, ещё ... Ритм остается, висит в воздухе ... Душа изранена, мы раздавлены. Теперь наши шаги ничто иное, как поиски спасенья в вере.

Поиски Бога.

Только как справиться с теснящим гомоном нерождённых ещё голосов? Наивное, нежданное празднество уже здесь ...

БАЛЕТ НЕВЫЛУПИВШИХСЯ ПТЕНЦОВ. Всё лишь только задуманное, неосознанное.

Всё щебечет, клокочет, квохчет, пробует голосишко, нащупывает путь к свету.

И ещё необозначившись на этом свете, уже грустит, жалуется словно бы в предошущении грядущих потерь и разочарований.

САМУЭЛЬ ГОЛЬДЕНБЕРГ И ШМУЭЛЬ. Наука чужеродности. Отчуждения. Неприятия. Всем суждено эту науку изучить: метаться между гордыней и мольбами о признании ...

Унижаться, чтобы существовать в неизбежном клубке непогоды и злобы. В непрекращающемся взаимонепонимании ...

ПРОГУЛКА. А хор и не исчезал.

Растёт и ширится. И катится в разные стороны. С той же самоуверенной лихостью. Да и что может, собственно, измениться из-за чьих-то прозрений? Ничего.

ЛИМОЖ. Стоп-кадр хора. Броуново движение, муравейник. Взвизгивания, слухи, суета мнений, вздымающиеся волны перемен, сквозняки. А на поверку искрящийся сумасшедший рынок жизни превратится в ...

КАТАКОМБЫ. Так было и будет. Дотроньтесь до всполохов вчерашних озарений. От наших усилий, от дыхания наших надежд назавтра останутся лишь слабо фосфоресцирующие камни забвения.

Так было и будет. И не пытайся говорить ...

С МЁРТВЫМИ НА МЁРТВОМ ЯЗЫКЕ.

Хотя они и праздно прогуливались совсем недавно по жизни. Хотя ещё и различим полуистлевший скелет мелодии той самой прогулки.

С мёртвыми надо не разговаривать.

Не ворошить золу стенаний, усталости и равнодушия, а просто примериться сердцем к рассыпающемуся гулу столетий.

БАБА-ЯГА – это она всё придумала, эту свистопляску с гомерическим хохотом, кривляньем бессмысленных иллюзий.

Замри, вот она – бездна. Вот он – конец всему. Только он не венчает ничего. Он неошутим. Он в сердцеvine. Далеко запряган.

Скользкий холодок. Или похохотывание. И не надо ничего воспринимать всерьёз. Несись в вихре сатанинской дикой пляски всё дальше вывьсь, или вглубь воронки под названием...

БОГАТЫРСКИЕ ВОРОТА. Стоит город жизни.

В колокольных перезвонах.

Во здравцу оглушающему тебя храму неизбежности.

Звонкому храму пустоты и глупого счастья.

Ощущаете вы свободу?

Этот исчезнувший слоёный пирог.

Обратную сторону тени. Вкрадчивые шаги неподалёку.

Пространство между ещё ненаписанными мелодиями.

Влюблённость в себя пословиц.

Посмотрите вокруг себя глазами новорожденного или идиота – тогда вы свободны.

Simon GOURARI

MOUSSORFSKI EINMAL ANDERS ODER BILDER STELLEN SICH VOR

Ausstellung ... Unser ganzes Leben reisen wir durch irgendeine Ausstellung.
Wir sind nicht nur ihre Besucher und Betrachter – vor allem sind wir Teilnehmer.
Wir bewegen uns von Bild zu Bild, wir sehen, gaffen, sind überrascht, fasziniert,
begeistert, oder ... enttäuscht.

Wir betrachten die Bilder ganz genau, verweilen lang, oder laufen hin und her schnell
vorüber und, ... vergessen.

Später suchen wir uns nostalgisch zu erinnern, doch die Bilder sind verblasst und
entschwinden aus unserem Gedächtnis. Etwas aber bleibt: Mirage... Luftspiegelung...
Selbstbetrug...
Und dann?

Dann versuchen wir eine Kopie zu schaffen in Form einer eigenen Vision. Dazu
eignet sich alles: Skizzen, bescheidene Liedmotive, Hymnen, Tonfiguren...
Karikaturen ...
Kein Preis ist zu hoch, um ein kleiner, vielleicht sogar unbemerkter Teil der Bilder zu
werden! Die Bilder umfassen uns, sie durchdringen uns, sind allgegenwärtig.
Lasst uns einen Blick wagen, auf diese Schau, in der es keine Wände gibt, keine
Räume, keine Grenzen. Keinen Anfang und kein Ende ... Ausstellung des Lebens.

PROMENADE. Ein Spaziergang, ein Bummel, eine Promenade.

Versäumen, verpassen, verscherzen ...

Schwänzen – verschwänzen ...?

Promenade: pro- und kontra-... Zwischenzeitlich.

Wir sind Müßiggänger, wir feiern gern.

Es ist schön, leicht, sorglos, alles ist getan, erledigt, wir haben Zeit.

Wir sehen und werden gesehen.

So leben wir eigentlich, schon immer. Unser Leben ist ein Spaziergang, mal laufen
wir mit dem Strom, mal dagegen. Mal allein, mal mit anderen.

Wenn wir uns selbst mit der Masse bewegen, und in einem Rhythmus laufen, in einem
Schritt, sind wir glücklich, es geht uns gut. Obwohl wir unsere eigene Stimme nicht
mehr hören.

Aber wir sind auch glücklich, wenn wir plötzlich alleine marschieren, solo, im
eigenen Takt.

Also sind wir diejenigen, die immer mitgehen oder sind wir lieber diejenigen, die
führen? Gute Frage ...

Wir stehen alle hier an einer Kreuzung, an uns vorbei ziehen Menschen, Massen von Menschen. Jeder von ihnen hat eine Idee, eine Lösung.

Wir sind begeistert, wir wollen mit! Unser Herz schlägt schneller, der Puls ist sehr hoch, jetzt laufen, laufen, mitmachen!

Und schon rennen wir mit, zusammen mit den anderen in einem wilden Tanz. Wir stolpern, fallen um, stehen wieder auf, nur nicht den Anschluss verlieren ...

Aber wo gehen wir hin? Und warum? Gibt es ein Ziel? Welches?

Streben wir vorwärts oder zurück? Nach rechts oder links?

Sollen wir nachdenken? Überlegen? Ach, später, später!

Kommunismus? - Einverstanden! Kapitalismus? – Jawohl!

Dem Staat dienen, für den Staat sterben? – Ja, das ist die Wahrheit! Pazifisten zu sein? Globalisierungsgegner?

Nur für sich selbst arbeiten? – Okay!

Alle lernen, werden Informatiker, Programmierer? – Warum nicht auch wir?

Alle joggen. „Laufen Sie sich gesund“? – Wunderbar!

Vegetarier sein? – Perfekt! Sexuelle Revolution? – Sinn des Lebens!

Wassergeburt? – Natürlich!

Stopp, alles ist nur Gerede!

Man muss anders sein, vor allem – anders, anders ... Ist das die rettende Lösung?

Wir bewegen uns. Weg oder Umweg, es ist scheinbar nicht wichtig.

Der Prozess ist wichtig.

Im Rhythmus bleiben, den Schritt halten, eins zwei! Eins, zwei!

Passen Sie auf, wenn sie plötzlich stehen bleiben, dann sind wir verloren, zertreten und zerstört.

Weil jeder von uns – du und du – eigentlich nur ein Zwerg ist, ein Gnom ...

GNOM. Obwohl wir selbstsicher und heldenhaft in die unbekannte Richtung mitmarschiert sind, obwohl wir, jeder von uns, fast Führer geworden sind ...

Die plötzliche Grimasse des Bewusstseins, unser Spiegelung als Außenstehender, kleiner und schlechter als die anderen, trifft uns wie ein Blitz. Wir sind schockiert, wir bemerken unseren humpelnden Gang, unser untypisches Aussehen, unser komisches Benehmen ...

Schauen wir in den Spiegel – die Welt ist in Fetzen zerrissen. Wir stehen alleine da, es gibt keine Richtung mehr, keine Logik, der wir folgen können. Und wo ist die Bewegung geblieben, wo die Richtung? Unsinn.

Nichts mehr da, nur Schmerz, Beschwerde, Unsicherheit.

Fort, fort von hier, fort von sich selbst!

PROMENADE. Hören Sie noch den Chor? Die Musik ist nicht mehr so laut, die Stimmen sind weit weg, sie verlieren sich, verblassen und verschwinden fast. Wo bewegt sich das alles hin? Zurück in die Vergangenheit? Zu dem ... alten Schloss.

ALTES SCHLOSS. Altes Schloss, altes Haus, versunken im Ozean der Zeit.

Unsere Heimat, sie behält noch die Wärme der Vergangenheit.

Wir erinnern uns... alles tanzt im nostalgischen Nebel des Unausgesprochenen...
Sehnsucht nach anderen Zeiten? Anders leben? Daheim sein?
Die Generationen wechseln, das Leben geht weiter. Ein Marathon, der nie zu Ende geht? Alles stimmt und hat einen Sinn.
Doch warum erfüllt uns diese Melancholie, diese Einsamkeit, das Gefühl der Vergänglichkeit?

Die Stimmen. Wer hört sie noch?
Sie werden immer dünner, sind schon kein Chor mehr, nur mehr eine Stimme.
Vielleicht Ihre? Oder meine ...?
Es gibt eine Grenze, ein Ende, einen Abgrund – all diese Begriffe sind uns fremd, wir wollen sie nicht hören, wir wollen nicht am Ende sein. Nicht wahr?
Wir möchten in die Mitte, dort ist unser Platz, dort existieren wir, gewollt oder ungewollt. Gleichzeitig quält sie uns - die ewige Mitte.
Die Mitte - verrücktes Schiff, das auf den Wellen der Vergangenheit in der Zukunft treibt. Oder umgekehrt.

Möchten sie vielleicht doch spazieren gehen mit anderen?
Oder lieber alleine?
Versuchen wir ungezwungen unsere Schritte anzuhalten, umzudrehen, kurz stehen zu bleiben ...
Niemand stört uns, wir gehören uns.
Wie damals als Kind, beim Spaziergang in den Tuileries ...

TUILERIES. Können Sie sich an Ihre Kindheit erinnern?
Eine glückliche sorglose Zeit? Die Universität der Spiele? Impulse erster Überwindungen? Kaleidoskop der Tücke?
Erster Streit und Versöhnung.
Zeit der rhythmischen Beschwörungen.
Wir waren alle einmal dort, und alle wollten schnell erwachsen sein, stolpernd, über Hindernisse, hinaus aus den Tuileries ...

BYDLO. Noch wissen wir nicht genau was es ist, aber wir spüren das Unheimliche, das Bedrohliche.
Es hat noch kein Gesicht, aber wächst und wächst mit stummer Kraft.
Es nähert sich, wir verstehen den Mechanismus nicht, seinen Ursprung können wir nicht erklären. Wir fühlen nur Angst und fürchten uns.
Und plötzlich bemerken wir, dieser Rhythmus, dieser Ton ist uns bekannt. In diesem Schritt sind wir bereits mitmarschiert.
Oh, Schreck! Das ist unser Spaziergang! Umwandlung ist hörbar – eins, zwei! Eins, zwei! Weg!
Aus! Verschwinde! Noch leise, noch ...
Rhythmus aber bleibt in der Luft hängen.

PROMENADE. Die Seele ist verletzt, wir schweiften, unsere Schritte sind nichts anderes als die Suche nach der göttlichen Rettung.

Hören sie diesen Choral? Ganz von ferne...

Stimmen, Stimmen ...

Wir hören plötzlich etwas ganz Neues, einen Chor von Geräuschen, der noch ungeborenen Töne. Sie sind schon da und feiern bereits ihre Ankunft ...

BALLET DER NOCH UNGEBORENEN KÜKEN. Sie sind schon da und feiern bereits ihre Ankunft ...

Wir hören ihr brodelndes Gezwitscher.

Stimmen unserer Gedanken, Ideen, Skizzen sind noch ohne Rahmen und Form. Sie sind noch frei, sie wollen heraus, geboren realisiert werden.

Sie wollen zum Licht, ins Leben.

Und zugleich kommen auch Zweifel, Angst vor Enttäuschung, Unsicherheit und... Trauer.

SAMUEL GOLDENBERG UND SCHMUEL. Wer sind die beiden?

Zwei Brüder? Freunde? Feinde? Ein Reicher und ein Armer? – Fremde.

Ach, „wie menschlich“ – sozusagen –, die Fremden, die schwach sind, zu erniedrigen.

Die Lehre Fremdefeindlichkeit: Wir alle werden sie lernen müssen.

Hin und her gerissen sein zwischen Stolz und der Suche nach Anerkennung. Und dann

...

Und dann existieren wir doch mit Fremden zusammen in einem Knäuels des Unwetter und Misstrauen. Ist es unvermeidlich?

PROMENADE. Und wieder der Chor, er ist noch größer und stärker geworden.

Die Stimmen werden fester, wachsen und breiten sich aus.

Was kann sich eigentlich ändern durch unsere Überlegungen und Erleuchtungen? Nichts. Stopp! Pause! Chor, schweig!

LIMOGES. Geordnetes Chaos? Die Brownsche Bewegung, ein Ameisenhaufen?

Wie leben sie denn dort, inmitten winselnder Bilder der Werbung, in der Falle von Gerüchten und Intrigen?

Spürt man den Hauch der Schaukeln der Veränderung und schwimmt man mit dem Strom?

Uns geht es gut in diesem verrückten Bazar des Lebens, dem Karussell, das glitzert und tanzt ...

Noch scherten sie sich nicht um diese Welt, um diese Leben, die dereinst in Schutt und Asche liegen werden.

So war es, und so wird es immer sein. Von der Mühe und der Hoffnung bleibt nur ein fahler Schein der Erinnerung.

KATAKOMBEN. So war es, und so wird es immer sein.

Und versuchen Sie nicht zu sprechen mit ...

MIT DEN TOTEN IN DER SPRACHE DER TOTEN. Obwohl sie einmal unter uns waren.

Höret! Man kann ihn noch spüren, den Nachklang der Vergangenheit.

Auch sie spazierten auf dieser Erde. Mit uns ...

Aber sprechen Sie nicht mit den Toten, lassen Sie sie in Ruhe.

Durchrühren Asche von Stöhnen, Müdigkeit und Gleichgültigkeit?

Lieber sollten wir versuchen, uns unser Schicksal anzupassen.

Seine Schläge haben ein Gesicht, das Gesicht der ... Baba-Jaga!

BABA-JAGA. Das alles hier hat sie sich ausgedacht.

Das Homerische Lachen, die Ziererei unsinniger Illusionen und den wilden Hexentanz.

Bleib jetzt still! Hier kommt der Abgrund, das Ende.

Das Ende versteckt sich und bekränzt nichts.

Baba-Jaga zieht uns dort hinein, in dieses Ende, aber keine Angst, es geht schnell vorbei. Nur ein kalter Windstoß an eurer Wange ist zu spüren, ein fernes Lachen ist zu hören.

Nehmen Sie es nicht ernst, lassen Sie los, fliegen Sie weiter, höher, höher oder ... tiefer, hinein in einen Trichter namens ...

DAS GROßE TOR

Drehen Sie sich um, Sie sind angekommen. In einer Stadt des ewiges Lebens. Hören sie? Ein ohrenbetäubendes „Es-lebe-hoch“.

Klingelnde Glocken der Leere und unvermeidliches dummes Glück.

Spüren sie schon die Freiheit? Freiheit – geblätterter Kuchen des Verschwindens. Rückgrat des Schattens. Schüchterne Schritte nebenan.

Raum zwischen nie geschriebenen Melodien. Verliebtheit der Sprüche.

Sehen Sie sich um, versuchen sie es mit kindlichem oder idiotischem Blick, denn Sie sind frei!

Елена КАЦУБА

ПУТЕШЕСТВИЕ ТЕНИ

Ты ли у оливы оставила тело
или тело забыло тебя
ветви теней листая
Ты ли стала тень
тень ли тобой упала
Тень ли змеиноного жала
тенью боли ожгла твою тень?

Перелилось через край
серебро оливковой рощи
По шпалам теней
ты ушла в теньеву небес
подземных

Теням не нужно много места –
им никогда не тесно
Теням на земле лежать тяжело –
их сверху давит свет
Тени свободные от тел
взлетают вверх
тени-асТЕНИки
кольшутся растЕНИями
зовут:
– к нам ИДИ
Э В Р И Д И К А
ИВА плача, ДАР печали, ЭРА разлуки

Теневая жизнь
в шахтах, штольнях, штреках, пещерах
шевелилась и шелестела
по своему хоТЕНИю

Сизиф, преодолевая тягоТЕНЬе
толкал тень камня на тень горы

Нарцисс в смяТЕНЬе
искал в зеркале отраженье своей тени

Сафо в короТЕНЬ кой тунике прошла
шелестя сплеТЕНИями стихов

С-ТЕНЬка Разин,
забросив кистЕНЬ за плеТЕНЬ,
пил сбиТЕНЬ, обнимая толстЕНЬкую тень
застЕНЬчивой персидской княжны.

Издатель КаТЕНИн хлопотал о приобреТЕНИи
прав на все теневые издания
– Умерьте, баТЕНЬка, свои преТЕНЬзии, –
укоряли его тени русских писателей, –
не в ТЕНЬгах счастье!

Сократ и Платон отдавали предпочТЕНИЕ беседам
часТЕНЬко подливая тень вина в чаши тени

Клеопатра негодовала:
– Никакого почТЕНИя к царице,
скукоТЕНЬ тут у вас!

– НеврасТЕНИя, –
заметил Гиппократ
– Отойдите, теТЕНЬка, –
проворчал Архимед,
склонившись над чертежами изобреТЕНИЙ

Поликрат привычно бросал персТЕНЬ в море тени

Вергилий прошел сквозь них
погруженный в чТЕНИЕ Данте

Так и стала тенью
в пору цвеТЕНИЯ
Эвридикарка

Звери невидимых форм
мягкими лапами удаляли из памяти
морфему Орфея

Фыркнула буква Ф в середине
вырвалась
бабочкой флуоресцентной
перепорхнула свеТЕНЬю в сад
где в сердечном запусТЕНЬе
страдал Орфей

маской фотонной
легла на лицо певца
тьмой глаза омыла
повела в средосТЕНЬе тьмы

Тени на стене вертикальны
нотами на нотном стане
но ту
ноту
как угадать?

Кто не спит –
тем ноты
темноты
слышны

просТЕНЬкую песню запел Орфей:
– Тихие ТЕНИ,
пленники ЛЕНИ скорбной,

кроткие ЛАНИ,
сборщикам ДАНИ ночной
ДАНЫ мы во власть.
Песней исходят РАНЫ души
РАНО ушла Эвридика –
верните!
Истинно из тени взываю к вам!

Соло говорил лирово голоС

Скрипнула в сердце ночи ада юла
обороТЕНЬ мрака
распахнул два черных крыла
Невредимая Эвридика
из середины вышла
пропела:
– Я и доле милого ли мелодия?
И в ответ Орфей:
– Я пел, сияя, разом озаряя и слепЯ!

Захлопали в чистЕНЬкие ладошки
пузаТЕНЬкие Амуры

Встрепенулся Глюк над партитурой
закончил оперу росчерком пера
раскинул руки пред оркестром утра
и завершил путешествие ТЕНИ
обреТЕНИем света

Peter Horst NEUMANN

APOLLINISCH

Dem Marsyas
lebendig die Haut
abgezogen, seinen Schrei
auf die Leier gespannt,

und dann
dieses Doppelkonzert
für Harfe und Flöte,
ins Köchelverzeichnis.

IM SCHWETZINGER PARK

Frischgeschütteter Kies.
Wie alt ist der jüngste
der Steine.

Hinter der halbgeöffneten Tür
proben sie Haydn, die zwei-
undsiebzigste Sinfonie.

Was zu sagen sich lohnt,
ist gesagt in vier Sätzen
ins halbgeöffnete Ohr,

wenn das Herz ins Vergessen
sich schlägt und Musik
dein Gedächtnis ersetzt,
probewei

VOR DEM KONZERT

Noch nicht Musik
und doch schon Symphonie,
die kurze Weile zwischen
Lärm und Stille. Sie suchen
ihren vorbestimmten Ton,
er ist schon da, sie hören,
sie gehorchen.

Ich kenne Einen,
dem ist dies allein
den vollen Eintritt wert.
Erscheint der Maestro,
geht er still hinaus, mischt
in den Anfang seinen

Endapplaus.

DAS ALTERN DES KASTRATEN

Noch einmal hören diesen Jenseitston,
die Differenz in Wohlklang aufgehoben,
Hermaphroditens Lockruf einer fernen Welt,
die keinen anderen Beweis braucht
oder kennt.

.....
Bis ihm ein Chaoslaut die Stimme bricht,
als würde er am Ende doch noch Mann.

RITTER GLUCK

Mein pockennarbiger
Gedankenfreund, von Händel las ich,
daß sein Koch dir überlegen war
in puncto contra punctum.

.
Wie viele Steine
hat dein Orpheuslied erweicht,
wie viele Wölfe handgezähmt
für fünf Minuten.

Vergelt's dir Gott
im Reigen seliger Geister.

Нури БУРНАШ

Известен срок. Портные-аммониты,
морского дна ошупав мягкий край,
украдкой, без лишней волокиты
отмерили бескрайний мезозой.

Со времени утраченного рая
храня один неписанный закон,
счастливые часов не наблюдают:
нельзя смотреть Персеям на Горгон.

Известен срок. Тогда с какой же стати
расписывать по плану график чувств?
Прожить свой век, вертяться на циферблате
с будильником в душе? Нет, не хочу.

Мой бунт смешон. Но не идти ж с повинной.
Да и спасет рецепт такой едва ль:
прочитать «Вишневый сад» – в шесть с половиной
и заболеть ветрянкой – в тридцать два.

САМОУБИЙЦА

... со скучного концерта, не дождавшись
финальной скорби флейт хрустальных
был вечер свеж
и было жить легко
на древнем КПП дремали стражи
и видели во сне его
минующего тайно
ником не охраняемый рубеж

ПАРК ВОРОНЦОВСКОГО ДВОРЦА

Сара Нури

Расскажи мне. Дай памяти выход.
Здесь, где камни гудели на ветре,
расцвела воронцовская прихоть
под насупленной бровью Ай-Петри.

Расскажи, как все дальше и дальше
горы жирной, тяжелой земли
по Днепру раскаленные баржи
в этот край вереницей везли.

И ревело – колдуньей на дыбе –
море ночью, несчастья суля,
но в тени диабазовых глыбин
прижилась неродная земля.

В разнотравье и разnodеревье
растворяется контур аллея.
Расскажи мне, в Киммерии древней
парк найдешь ли капризней, странней?

Расскажи, не по этим ли склонам
до рассветной росы на траве
парень юный бродил беспокойно,
имя нежно шепча «Анифе»?

Легким воздухом, шепотом, светом,
право, я захлебнуться боюсь.
Наш с тобою заботливый предок
каждый шелест здесь знал наизусть.

Что в тот день он сказал на допросе
комиссарам? Как выжил без лжи?
Может, этого не было вовсе?
Расскажи! Расскажи! Расскажи!

... Ты все куришь? А я на два слова
к льву, сидящему грозно на страже
тайн былых да величья былого.
Только он ничего не расскажет.

А вот дорога – крива немного,
других не лучше,
ям разных куча – над нею туча,
под нею круча,
а по дороге легки, как боги,
идут, ликуя, два обалдуя,
шутя, рифмуя и в ус не дуя.

Глянь, друг, налево ...
Там то ли Ева,
а может, вовсе иная дева?
Глянь, друг, направо,
там срам да слава,
шнурки в стакане,
высот зиянье,
вершин канава –
куда же, право,
придут, ликуя, два обалдуя,
шутя, рифмуя и в ус не дуя?

Смотри, вон эти – ну, как их? – дети.
И вроде наши ...
Очнись, папаша. Вот так приплыли!
Помилуй, ты ли мне врал, что век нам быть молодыми?
И вот, смотри-ка,
нас, старых, мимо
идут, ликуя, два обалдуя,
шутя, рифмуя и в ус не дуя ...

Прошло Крещение. Холодов крещендо
звучит все злее, бьет в колокола.
Чем отогреть в хрустальный день до
дна души промерзшие тела?

Сивухой, сексом, пляской, сабантуем?
Хотя и так, похоже, не усну:
то Пугачев разбудит поцелуем,
то Ленин за борт бросит, как княжну.

В термометре навеки ртуть застыла:
нет ниже сорока цензурных чисел.
Хотя и немцам в сорок первом было
уж не теплее. Греющая мысль.

А тот же Мураками русских хвалит:
мол, на морозе думать нам ловчей.
Дед Паша чайник на огонь все ставит,
все ждет, наивный, дураков-гостей.

Но только нищий у подъездов кружит,
надвинув шапку на разбитый лоб.
Покрылась льдом одна восьмая суши.
Спи крепче, наша правильная дробь.

ПЛАЦКАРТ

Мы стояли под Вековкой – насмерть, навзрыд.
Поезд замер в снегах бестолково,
к липким шпалам, перрону крест-накрест прибит
хриплым криком бессонных торговков.

Между полок и ног, матерясь на ходу,
вор прокрался впотьмах к туалету.
Рядом правой рукою обняв пустоту,
спал старик, аккуратно одетый.

В коридоре сопел олимпиец хмельной,
занимаясь с титаном любовью.
Продавцы расходились: хрусталь дармовой
падал с неба и портил торговлю.

Мы стояли под вечностью. Голос во тьме
предложил оптом счастье и вазу.
Объявили задержку рассвета. Ты мне
в этот день не звонила ни разу.

ЛЕТАРГИЯ

Столб тенью зацепил окурок –
сюжет для теленовостей.
На солнцепеке котофей
спит, воплощение Эпикура,
и кажется ему, что он
среди дорических колонн.

У бабки прорвало пакет
с кефиром и вишневым соком.
Старухи плавится хребет.
Искрится россыпь битых стекол,
и сквозь нее течет в овраг
молочно-сочный Потомак.

Направо – морг, навыверт – гром.
В заборе – щель. На небе – птица.
Врастает в зелень целиком
пятнадцатая горбольница,
и в ней на первом этаже –
фантом в бинтах и неглиже.

Перспектива работы Дали
безупречна: отчетливо видится,
как на длинной веревке вдали
в сносном домике с видом на жительство
сохнет синяя майка мужская
да прищепка горит золотая.

Joel Fortunato Reyes PÉREZ

DECIDIR

Decidir... Beslissen... Decidir
 Se elige porque se supone
 Experto ignorante intérprete
 Luz de círculo, cuadro, anillo...
 Un yo lejano y discontinuo
 Un otro similar
 Algo de renuncia y entrega...

...¿ Bent ü gewond ?... ¿ Está usted herido ?

Es acaso eso preciso
 Un vestuario asfixiante
 Entre audacia blanda
 Entre intrépida torpeza
 Seductora repulsión...

¿ Wat is er aan de hand ?... ¿Qué le pasa ?

¡ Camino, voluntad... Alternativa !
 ¡ Cómo mil y mil opciones !... Un arbitrio
 ¡ Forjar el tiempo !
 Tejer y tejer...
 Tejer los fundamentos...!

¿ Wie vergezelt u ?... ¿ Quién le acompaña ?
 Solo la sombra y su diálogo
 ¡ Lamento y deleite !... ¡ Gozo y sollozo !
 Como que bien lo sabía...
 ¡¡¡ Deber de saber y hacerlo bien !!!

Илья БОКШТЕЙН

* * *

пространство меня обнажает
в прострацию вводит восход
не солнца. чего? я не знаю.
секрет океаном растет,
претит описание жизни -
холодного ветра пятно,
в плаще словотворческой мысли,
что высится храма окном.
и все, что любовью хранимо,
на тайном холсте заволнит,
плывут мне навстречу - незримы -
предчувствия знаков одних

* * *

причина счастья и отчаянья -
полилектрий живопыли,
обратно существо блестящему листу
развернутому на столе;
лист - вещество, необозримое
для быта пыли-были,
а существо - в пылинке
перед выпуклостеклом
из золотостакана
засверкалиций оркестр

* * *

лентовесна у окна вещелета
созвучьем ограды и камышей
свет чуть заметный незнаю откуда
приблизился к саду уже у дверей
а ночь так тиха как в шкафу
в серебре зазвенели ресницы тарелки.
две высокие свечи. рояль.
темнокрасное одеяло тяжело.
на шкафу синеокие брови окна.
а за вечерним окном
резвится маленькая девочка.
это лампа - под кроной настольное лето
это летнерояль из-под кроны горя
кроны - оранжевороты моря -
повороты дорог к звукоряду аллей
тополя раскалив купола поднялись
из-за крыш поднялись, из-за крыши крыла
возвращается юность приветствуя свист
из ролей серебристых корон сентября.
лентой молнии лес разорвись
кроны чуть по краям распоролись
юный друг, улыбнись,
у тебя на щеках
стрелы листьев зажглись -
мои удивленные брови.
это в стеклах цветы разошлись
витражом заменяясь.
одинокая форточка на шкафу,
на шкафу синеокие брови моркови.

МИМФЫ

1.

Я думал: смерть — вершина пирамиды.
Вижу: она — ее основание.

2.

Ждет меня смерть.
Жду ее конца.

4.

Я ждал просветленья.
Дождался.
Взорвался.
Ослеп.

5.

Несоразмерен я своей природе —
Природа на меня пародия.

6.

Счастье — это держать на ладони
Куколку своей бывшей безличности.

9.

Бабочка села
На теплое тело.
Лето улетело.

12.

Продрогли утренние сны,
Как уточки.
А со стала в меня глядят
Озябшими озерами очки.

13.

Одиночество!
Твою шею обняв,
Ощуцаю во сне я
Коня.

Robert PINSKY

SAMURAI SONG

When I had no roof I made
Audacity my roof. When I had
No supper my eyes dined.

When I had no eyes I listened.
When I had no ears I thought.
When I had no thought I waited.

When I had no father I made
Care my father. When I had no
Mother I embraced order.

When I had no friend I made
Quiet my friend. When I had no
Enemy I **opposed** my body.

When I had no temple I made
My voice my temple. I have
No priest, my tongue is my choir.

When I have no means fortune
Is my means. When I have
Nothing, death will be my fortune.

Need is my tactic, detachment
Is my strategy. When I had
No lover I courted my sleep.

Dario CAVALIERI

PAUSA

In attesa dell'evento
con il viso rilassato
traggo in salvo l'emozione
ed aspetto qui seduto.

Quella strana ed insensata voglia
sconosciuta a questa mente
di una pausa del pensiero
di uno stop dell'evidente.

Ma passato quel momento
ricomincia il turbinio
l'evidente vince sempre
mi rialzo e vado via.

Markus EPHA

DER ATEM DER GEISTER

für einen, dem gelegentlich der boden
unter den füßen entgleitet, dessen schritte
von stern zu stern springen und aus der nacht
ins dämmerlicht heimkehren, bleibt es ein rätsel,
wie einer sich zu hause fühlt, nur weil die tür
hinter ihm ins schloß fällt.

wenn ich bei mir bin, dann berühren
mich die gedanken verwandter geister,
die finger einer geliebten,
das spiegelbild im wasser,
wo die weit kopfsteht.

mein haus
ist aus augenblicken gebaut,
errichtet auf dem grund der erinnerung.

BASAR

nimm nichts,
was du nicht
bestellt hast,
frage vorher
nach dem preis
und zahle nachher
das wechselgeld.

auf das wort,
das Ware und wert
bestätigt, kannst du
vertrauen.

sieh alles
als spiel
ohne feste regeln.
du bestimmst,
was gilt.

KROKODILSTRÄNEN

krokodilstränen trocknen nie, aber keiner
hat je ein krokodil weinen gesehen, auch ich
nicht, als wir auf elephantine island ein
terrarium mit fünf krokos entdecken.
auf den rücken des ältesten tieres, das
schon ein funkeln im blick hat,
klettert ein kleines und verfällt sofort
in~ eine satte starre.

ein fischer hat sie im nassersee gefangen
und dem betreiber des cafes zur aufzucht
überlassen, um sie später zurückzukaufen
und touristen zur jagt anzubieten.

ein krokodilkopf,
über der eingangstür angebracht,
schützt mit seiner kraft haus und bewohner
vor bösen geistern.

jetzt, die mittagshitze verdauend,
rührt sich nichts mehr.
als wären die pupillen blinde spiegel
und die herzen unter dem schuppenpanzer
hätten vor der gewißheit des gefangenseins
resigniert.

Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР

ФРАГМЕНТЫ О ШЕРВИНСКОМ

... Накануне своего восьмидесятилетия Шервинский позвонил мне и попросил заглянуть.

Ему – «за многочисленные заслуги» - дали какой-то орден, и теперь, так сказать, по статусу, юбилейный вечер в Большом зале ЦДЛ должен был вести один из секретарей Союза писателей, причем выбор – за юбиляром.

Сергей Васильевич изучил список – и тут выяснилось, что он никого не знает, то есть просто-таки не имеет представления: ни как выглядит, ни что сочиняет.

Единственное исключение – Наровчатов, с которым несколько лет назад вскользь познакомился в Ереване на каких-то литературных действиях, побеседовал минут двадцать по пути с выступления в гостиницу. Впечатление благоприятное, но вполне может быть ошибочным. Вот он и решил, как выразился, «уточнить».

Я за несколько лет до того занимался в литинститутском семинаре Наровчатова, бывал дома, разговаривал за чаем – не только о литературе, знал людей, помнивших его тростниково-стройным и ярко-синеглазым, только что вернувшимся с войны. И сказал Шервинскому, что ничего особо «компрометирующего», если не считать «официального конформизма», за Сергеем Сергеевичем, по моим сведениям, не числится.

Сын хабаровского профессора, блестяще начитан, обладатель дивной библиотеки, пакостей, вроде бы, не делает, даже подчас помогает попавшим в затруднительное положение, если, конечно, это не связано с делами политическими. В общем, человек порядочный...

«Сподобил же Господь, - медленно произнес Шервинский после задумчивой паузы, - дожить до поры, когда слова “порядочный человек” стали положительной оценкой. В наше время это подразумевалось»...

Примерно полгода спустя это имя снова всплыло в одном из разговоров наших. Шервинский упомянул, что попала к нему в руки книга Наровчатова «Необычайное литературоведение». И произвела впечатление.

«Оно и впрямь *необычайное*, - дивился Сергей Васильевич, - там, например, говорится, что «Евгений Онегин» писан *четыренадцатистрочными октавами*». Я напомнил – из Вяземского: «Ум и перо мои обмолвились»,

дескать, именно такое и с Наровчатовым случилось. «Вы правы, - согласился Шервинский. - Но дело в том, что он *мог так обмолвиться*»...

К восьмидесятилетию я послал Сергею Васильевичу телеграмму: «Низкий поклон благодарности – Вам, проносящему через железный наш век золото вечных стихов»...

Месяца через полтора, при встрече – мельком – в ЦДЛ, он поблагодарил, припомнив ее, сказал, что очень рад, если производит на меня *такое* впечатление.

О *прозе поэта*. В двадцатых-тридцатых годах Шервинский подолгу жил в Петрограде-Ленинграде. Однажды, зайдя к Кузмину, сообщил ему, что Луначарский добился возможности давать пенсию немолодым писателям, не способным, понятно, прокормиться в «новой эпохе». Надобно только написать заявление на имя наркома просвещения.

«А вы не могли бы, не в службу, а в дружбу, - попросил Кузмин, - написать это заявление за меня?» - «Но почему?» – «Видите ли, Сергей Васильевич, - беззащитно улыбнулся Кузмин, - я ведь в прозе ничего писать не умею. Кроме, разве что, моих ужасных романов». Шервинский, много работавший с артистами над *речью*, явно имитируя Кузмина, по-питерски, полуакцентом «округлил» первое «о» и по-московски чуть растянул «а»...

Шервинский о Кузмине: «...У него была... - помолчал, ища эпитет, нашел, видно было, что *пробует* про себя, проверяет, и, наконец, - розовая аура»...

У него было обыкновение – держать паузу, молча пробуя на точность наиболее *значащее* во фразе слово.

Однажды я спросил, бывал ли он на «Никитинских субботниках?»

Никогда. Хотя с Евдоксией Федоровной был, конечно, знаком. Да и кто из литераторов не был? «Она ведь одно время была замужем за Борисом Этингофом. Вы знаете, кто это?» - «Конечно. ГПУ, Наркоминдел, потом издательский начальник». – «Вот-вот. И на собраниях у Никитиной... - пауза, - *сквозило*»...

Осенью 1972 года мы с Аркадием Акимовичем Штейнбергом задумали провести в ЦДЛ вечер, посвященный Волошину. Поэзия Волошинская пребывала под негласным полу-запретом, стихи упоминались, иногда цитировались, имя автора из литературоведческих перечислений цензурой не вычеркивалось, однако о *вечере* этой поэзии речи быть не могло. По счастью, был такой цикл вечеров - «Мастера поэтического перевода», затеянный Творческим объединением художественного перевода, где Штейнберг в ту пору был заместителем председателя. Конечно, Волошина в *классики* перевода никак не зачислить, но всё же он стихи переводил, преимущественно – французов, да и книжку Верхарна издал, и в критике своей о переводах иногда

писал. Таким образом, повод нашелся. И *дату* мы в приглашениях обозначили, хоть и *непривычную*, а с намеком на *юбилейность*: «95 лет со дня рождения и 40 лет со дня смерти». Короче, в «План мероприятий» сие действие включили. И стали готовиться.

Первым делом отправился я к Шервинскому. Говорю, что без него я этого вечера представить себе не могу. И не хочу. Он помолчал. Потом сомнениями поделился: не рискованно ли *показывать* Волошина «во-первых» - переводчиком. Всё-таки его переводческие достижения, как бы это поверней назвать, пожалуй, *небесспорны*. Так ведь повод нужен, отвечаю, а про переводы на вечере одно выступление будет, ну, полтора, остальное – стихи, Коктебель, словом, *Волошин...* «Тоже верно». Пауза – подлиннее первой. Потом – этак задумчиво, как бы издалека начиная: «Ну, что я вам могу о Максе рассказать? Например, так»... И минут тридцать замечательной импровизации, повествования, где личные воспоминания-впечатления перемежаются отступлениями об атмосфере *Волошинского* Коктебеля, о характере и повадках хозяина Дома Поэта, о поразительной слиянности прожитого и сделанного ...

Если бы я не знал наверное, что о цели моего визита он, пока не заговорили, не догадывался, ни за что не поверил бы, что вот так, без подготовки...

«Вас это устраивает?» - «Вполне». – «Вот и хорошо»...

Полтора месяца спустя, двадцать четвертого января 1973 года. ЦДЛ. Черед выступать Шервинскому. Он с полминуты задумчиво глядит в переполненный зал. И медленно, как бы не совсем уверенно произносит: «Ну, что я вам могу о Максе рассказать? Например, так»... И неторопливо... повторяет, чуть не слово в слово, во всяком случае, без малейших *смысловых* различий, всё то, что рассказывал мне...

На следующий день я позвонил – поблагодарить. И восхититься – никогда прежде с подобным не сталкивался: «Ну что вы, - отвечивал Шервинский, - это ведь некоторым профессиональным лекторам свойственно – повторять в точности для *других* слушателей (он слегка подчеркнул это «других») то, что уже однажды – и дважды, и трижды – было сказано, но так, словно оно только что пришло на ум, здесь и сейчас. А у меня лекторский опыт немалый – и в архитектурном институте, и в театральном училище»...

Трагедийность мироощущения, столь магнетизирующая потомков, для современников, даже *понимающих* и *разделяющих*, не то чтобы утомительна, скорее - лишена ореола исключительности. Одно дело – держать в руках «самиздатский» список или, наконец-то, получить книгу, настроиться на стихи, временно отодвинуть всё прочее. Совсем другое – слушать стихи в исполнении автора: когда у него, у автора, есть время, желание, настроение. Да ещё известна такая авторская особенность: снова и снова читать то, что считает наиболее у себя важным и удавшимся.

И вот лет двадцать друживший с Волошиным Шервинский пишет в Коктебеле: «Сегодня Макс читает. Будет скучно, - Не каждый день к стихам наклонен ум. В десятый раз уж внемлешь равнодушно, Как пострадал пресвитер Аввакум...», – ему вторит Шенгели, вернее, Кузмин в пародии Шенгели 1925 года: «... И, прочитав в сто первый раз “Протопопа Аввакума“, Сесть во гробе И вскрыть вены, И чтобы в щель Светила заря ...».

Если не ошибаюсь, в конце 1973 года в Союзе художников – на Гоголевском (он же Пречистенский) бульваре – открылась первая в Москве выставка акварелей Волошина. Не встретив на вернисаже Шервинского, я позвонил ему, тревожась – здоров ли? Все же – за восемьдесят...

Беспокойство было напрасным. День спустя мы беседовали у него в кабинете. Оказалось, что не поехал он на выставку, потому что не хотел встречаться с «Марусей», с Марьей Степановной Волошиной. Обижен на неё...

Несколькими месяцами раньше его навещал Купченко. Оставил несколько газетных вырезок со своими публикациями. В частности, из феодосийской газеты, под заглавием «Литературный Коктебель». Все материалы для писания автор, литературовед еще не очень опытный, получил, как видно, от Марьи Степановны. В результате там не упомянуты обитатели и завсегдагаи ни одного из «литературных» домов Коктебеля, кроме Дома Поэта. Например, дома Габричевских: ни сам хозяин – историк и философ искусства, но и переводчик Гёте, ни блестящий исследователь и переводчик античной литературы Борис Ярхо, ни Шервинский, ни многие еще.

«А мы, смею думать, - заключил Сергей Васильевич, - к *литературному* Коктебелю имели некоторое отношение. Но Маруся творит легенду о Максе как единственном: кто не рядом с ним, внимания не стоит. Её воля»...

Так постепенно, строка за строкой создавался, я бы сказал, Максимально-Волошинский образ Коктебеля.

Длительность жизни условна. Равно как обыденное представление о ней – да и о самом времени.

К девяностолетию Шервинского вышел том его переводов из Овидия. Предисловие написал пятидесятилетний Сергей Ошеров, послесловие – семидесятипятилетний Вильгельм Левик. Среднее и старшее поколения признанных переводчиков почтили таким образом, можно сказать, Мафусаила отечественного художественного перевода.

В послесловии Левик писал, что в тридцатых годах в стихотворном переводе господствовала «буквалистическая школа» и что Шервинский был одним из лидеров этого направления, а потом сумел *перестроиться*.

Сергей Васильевич объяснял ту *метаморфозу* иначе: «Просто я тогда ещё не очень хорошо умел переводить».

И добавлял: «Буквализм – это непонятый Фет. Буквализма не существует. Буквализм – это неудавшаяся точность». – «А почему вы не возразили Левику?» - «Зачем? Он так думал»...

За год с небольшим, пока издавалась книга, не стало ни Ошерова, ни Левика. Шервинский немного не дожил до ста...

Его отец, Василий Дмитриевич, знаменитый профессор-медик, был лечащим врачом Тургенева и... Маяковского. И *последнего лицеиста* – князя А. А. Горчакова. Того самого, кому «под старость день лица»...

Из разговоров. На вопрос, удобно ли мне к нему ездить, ответил, что – вполне, по прямой на метро: живу в Сокольниках, близ больницы имени Остроумова. С которым отец Сергея Васильевича был хорошо знаком – вместе профессорствовали в Московском университете.

«Да, они с Алексеем Александровичем были приятели, - кивнул Шервинский. - И мы всей семьёй не раз бывали у него в гостях. И дома, и на подмосковной даче – совсем близко от этого места, где мы с вами сейчас сидим, на Воробьёвых горах».

Остроумов был страстный садовод. Однажды, после благостного обеда на лужайке перед домом, повёл он Василия Дмитриевича – похвастаться своими садовыми достижениями. А в завершение той прогулки очутились они в залитом солнцем дальнем углу, где торчали из земли, робко листьями шевеля, субтильные прутики, в рост человеческий, не выше.

«А это, - гордо сообщил Остроумов, - мои яблоньки. Я в позапрошлом году посадил зёрнышки, и вот, смотрите, какие красавицы взошли!» - «И когда же, Алексей Александрович, - поинтересовался гость, - они плодоносить-то начнут?» - «А вам, Василий Дмитриевич, - обиделся хозяин, - всё бы жрать!»...

Вскоре после выхода в восемьдесят третьем однотомника Овидия в переводах Шервинского «Художественная литература» вознамерилось было выпустить объёмистый том избранных переводов Сергея Васильевича. Покуда эта книга *маячила*, мы не раз обсуждали – какую она могла бы стать. В частности, не стоит ли после Катутла и Овидия дать «Римские элегии» Гёте и таким образом как бы обозначить переход от античности к *новой* европейской поэзии.

Выглядит логично. Когда бы не одно-единственное, но весомое возражение: сам Шервинский считал, что именно эта работа, которую в 1933 году издала «Academia», как он выразился, не вполне ему удалась. Казалось, на том разговор и закончился. И вдруг: «...Хотя, пока эта улита будет ехать, я, пожалуй, успею поправить «Элегии» и довести их до желательного состояния».

Как о деле решенном, само собой разумеющемся. На десятом десятке.

Несколько месяцев спустя выяснилось, что издание не состоится. «Элегии» остались нетронутыми...

А жаль. Не случилось третьего *возвращения* Шервинского в тридцатые годы.

В семьдесят третьем «Художественная литература» предложила ему переиздать перевод «Метаморфоз» Овидия, выпущенный издательством «Academia» в тридцать седьмом. Шервинский перечитал ту книгу – и ответил, что не может «подписать старую работу», что в сорок лет ещё не знал и не умел, *как надо* переводить, и теперь либо должен изрядно её переделать, либо не возражает, если издательство закажет перевод кому-нибудь другому.

Заказали... Шервинскому. И он, как сам говорил, «процентов на пятьдесят» наново переложил по-русски поэму в двенадцать тысяч строк. А когда книге пора было выходить, *пожертвовал* издательству итальянское издание, по которому работал, – чтобы «Метаморфозы» предстали русскому читателю с иллюстрациями Пикассо.

Несколькими годами раньше подобная участь постигла «Буколики» и «Георгики», которые та же «Academia» издавала в тридцать третьем: для тома Вергилия в «Библиотеке всемирной литературы» Шервинский практически заново перевёл эти поэтические книги о пастушестве и земледелии.

За год до выхода тома, читая в кругу поэтов-переводчиков фрагменты этих книг, Сергей Васильевич – в ответ на восторги слушателей – сказал, что его заслуги преувеличиваются, просто древнекитайские мыслители были правы: человек истинно созревает к семидесяти годам...

Шервинский родился на Пречистенке, в доме 17, некогда принадлежавшем отцу декабриста Ивана Бибикова, а в 1835 году купленным у него Денисом Давыдовым. Жили они в комнатах на втором этаже, если с улицы смотреть – слева от входа. Про дом этот много чего известно. И я легко выяснил, что именно эти комнаты в конце 1820-х годов снимала В. Я. Сольдейн, добрая знакомая Пушкина и Вяземского, у нее на балу Пушкин встречался-танцевал со своей будущей женой.

Рассказал про то Шервинскому. Он улыбнулся: «Я не знал. Да, признаться, не придаю этому особенного значения... Но всё же приятно что-то... щекочет. Хотя, вероятно, у нас у всех такое *щекотливое* отношение к Пушкину».

Несколько лет спустя я напомнил Шервинскому про тот разговор – когда он рекомендовал меня в Союз писателей. Сказал, что рекомендация поэта,

выпустившего первую книгу еще до Первой мировой войны, «приятно щекочет»...

Впрочем, упоминание о декабристе тоже не осталось без последствия. И я услышал рассказ о том, что семья Шервинских и с декабристами соприкоснулась довольно близко.

Дед Сергея Васильевича, Дмитрий Иванович, начинал с военной службы. И в конце 1840-х годов, будучи совсем еще молодым человеком, получил назначение - военным губернатором кавказского города Шемахи. Там он заболел малярией («лихорадкой») и, чтобы поправиться, перевелся, благодаря семейным связям «в верхих», в Тобольск, где служил помощником при генерал-губернаторе Западной Сибири князе П. Д. Горчакове.

И в пятьдесят шестом, в год освобождения декабристов из ссылки, именно он двум из них – М. А. Фонвизину и И. И. Пущину - первый сообщил об амнистии.

В семейном архиве сохранились письма к Дмитрию Ивановичу от жены Фонвизина, Натальи Дмитриевны. В одном из них даже намечалось путешествие – по освобождении – Фонвизиных вместе с Пущиным и Шервинским по России, обозначался маршрут. Однако поездка не состоялась. Фонвизин заболел и через год умер. А его вдова потом вышла за Пущина...

«У меня этих писем семь, - продолжал Сергей Васильевич. – Как-то я отправился в Ленинград, к историку Милице Нечкиной, главному нашему “специалисту по декабристам”, это было года в тридцатых, может быть, даже в двадцатых. И что вы думаете: не проявила ровно никакого интереса!» - «Да наши историки удивительно нелюбопытны». – «Ничего удивительного. Ведь вся наша история попала в руки Михаила Николаевича Покровского. Я его хорошо знал. Это был урод, – Шервинский помедлил, словно искал слово помягче, не отыскал и продолжил резко, - просто урод!»

Знаменитый, добавлю, тем, что именно ему принадлежит определение истории – как «политики, опрокинутой в прошлое»...

Ныне письма эти – в Московском Пушкинском музее.

Кстати, о ссыльных. Я упомянул однажды – в разговоре о Вяземском – работу Сергея Дурылина «Декабрист без декабря». Шервинский не был с нею знаком, предположил, что не обратил на нее внимания, видимо, потому что напечатана она под псевдонимом – «Ник. Кутанов».

А Дурылин писал ее... в ссылке – в Томске. Обнаружил в тамошней библиотеке нецензурованный набор собрания сочинений Вяземского и,

сравнивая с цензурованным изданием, пришел к выводам замечательно интересным и глубоким.

Опубликовал в двухтомнике «Декабристы и их время», изданном в 1931 году... «Обществом политкаторжан и ссыльных».

Исследованные им *цензурные разночтения* особо любопытны еще и потому, что собрание сочинений издавал муж любимой внучки Вяземского, Катерины Павловны, граф Сергей Дмитриевич Шереметев, близкий к Александру Третьему, тем не менее цензура безжалостно повымарывала многие записи двадцатых, тридцатых, сороковых годов...

«Да, эту работу я упустил, - повторил Шервинский. – Дурылин-то со мною был “на ты”. Мы дружили (чуть заметный нажим на «дружили» - *В. П.*). А вообще-то я к его трудам отношусь очень критически... Вот и в Коктебеле (легкий упор на «о» и жесткое, подчеркнуто звонкое второе «к» - *В. П.*), в *Волошинском обществе*, он на многих производил впечатление человека... легкомысленного. Все ведь знали, что он – недавний расстрига. Особенно его легкомыслие бросалось в глаза в сравнении с обликом жившего там тогда же Сергея Михайловича Соловьева. Однажды, когда мы затеяли “молодое веселье”, я отправился к Соловьеву и позвал его присоединиться. А он показал на свою короткую куртку и сказал, что “и так эти ризы слишком облегчены”»...

В шестьдесят пятом Шервинский с женой съездили в Италию. Конечно, не вдвоем – в группе писателей-туристов. Им это не мешало. По-итальянски Шервинский изъяснялся легко, гид не был надобен. И они с утра «отрывались от коллектива», бывали, где хотели.

В Генуе к ним в попутчики напросился Слуцкий. Зашли в пару музеев, в галерею Palazzo Rosso, побродили, разглядывая дома, по улицам и переулкам. День выдался жаркий. Устали, хотелось пить. Шервинский сказал, что через два квартала, направо, будет очень милая маленькая трагтория, можно выпить чаю.

Когда устроились за столиком, Слуцкий поинтересовался, откуда Сергей Васильевич знает это место.

«Я здесь уже раза два завтракал, - отвечал Шервинский, – в тринадцатом году»...

Летом шестидесятого в Тарусе Шервинский редактировал переводы Штейнберга из Топырчану. Книга получилась замечательная.

Когда несколькими годами позже Штейнбергу предложили в Гослите подписать договор на перевод «Потерянного рая», он, конечно, согласился, но при одном – непременно – условии: редактором этого перевода будет Шервинский и никто иной.

Возражений не последовало.

За двадцать лет знакомства Штейнберг, прекрасно знавший, что работаю обыкновенно до глубокой ночи, звонил мне по утрам лишь дважды. Один раз – прочитайте только что, ночью, сделанный перевод из Гейне. Другой, если не ошибаюсь, в семьдесят седьмом году – сообщить, что Шервинского ночью увезли в больницу и сразу – на стол. Тяжелая полостная операция. Восемьдесят четыре года – не лучший возраст для такого случая...

Часов до шести я сдерживал желание набрать номер. Потом не выдержал – позвонил. Но не Елене Владимировне, это боязно, ежели дело плохо – что говорить? – а в соседнюю квартиру, к дочери. Откликнулся ее муж, всемирно известный альтист Федор Серафимович Дружинин. Я осторожно спросил: «Как у вас дела?» – «Неплохо. Я был у Сергея Васильевича, он еще в реанимации. Мы поговорили минут сорок. Он мне рассказал, что лежал и размышлял о некоторых особенностях перевода "Потерянного рая"»...

И я задохнулся – не метафорически, буквально, воздух стал ртом хватать. От зависти. Понимая, что *так* – никогда не смогу.

Штейнберг умер в августе восемьдесят четвертого.

Тридцать первого декабря мы говорили о нем с Шервинским.

«Я хотел послать Наталье Ивановне телеграмму, но – вам покажется наивным – не решился это сделать, потому что не знал ее фамилии». – «Штейнберг. А в девичестве – Тимофеева». – «Я не был уверен в том, что она носит фамилию Аркадия Акимовича. Помню, когда мы с ним работали над "Потерянным раем", он говорил мне, что они с Наталией Ивановной *живут во блуде*». – «Ну да, они поженились – или, как принято выражаться, "зарегистрировались" – уже после "Потерянного рая", кто-то из друзей по этому поводу острил, что теперь Штейнбергу пора приниматься за "Возвращенный рай"». – «Мне Аркадий Акимович говорил, что надо бы, конечно, перевести, только поэма-то послабее»...

Из разговоров. О переводах с украинского. «Никогда их не делал. Слишком близкие языки. Три строки ложатся одна к одной, а четвертая всё портит».

Есть стихи столь *музыкальные*, что еще немного – и «сами запоются». И мнится: нет ничего проще, чем положить их на музыку.

Есть книги столь *зримые*, что словно «просятся» на сцену или на экран. Кажется, следуй внимательно и аккуратно тому, что написано, и написанное станет действием.

В обоих случаях провал много вероятнее успеха. И чем буквальной следование за написанным, *существующим*, тем безнадежней итог.

У стихов и музыки – разный звук. Чем полнее и *содержательней* в стихотворении звуковые и ритмические возможности слова, тем меньше «зазоров» для проникновения – извне – *интерпретации музыканта*, той мелодии, какая услышалась – при чтении – композитору.

С прозой – иначе, но не проще.

У театра/кино и литературы – различные, если угодно, *меры интимности*. Они стремятся к об-общению: зал – чем больше, тем лучше, шеренги кресел, локоть к локтю, вздох к вздоху, всякое переживание умножается на число зрителей... Она – раз-общает: один на один с книгой, и чтобы никто не мешал...

Принято думать, что основная трудность – ничтожный шанс *угодить всем*, совпасть с уже сложившимся у каждого читателя собственным представлением (то бишь разыгранным в воображении действием). Потому что у каждого – *свой*: Гоголь, Достоевский, Булгаков...

Шкловский писал о сложности сочинения и постановки – в советское время – комедий: попробуй рассмешить «сразу двенадцать инстанций»...

Есть и такое, но оно не причина – следствие.

Можно более или менее искусно передать – *что* написано. Неясно – существуют ли способы передать – *как*.

Простенький пример. В одной из новелл Кржижановского вскользь упоминается желтый *плат* на единственном окне в комнате. Бьющий в окно дневной свет делает этот *плат* золотым и тенями прочерчивает по нему *крестообразье* оконного переплета. Метафора чисто зрительная, однако ассоциативная паутина возникает и тянется от *слова*: «плат» (и «крест») – несение Креста – святая Вероника – Спас Нерукотворный etc. То, что подсознательно настраивает читателя на ожидающие героя в финале «крестные» страдания...

Изображение утрачивает полисемию слова. Направить ассоциации в то же русло, куда вел их текст, невозможно: иная знаковая система. Другой язык.

У книги и спектакля/фильма – разное *время*. В любом «описании» оно как бы сжимается, сворачивается до размеров текста (и срока чтения). Чтобы после развернуться, расправиться в читательском воображении, сознании, опыте.

Даже гениальный режиссер не может уделить знаменитому Толстовскому описанию дуба больше полуминуты, не рискуя наскучить зрителю, потерять его внимание. Сценическое/экранное время сконцентрировано по определению («продолжительность спектакля»), его условность задана, причем односторонне, от художника к публике. В отличие от читателя, зритель не может остановиться, помедлить, повторить, подумать, прежде чем двинуться дальше (и в этом смысле *синтетическое* «видео» все-таки ближе к чтению, чем к зрелищу).

Условность всего *зрелищного* времени словно бы делает «безусловными» его отдельные фрагменты-эпизоды (упустишь часть – не поймешь целого). Это время не может «развернуться» в зрителе – просто по иной природе своей, потому что было режиссером не «свернуто», а расчислено по хронометру.

Времена не совпадают – и совпасть не могут. Другой язык.

Стало быть, речь следует вести о *перевode* – с языка на язык, из одной системы знаков и образов в другую. Об одной из самых сложных проблем в искусстве, в интеллектуальном пространстве, в духовности.

Чем совершеннее *оригинал*, тем менее он *переводим*. И тем сильнее соблазн перевода.

«Я всегда точно знал, - записаны у меня слова Шервинского, - что даже самый лучший перевод неизбежно уступает оригиналу, *не может достигнуть* его. Не говоря уже – превзойти. Ну, а то, что в переводе можно сделать лучше оригинала, и переводить не стоит. Важно только чувствовать меру допустимого “проигрыша” оригиналу. Иначе этой истиной можно оправдать любой провал»...

Гений решает задачу, не задумываясь: имеет ли она решение. «Ромео и Джульетта» – *инсценировка* новеллы Матео Банделло. Сделанная, можно сказать, с *подстрочника*: Артур Брук перевел это сочинение на английский тридцатью без малого годами раньше...

По словам Шервинского, Брюсов часто *шлифовал* стихи на ходу, по пути с Цветного бульвара в «Метрополь» или обратно. Не *гулял*, а двигался из пункта А в пункт Б. И это мешало их пластическому совершенству: пространственное ограничение оборачивалось ограниченностью *прикладного* мастерства.

Однажды Шервинский проделал эксперимент: составил небольшой сборник из общеизвестных Брюсовских стихов, записанных/прочитанных... от конца к началу. Внутренне статичные, они легко поддались этому. *Сделанность* обратима.

От Брюсова, признанного вождя символизма, Шервинский за полтора десятка лет дружбы ни разу не слышал слова «символизм».

Брюсовские размышления о поэзии подчас поражали – неожиданностью. Например, когда Брюсов, которому Крылов, по тогдашним представлениям Шервинского, должен был совершенно быть чужд, внезапно стал говорить о высочайшем стихотворном мастерстве Крылова – и даже показывать на примерах. «А в устах Брюсова, - напомнил Шервинский, - *мастер* было одной из высочайших оценок».

«Я как-то спросил его, - рассказывал Сергей Васильевич: - “Валерий, вы верите в загробную жизнь?” Он ответил мгновенно: “Я не верю, я – знаю”... Вот в этом всё и дело. Валерий Яковлевич *знал* о Боге всё, что может знать

смертный, но не чувствовал его в себе, в душе. И потому его стихи, - помедлил, уточняя слово, - так... безблагодатны».

Эпитет получился резким. Но в интонации не было *оценки* – только мысль, которую интересно додумывать.

И после паузы: «Вы знаете, какими были последние слова Брюсова?» - «Нет». – «А это ведь очень важно – последние слова художника, поэта... У Брюсова: “Мои стихи”... Вот о чем мы только что говорили»... - «От чего он умер?» - «От воспаления лёгких». – «Поздно определили?» - «Да нет, сразу. Как только Брюсов вернулся из Коктебеля и слёг, я привёз к нему своего отца. Он пробыл у больного минут двадцать, вышел и сказал, что положение безнадежно. Я, как вот вы сейчас, тоже удивился – неужели ничего нельзя сделать? А он ответил, что организм Валерия Яковлевича так искажен, нет, он употребил слово “испорчен”, морфием, что любая попытка лечить только продлит мучения»...

И тут я сообщил Сергею Васильевичу, что могу, видимо, наконец, ответить ему на когда-то заданный вопрос о загадочной для него Брюсовской странности. Вскоре после революции Валерий Яковлевич, оставшийся без средств к существованию, *всерьёз* намеревался *поступить на службу* – бухгалтером... конного завода. А потом вступил в партию – и всё у него «наладилось».

Морфий подсказал, что никакой загадки нет: что бы вокруг ни происходило, на конном заводе, пока он существует, практически всегда есть наркотики – ими *успокаивают* чересчур впечатлительных жеребцов-производителей, ибо излишняя нервность может повредить их потомству. Отсюда, говорят, и пошло выражение «лошадиная доза».

Ну, а большевики о нём – в этом смысле – *позаботились*. Как *заботились* и о других *нужных* людях, страдавших тем же недугом. О Чичерине, например...

Из разговоров. Приехал к нему после службы – похвастался, что хорошо провел время. Готовил к печати статью о Ломоносове. Весь день просидел в библиотеке: читал Ломоносова, сверял цитаты.

«Ну и как?» – «Есть очень хорошие стихи». – «Но ведь немного?» – «Да много и не надо»... - «Тоже верно... А знаете, почему – есть? Умный человек был». – «У Пушкина их побольше»... - «Это потому, что Пушкин – *очень умный*»...

Осенью восемьдесят пятого Шервинский вернулся в Москву позже обычного, в конце октября, – переждал на даче в Кратове у старшей дочери, Анны, пока младшая, Катя, командовала затянувшимся ремонтом в его квартире. Всё бы ничего, да с обоими тем летом случились «перебои» (а с чем не случилось?), удалось добыть лишь нечто яркое, в крупных и пышных цветах. Делать нечего, пришлось оклеить ими, в том числе, естественно, кабинет.

Сергей Васильевич встретил, по обыкновению, на пороге, опираясь на палку, которую почтительно именовал «Григорием», улыбнувшись, сделал приглашающий жест в кабинет, где у окна Елена Владимировна поливала цветы: «Прошу в мой... будуар!» - «Серёжа! – укорила жена, - ну, что ты говоришь глупости!» - «Лёля, - парировал Шервинский, - не могу же я всё время говорить только умные вещи». И, устроившись за столом, добавил: «Только умный человек может позволить себе говорить глупости»...

Я как-то спросил его: какое из разнообразных занятий, которыми ему приходилось заниматься в жизни, было самым утомительным? «Разговаривать с дураками. Это – расточительство». – «Я тоже от них сильно устаю – чувствую, что сам глупею, тупею». – «Ну, вам это не грозит. Ведь у вас всегда есть возможность почитать после этого Вяземского или Баратынского – с *умными* поговорить»...

В то лето, в июне, я навестил его в Кратове. Он вышел на веранду вялый, с видом слегка сонным, сутулясь словно бы под пресловутым «грузом лет». На вопрос о самочувствии – не дань приличиям, но выяснение возможности заняться делами, - посетовал: «Как-то я в последнее время кисну. Ещё больше ослеп и почти совершенно оглох, но с этим странно: бывают дни, когда совсем ничего не слышу, а бывает и неплохо... Но что больше всего меня... нет, не угнетает, угнетаться тут уже нечего, печалит, огорчает, что ли, так это моё полное творческое бесплодие. За то время, что мы с вами не виделись, я могу предложить на ваш суд всего-навсего четыре приличных перевода»... Не виделись мы чуть больше месяца. Так что о «бесплодии» можно не особо беспокоиться...

Заговорили о Бараташвили. Давным-давно, в конце тридцатых годов, затеяли в Грузии конкурс на лучший перевод всего наследия (37 стихотворений и поэма) этого, как тогда говорили «грузинского Лермонтова». Все поэты, пожелавшие в конкурсе участвовать, получили идеально – *академически* – выполненные подстрочники. Замысел вскоре заглох – организаторы конкурса сочли переводы Пастернака заведомо наилучшими из возможных, к тому же имя переводчика, безусловно, обеспечивало успех всему предприятию. Папка с переводами Шервинского (и подстрочниками) пополнила его архив.

Я прочитал переводы, сравнил с подстрочниками и, будучи весной в Тбилиси, рассказал о них на одной из встреч в Союзе писателей. Там заинтересовались: почему бы и не издать «ещё одного» *полного* Бараташвили – в исполнении переводчика, так скажем, далеко не безвестного. Резонно рассудили, что репутации Пастернаковских *переводов-шедевров* уже ничто не повредит, а книжка может получиться вполне достойной.

С этим я и пришёл к Шервинскому. Он поинтересовался, насколько серьёзны те люди, с которыми велись переговоры. Долго молчал, перебирая мысленно какие-то свои соображения. Потом, *оформив* их, поделился: «Тут вот какой вопрос: а удобно ли мне, солидно ли мне – в моём возрасте и нынешнем положении – снова обращаться к грузинам, которые однажды – лет двадцать

назад – отвергли эту работу, хотя я считаю её сделанной чисто, аккуратно и добросовестно – и думаю, что, наряду с со знаменитыми переводами Пастернака, опозитивировавшего Бараташвили, имеют право на существование и мои, которые во многом ближе к подстрочнику и, смею думать, к оригиналу... Так что, может быть, оставить всё как есть?»

Всё так и осталось как есть. Без нашей помощи. В Тбилиси «передумали». Не из опасения ли, подозреваю, именно *близости* переводов Шервинского к подстрочнику – и оригиналу? Как знать...

А переводы эти не изданы по сию пору.

Кстати, именно в Кратове несколькими годами ранее возник и по большей части осуществился замысел переведённой Шервинским книги «Из Арабской классической поэзии»: два поэта VII-IX веков – Омар ибн Аби Рабиа и Абу Навас.

Шервинский подарил мне эту книгу в декабре восемьдесят третьего. Недели две спустя – на мои слова, что книга вышла удачная, – улыбнулся: «Наверно, потому что она – дачная»...

Вторым этажом Кратовского дома владела семья замечательного арабиста Исаака Моисеевича Фильштинского, который был помоложе Шервинского на четверть века. Вот они вдвоём, по-соседски, и коротали летние досуги, придумывая, продумывая, сотворяя книгу, прогуливаясь с нею за двенадцать-тринадцать веков от своей общей дачи.

Пойдём и посидим на берегу Евфрата,
Доколе ночь ещё созвездьями богата...

Учёный исчерпывающе консультировал поэта, снабдил книгу предисловием и примечаниями, с радостью воспользовался уникальной возможностью донести свою любовь к этим поэтам до русского читателя.

Однажды я вскользь назвал его «переводчиком». Шервинский тут же прервал беседу – поправил: «Я – поэт. А перевод – лишь *форма* моей работы. Переводчиков в поэзии нет и не может быть. Ведь поэзия непереводаема».

В декабре восемьдесят второго в Тартусском университете Лотмана спросили – считает ли он перевод *вообще возможным*? Он ответил мгновенно: «Конечно, нет. Но мы ежедневно делаем, осуществляем множество вещей, теоретическую невозможность которых ничего не стоит доказать»...

В споры о преимуществах перевода с оригинала, нежели с подстрочника, о возможности/невозможности хорошо перевести с языка, которого не знаешь, Шервинский никогда не вмешивался. Для него всё это было несущественно. Главное: тот, кто берется переводить – стихи ли, прозу, без разницы, – должен, обязан превосходно знать язык, на который он переводит. Остальное – дело таланта, опыта, интуиции. *Угадать* множественные смыслы сказанного

Верленом или Гёте, при знании французского или немецкого, подчас ничуть не проще, чем, не зная армянского или арабского, вникнуть в сочинённое Туманяном или Абу Навасом. Правда, во втором случае надобно располагать первоклассно сделанным подстрочником и возможностью посоветоваться со *знатоком* – филологом, историком именно этой литературы.

Интуиция Шервинского, верно служившая ему в переводах, подчас и за пределами этого занятия выдавала эффект совершенно загадочный.

В начале зимы семьдесят третьего я набрёл у букиниста на роман Шервинского «Ост-Индия», изданный сорока годами ранее. Купил книгу, о существовании которой прежде не слыхивал. И отправился к автору – удовлетворять любопытство: с какой такой стати ему вздумалось сочинить *роман*, да ещё – Голландия, семнадцатый век, самый яркий в истории этой страны и поистине *золотой* в её литературе (отмечу в скобках, что роман оказался – не оторваться, и написан хорошо).

Шервинский рассказал, что на пороге своего сорокалетия он задумался; чего ещё *не делал* в литературе. Разве что романов не писал.

И написал.

Через несколько лет – у того же, к слову, букиниста, в Камергерском, - выловил я второй экземпляр. Подарил Витковскому. А он как раз в ту пору общался с приехавшим поработать в московских архивах голландским русистом Яном Паулом Хинрихсом. И дал ему почитать. Яну Паулу роман понравился, а знание автором голландского языка и литературы поразило. Потому что, сказал он, в романе явно использованы мемуары некоего голландца семнадцатого века, с него и главный герой написан. Мемуары те в последний раз издавались очень давно и на другие языки не переводились.

Я рассказал про то Шервинскому, добавив, что и не подозревал о его познаниях в голландском. «Ни одного слова! - отчеканил Сергей Васильевич. – Я и о книжке той впервые слышу. А пользовался совсем другой, французской, откуда взял кое-какой *материал*, остальное, включая главного персонажа, придумал. От начала до конца».

Из разговоров. Май восемьдесят второго. «Вот, в машинке, - лист, где осталось перевести последние две строки Катулла. Это будет полный Катулл в моём переводе. Первый перевод из него я сделал семьдесят один год назад. И все эти годы я читал его и любил его больше всех – вместе с Пушкиным, не вместе – наравне. И так с ним сжился, что, появившись он сейчас здесь, обратился бы к нему запросто: “Валерий”... В одиннадцатом году я перед ним, можно сказать, благоговел»...

Книга вышла в восемьдесят шестом.

Ни полного Катулла, ни Овидия, да и вообще абсолютного большинства переводов, ни Пушкинских штудий, вообще *литератора* Шервинского могло и не быть.

Он рассказывал, что, завершая в девятьсот тринадцатом учение в Московском университете, чётко спланировал своё будущее. Будущее историка искусства – живописи, скульптуры, архитектуры. Составил план: после университета отправиться в Вену и, *доучившись* несколько лет у профессора Йозефа Стжиговского, остаться в тамошнем университете – преподавать.

Таково было *практическое* впечатление от прочитанных им в самом начале десятых годов книг Стжиговского «Восток или Рим» и «Малая Азия».

Шервинский говорил, что считает Стжиговского «Коперником искусствознания», что его труды перевернули всю махину бытовавших тогда представлений о развитии средневекового восточно-европейского, да и вообще всего европейского искусства, шире – культуры. Он доказал, что истоки христианской культуры тянутся не от Рима, как полагали до того, что в основе христианского искусства – доминировавшего, наряду с готикой, византийского – лежит восточное – философское и художественное – мышление, прежде всего, арабское, но не только. Античность по-настоящему *открыта* была позже, всколыхнув прокатившуюся по Европе трехвековую волну Ренессанса.

Ныне сие общепонятно. Но для понимания понадобилось не одно десятилетие.

План не осуществился – началась Мировая война. И отрезала Шервинского, цитирую, «от всей классики европейского искусства». Заниматься исследованиями по репродукциям и копиям он счёл несерьёзным, ограничиться русским искусством – односторонним.

И ушёл в литературу.

Однако у поэтов *созвучия*, даже самые отдалённые, возникают словно бы сами собой.

Когда между выходом «Метаморфоз» Овидия и завершением работы над Катуллом появляются переводы из Омара ибн Аби Раба и Абу Наваса.

Или когда он, «на заре туманной юности» сочинивший нашумевшую среди знатоков работу «Венецианизмы в архитектуре Архангельского собора Московского Кремля», с которой, собственно, и началось обстоятельное изучение «итальянизмов» в Кремлёвской архитектуре, в тридцатых и сороковых годах, по приглашению Ивана Владиславовича Жолтовского, ведёт в Архитектурном институте семинар «Средневековая армянская архитектура».

«Италии было суждено, - писал Стжиговский в книге «Восток или Рим», - вторично познакомить Европу с восточноарийским куполом... Возрождению суждено было признать существенное преимущество простого армянского купола и на длительное время дать ему место в европейской архитектуре»...

Отсюда, думается мне, тот неослабный и всеобъемлющий интерес Шервинского к Армении – к истории, быту, архитектуре, живописи, литературе. Здесь – место *пересечения* Востока и Запада, вещные признаки целостности той культуры, в которой он был взращён и воспитан, в которой он жил...

Он любил Армению.

За буйную щедрость Араратской долины, где всё словно бы *само* – растёт, цветет, плодоносит.

И за то, что она же, Армения, – нагорье Ширак, лоскутки пригодной для посева земли среди выжженных солнцем камней. Эту землю приходилось носить на себе от подножий, из крохотных долин, и поить её водой, которую надобно сюда возить, иначе – пустыня.

И за то, что большинство армянских поэтов и художников – из Ширака...

Над книгой «От знакомства к родству», единственной у Шервинского – при жизни - книгой *избранного*, мы с Сергеем Васильевичем работали больше двух лет. Он не раз повторял, что спешить ему уже некуда и что сделать эту работу хочет с особою тщательностью, придти к читателю так, как никогда прежде не доводилось. И уйти...

Торопить его я не пытался, да и как прикажете поторапливать поэта, которому – за девяносто ...

А началось всё осенью восемьдесят первого. Будучи в Ереване, я поинтересовался у одного из моих тамошних *литературных* друзей: как в Армении намереваются отметить близящееся девяностолетие Шервинского, последнего *живого* участника легендарной Брюсовской антологии армянской поэзии, друга Исаакяна, Сарьяна, да какое из ярких имен ни назови, любое окажется тесно связано с Шервинским. Выяснилось, что про то как-то не подумали. Конечно, позовут, поздравят и прочее, но ведь он бывал тут уже десятки раз, ну, опять послушает разные замечательные слова о себе, ничего особенного, нового ...

Так возникла мысль – издать в Армении книгу Шервинского – такую, какой никогда не было, какую он сам хотел бы увидеть. Ведь он, переведший десятки тысяч чужих строк, тоненькую книжку собственных стихов издал только раз, семьдесят лет назад, переиздал, правда, за собственные деньги в двадцать четвертом году, но это – не в счет.

Понятно, к юбилею с изданием не поспеть. Однако сама работа над подобной книгой – чем не *юбилейное* занятие для поэта?

Однако в насквозь *плановом* хозяйстве все механизмы, как известно, были на диво неповоротливы. Издательский – не исключение. Потому говорить с ним о будущей книге мне довелось только весной восемьдесят третьего. Он согласился, Но выдвинул два условия. Первое: работаем над нею вместе, вдвоем. Он – автор, я – составитель, редактор, первый читатель, наконец. Второе: вступительный очерк пишу тоже я. На возражение, что в самой Армении наверняка есть люди, знающие его дольше и лучше, ответил: «Были. Все уже умерли»...

Работа над книгой была *сладкой*. Буквально.

Обыкновенно, бывая у никогда не курившего Шервинского, я не курил. Визиты недлинные, дабы не утомить, – час-полтора, перетерпеть нетрудно. Но, предположив, что беседа о книге может затянуться, так и вышло, прихватил с

собой плитку шоколада, эта «замена табаку» не раз меня выручала. Во время разговора достал, разломил, предложил хозяину. Он поинтересовался: «Вы любите шоколад?» - «Очень. Я вообще сладёна».

И с тех пор каждую нашу встречу открывал ритуал. Стоило нам устроиться: он – в деревянном рабочем кресле с гнутыми подлокотниками, я – в мягком, сбоку от стола, - Сергей Васильевич выдвигал ящик, доставал блюдце с разломанной на квадратики плиткой и водружал её на угол столешницы.

Потом брал нож для резки бумаги. Это означало, что готов к работе. Слушая собеседника, задумчиво вертел нож в пальцах, но, когда звучали стихи, повороты ножа становились графичней: острием вверх – вниз, вверх – вниз, словно включаясь в ритм звука...

Позже, правда, выяснилось, что дым табачный его нимало не беспокоит, а трубочный даже нравится.

... Начали, как водится, с архива. Тут на первых порах изрядно помог Евгений Витковский, готовивший в то самое время для издательства «Прогресс» книгу избранных переводов Шервинского – в серию «Мастера поэтического перевода» (каковая серия на этой книге и закончила свое существование). С головою зарывшись в бумагах, он вдруг обнаружил пачку стихов Шервинского, сшитую и переплетенную им самим в 1940 году.

Сергей Васильевич с недоумением взял находку в руки, полистал – и заявил, что впервые сие видит. И даже никогда ни о чем подобном не слышал. С неподдельным интересом разглядывал «раритет», всем видом своим демонстрируя полное отсутствие понятия: что это такое? и откуда могло взяться в доме, тем более – в его кабинете?

Играть он умел превосходно – и с видом совершенно невозмутимым, всерьёз, и знаешь, что *игра*, а поверишь.

Упомянул я как-то Эренбурга, уже не помню, по какому поводу. Шервинский головой покачал и сказал, нет, изрек: «Илья Григорьевич был очень плохой человек». – «?» - «У него была старшая сестра, и ей – к выпускному гимназическому балу сшили первое “взрослое” платье. И когда она это платье перед балом примеряла, Илья Григорьевич *умышленно* опрокинул на него баночку сардинок»...

И то, что Илья Григорьевич после этого прожил еще лет семьдесят, написал десятки книг, дружил с лучшими поэтами и художниками столетия, вроде бы, ни имело ни малейшего значения по сравнению с этим вопиющим проступком.

Тут важно не попасться на крючок спора – Шервинский только этого и ждет. И сдвинуть себя с «убеждения» не даст ни на микрон...

Или другой случай. Спросил его о Сигизмунде Кржижановском. «Это кто?» Я объяснил. «Впервые слышу», - так твердо и убедительно.

Ну, не рассказывать же ему, что читал я протоколы заседаний Шекспировского кабинета ВТО и что отлично знаю: там, у Михаила Михайловича Морозова, в сороковых годах, во время войны, еженедельно собирались литераторы и театроведы, и Кржижановский выступал с докладами чуть ли не через раз, и выступления эти подчас обсуждались довольно бурно, и, наконец, что среди участников этих обсуждений завидным постоянством отличались Ланн, Маршак, Шенгели, Михоэлс, Дживелегов и... Шервинский.

Остается только гадать – почему *не захотел вспомнить?*

И уж совсем несладко приходилось тем, кто были с Шервинским едва знакомы.

Кажется, в восемьдесят седьмом ему присудили премию имени Егише Чаренца. Позвонили из Еревана, сообщили-поздравили, сказали, что понимают – приехать он не сможет, трудно (получать премию отправились внучка с мужем), и попросили – нет, не речь, всего несколько слов, которые прозвучат при вручении, на днях пришлют молодого человека, в Союзе писателей служит, он запишет на магнитофон. Всё это Сергей Васильевич мне пересказал, предваряя просьбу – приехать назавтра, немного раньше ереванского визитера, он хотел бы узнать моё мнение о сочинённом тексте, ну и хорошо, если бы я мог при записи присутствовать.

Я приехал. Послушал. Сказал, что, пожалуй, «розыгрыш» чересчур жесток. «Никакой не розыгрыш». – «Да, по́лно»... - «Сами увидите».

Появился гость. После приветствий и поздравлений расположился у окна, за столиком, проверил магнитофон. Подал знак, что готов записывать. И Шервинский выдал заготовленное: «С большим удивлением, - раздельно четко проговорил он, - я узнал о присуждении мне премии имени убитого вами поэта Егише Чаренца. Поэтому о моей благодарности не может быть и речи».

И замолчал.

Немая сцена длилась и длилась. Три минуты молчания. Потом молодой человек, слегка заикаясь, выдавил из себя, что это... ну, в общем... то есть... И тоже замолчал.

И тогда Шервинский сжалился над ним. «Ну, хорошо, давайте попробуем иначе. Включайте свою машину». И тут же, сразу набело, без «дублей», записал трехминутное выступление, каковое потом и прозвучало в Ереване...

Кстати, о магнитофоне. Я сразу предложил записывать наши беседы, хотя бы наиболее *информативные* куски. Чтобы мне потом легче было их использовать – в очерке. Шервинский отказался наотрез. Сказал, что не желает разговаривать со мной *при свидетеле*. К тому же – подчеркнул - *механическом*.

Потому всякий раз, выйдя от него, тут же, на скамейке у подъезда, торопливо писал, стараясь дословно, самое, по мне, важное из услышанного, а потом, в метро, по пути домой – от Лужников к Сокольникам – воспроизводил и весь *сюжет* минувшего вечера. Из тех листков и перекочевала в нынешние заметки вся *прямая речь* наших диалогов.

«А напротив, на Новодевичьем, похоронены все мои предки», - закончил однажды Шервинский рассказ о том, что вся жизнь прошла «по прямой», от Пречистенки, 17, где родился, через собственный дом отца, а затем его самого, более полувека в Троицком (Померанцевом) переулке, что напротив некогда знаменитой Поливановской гимназии, сюда, к Новодевичьему.

... Довольно быстро сошлись на том, что в книгу войдут: оригинальные стихи, античные переводы, армянские. В *прозаическую* часть: примерно четыре пятых небольшой книги-рукописи «Около театра» - о работе во МХАТе во второй половине двадцатых годов, воспоминания, путевые очерки – и поездках в Италию и Северную Африку.

Сомнения – на каждом шагу.

О стихах. Перечитывает вслух строфу из «Бахчисарая»:

Странно, что из этих комнат ломких,
Залюбясь с царицей не тайком,
Руси всей Таврической Потёмкин
Угрожал ленивым чубуком.

«Вот против этого стихотворения мои домашние возражают: Потёмкин никому не угрожал». – «Пускай остаётся». – «Пускай»...

Заодно – по ассоциации – пускаемся в разговор про то, что *атрибуты* угрожающие в русской поэзии бывали весьма неожиданными: от Пушкина («...Но оба с *крыльями* и с пламенным мечом, И стерегут...и мстят мне оба»...) и до Чуковского («...И *усами* шевелит»...).

Об античной поэзии: «...Но у меня нет Гомера». – «Но есть его римские *отражения* - в Вергилии и Овидии».

Не говоря уже о своего рода «армянской Одиссее» - «Давиде Сасунском».

О мемуарах: стоит ли включать очерк про Ахматову? кто его прочитает в этой книжке? «Тот, кому нужна Ахматова, найдет напечатанное о ней не то, что в Ереване, но и на дне морском». – «Пожалуй»...

Впрочем, ещё до выхода книги воспоминания Шервинского сыграли некоторую роль в судьбе Ахматовского наследия.

Узнав от Эммы Григорьевны Герштейн о подготовке к изданию двухтомника Ахматовой, я поинтересовался: включен ли во второй том, где проза и переводы, текст последнего публичного выступления Ахматовой – «Слово о Данте», прочитанное ею девятнадцатого октября 1965 года в Большом театре, на вечере, посвященном семисотлетию со дня рождения автора «Божественной комедии». С характерной для неё безапелляционностью она

ответила, что никакого «текста» в архиве нет, его не существует и никогда не было, что Анна Андреевна говорила без листков, нечего искать. Я возразил, что, по свидетельству – письменному – Шервинского, текст был за несколько дней до выступления читан ему «по тетрадке» и что они тогда же – вдвоём – сделали в нём небольшую композиционную поправку.

Отыскать тетрадку не удалось, но сам поиск привёл в Центральный государственный архив звукозаписей, где обнаружилась полная фонограмма того вечера. И по ней «Слово о Данте» было воспроизведено в книге – с единственной мелкой *лакуной* из-за дефекта записи...

Отступление об Александре Кочеткове. Прочитав «Ахматову в ракурсе быта», я стал спрашивать Шервинского о Кочеткове, который в этих мемуарах – один из ярких персонажей.

«Прежде всего, - спросил Сергей Васильевич, - вы когда-нибудь видели его портрет?» - «Никогда». – «А это важно. Мы с ним как-то раз навещали нашего друга в психиатрической лечебнице. Потом Александр Сергеевич вышел, а я задержался с врачом – переговорить. И он предложил мне на некоторое время положить к ним Кочеткова. Его нервность и готовность “отсутствовать” бросались в глаза. Да, сами увидите, сейчас найдём».

Перебираем альбомы, пока не находим «Армянский» тридцатых годов. Часть его посвящена «бригаде», переводившей тогда «Давида Сасунского»: Владимир Державин, Александр Кочетков, Константин Липскеров, Сергей Шервинский. Далее – ещё несколько фотографий, где можно разглядеть Кочеткова, но не столь отчётливо, как на первой. Впрочем, всюду видно, что горло его нигде не перехвачено застёгнутым воротом сорочки, и возникает ощущение – если застегнуть воротник, он тут же задохнётся от *горла перехвата*, неестественное дыхание читается как неперемнное условие самого существования его. В лице – напряжение, не смягчаемое улыбкой, крупные, несколько вялые губы, черты не особенно тонки, однако нервность и впрямь бросается в глаза, даже в этой фото-статике.

«Мы познакомились с Александром Сергеевичем в конце тридцатых годов. Его прислал ко мне Липскеров». – «А почему? Чем он Липскерова привлёк?»

Вопрос, как потом соображаю, сформулирован неосторожно. Следует пауза. Потом – решительно: «Нет-нет! Известный *блудник* Константин Абрамович Липскеров, насколько я знаю, *с этой стороны* Кочетковым никогда не интересовался».

Стихи Кочеткова понравились Шервинскому. И когда он набирал «бригаду» для работы над армянским эпосом, пригласил в неё и Кочеткова. «У него был, знаете ли, замечательный *аппарат* для стихосложения – и, разумеется, для перевода. Правда, для запуска этого *аппарата* требовалось довольно много “горючего”, как это обыкновенно бывает с алкоголиками. А Кочетков болел алкоголизмом в тяжёлой форме. Это была болезнь наследственная, от отца. И она, в конце концов, разрушила его здоровье. Правда, немалую роль тут сыграло то, что, начав заниматься переводами в

Армении, Александр Сергеевич вскоре перебрался в соседнюю Грузию, где поэты, желавшие, чтобы он переводил их, весьма энергично спаивали его»... - «Ахматова знала его стихи?» - «Нет, никогда не слышала. Они встречались, когда Анна Андреевна жила у нас в Старках, а Александр Сергеевич обитал поблизости. Но, вероятно, он, болезненно застенчивый, не рискнул почитать ей стихи».

Он мало и неохотно рассказывал о себе. Шервинский смог припомнить немного: что Кочетков родом «откуда-то из Поволжья» и что в нём было довольно много немецкой крови. «Язык он знал с детства, и знал превосходно. И вообще в нём легко можно было обнаружить нечто *немецкое*. Он был романтичен, но, я бы сказал, *по-немецки* романтичен. С тягою к красивым вещам в ближнем своём окружении – и с беспомощностью в практической жизни, что странным образом уживалось в нём в замечательной работоспособностью. Деньги у него не задерживались – и не потому, что пил, просто я нередко в жизни встречал таких особенных людей, которые, сколько бы ни зарабатывали, почти всегда были без денег, порода такая, что ли»...

Этот мотив был мне знаком. Однажды мы разговаривали о Грине, и на фразу мою, что Грин в Крыму обыкновенно бедствовал, потому как пил, Шервинский возразил, что это никак не могло быть причиною. Ведь в двадцатых годах Грин много печатался, даже собрание сочинений выпускал, а гонорары тогда были щедрыми: «Я, тогда зарабатывал переводами больше, чем когда-либо до или после». И заговорил про эту *необычную* породу людей, у которых деньги словно бы утекают сквозь пальцы...

«Отношения Кочеткова с женой, Инной Григорьевной, всегда мне были не вполне ясны. На мой взгляд, она мало подходила ему. Делами его поэтическими не интересовалась, за исключением, пожалуй, заработков. Была озабочена тем, чтобы жить “в достатке”, который понимала... довольно широко. Но он перед нею романтически благоговел, видел в ней ни на кого не похожее, *неземное* существо, даже, если мне не изменяет память, оставался с ней “на вы”... На окружающих, я уже говорил, он производил впечатление странное. Например, тем, что однажды появлялся в роскошном зимнем пальто, а в следующий раз – буквально в лохмотьях, и прежнего пальто на нём больше никто и никогда не видел»...

Подобные мемуарные ответвления в работе над книгой случались нередко. Шервинский охотно пускался в эти прогулки по временам отдалённым. Удивительно сейчас думать, что мы оба совсем не спешили. Хотя Сергей Васильевич не раз повторял: «Возраст такой, что нельзя загадывать даже на несколько месяцев»...

О переводах из Исаакяна, их довольно много. «Здесь надо быть осторожным. Я ведь однажды дал часть этой работы ныне покойному Анатолию Сендыку, ему тогда печататься не удавалось, а зарабатывать надо. Я и подписал его переводы. А некоторые мы вообще делали вместе – две строки он, одну я». - «Буриме?» - «Примерно так».

Показываю, что выбрал. «Почитайте-ка вслух». Вслушивается пристально. Комментирует: «Это, пожалуй, я... Нет, определенно я»...

И тут же вспоминает, как Исаакян однажды показал ему фотографию, где снят был между одиозным профессором-литературоведом и тогдашним председателем Союза писателей Армении: «Посмотрите, среди каких разбойников я запечатлен»...

Зная о портрете Шервинского работы Сарьяна, говорю, что хорошо бы дать его в книге, «для Еревана» - что может быть лучше? «Ни в коем случае?» - «Почему?» - «Совершенно неудачный. Думаю, что Мартирос Сергеевич написал его не столько из интереса к "натуре", сколько по долгу – долгих нашим с ним отношений. Вот и не получилось». Уговариваю, не без труда, всё же показать мне портрет. И убеждаюсь, что Сергей Васильевич прав...

О переводах. Выбирает придирчиво. Говорит, что и в Армении иной раз приходилось переводить не только то, что хочется, но и только для заработка.

Отвлекается, несколько минут роется в столе и протягивает небольшую папку. В ней – рукопись тридцатых годов: перевод – не помню, с какого языка, - стихов автора, о котором я ни до, ни после никогда не слыхивал, потому и не запомнил. Вверху слева – чуть наискосок – приписано: «Это я сохраняю как свидетельство, чтобы знали, какую дрянь нам приходилось переводить. С. Ш.».

Ну, а раньше, в начале двадцатых, когда переводы еще не могли прокормить, чем зарабатывали, спрашиваю. По-разному. Например, создали училище, где преподавали Флоренский, Жолтовский, Габричевский, Шервинский и другие...

Я предложил заканчивать переводной раздел книги «К Мельпомене» Горация.

Создал памятник я, бронзы литой прочней...

Далее – собственные стихи. «А не рискованно?» - «Кто не рискует»... - «Да. Тем более, *беда-то* в том, что это стихотворение у меня *получилось*».

Несколько лет прослужил он ученым секретарем Музея изящных искусств, куда привел его Владимир Константинович Мальмберг, заступивший на директорское место после смерти Ивана Владимировича Цветаева.

Тогда, в двадцатых, музей едва дышал. И заправляли в нем не учёные, а так называемый «младший персонал» - рабочие, грузчики, уборщицы, одно слово, пролетариат. Любого, кто им не нравился, могли уволить, «вывезти на тачке». Буквально: силою погрузить на тачку, выкатить за ворота и вывалить наземь. Решение окончательное, обжалованию не подлежащее.

Однажды подошел к Шервинскому сотрудник, у которого судьба складывалась трагически: жена тяжело болела, единственный брат уже

несколько месяцев сидел на Лубянке в камере смертников и прочее в том же русле. Сказал, что подслушал случайно, как рабочие сговаривались его «вывезти на тачке». А это – конец, и так заработка еле-еле на самое насущное хватает. Шервинский согласился с ними поговорить, заступиться. «Они знали, – пояснил, – что мой отец – известный врач, а в простом народе ещё сохранялось почтение к врачам, даже робость перед ними, и на меня это их чувство каким-то образом распространялось».

Спустился он в подвал, попросил не трогать и без того несчастного, уговорил.

«Возвращаюсь, прохожу через Греческий дворик. Стекланный потолок разбит. Морозно. Снег валит на античный “мрамор”... Он помолчал. И с внезапную страстью выдохнул: «Ох, и гнусное было время!»

Из разговоров. Упомянул я Шенгели, архивом которого тогда занимался. И Шервинский рассказал, как однажды Георгий Аркадьевич позвонил ему очень взволнованный и попросил разрешения срочно приехать.

Дело было в пятьдесят втором. Только что в «Новом мире» появилась статья Ивана Кашкина «Традиция и эпигонство». Обвинение «русскоязычных» (сей *термин-эвфемизм*, на авторство коего в семидесятых годах претендовал Вадим Кожин, впервые употреблён был именно Кашкиным – и много раньше – в пору «борьбы с космополитизмом»), русскоязычных, повторю, переводчиков – Шенгели, Ланна и им подобных *носителей* русского языка и нерусских фамилий – в *намеренном* искажении западной классики.

Шенгели досталось особо: ему Кашкин инкриминировал окарикатуривание образов Суворова и русских солдат в переводе Байронова «Дон Жуана» (к слову, выполненном – и опубликованном – пятью годами раньше). Это походило на донос. Да и было таковым: Суворов относился к наиболее почитаемым Сталиным историческим фигурам.

Шенгели появился скоро, запыхавшийся, и, не успев толком отдышаться, сообщил, что собирается... вызвать Кашкина на дуэль. И хочет посоветоваться – как это сделать? «А почему – со мной?» - «Ну, как же! Ведь вы – дворянин. И должны знать».

Понимая, что такой поступок еще опаснее для Шенгели, чем печатные Кашкинские инсинуации, но что этот довод едва ли подействует на разгорячённого собеседника, Шервинский не стал спорить. И заговорил рассудительно. *По-дворянски.*

Дуэль с доносчиком, сказал он, для дворянина невозможна. Она – бесчестье, признание равенства своего с доносчиком. И добавил: «С дворниками не стреляются».

Упоминание дворника пришло на ум по ассоциации. Задолго до семнадцатого года все дворники были связаны с полицией, осведомляли её о подозрительных жильцах и вообще о происходящем в околотке. Об этом все знали. И *связью* этой нередко пользовались. «Когда я, совсем ещё юный, впервые собирался в Италию, – вспоминал Сергей Васильевич, – отец дал

дворнику то ли три, то ли пять рублей, и тот через несколько дней принёс из участка мой заграничный паспорт».

При большевиках осведомительская роль дворников сохранилась. Но без *обратной связи*. Когда в шестьдесят пятом Шервинский с женой собрались в Италию, им пришлось пройти совсем иную процедуру получения паспортов...

...Сравниваю его очерки с «Обрами Италии» Павла Муратова. «Я тоже люблю эту книгу. А вы знаете, я ведь с Муратовым был хорошо знаком. Даже дружил. И в этом кресле, где вы сидите, он у меня сживал»...

Отступление о кресле. В один из ранних моих визитов, в середине шестидесятых, Шервинский, выслушав стихи, заметил, что я очень точно, хотя и неосознанно, выбрал – где в его кабинете устроиться. Потому что именно в этом кресле, что я облюбовал, сживали Брюсов, Ахматова, Пастернак, Волошин, Ходасевич, Белый, Кузмин, Шенгели... Квартира была другая, но кресло – это самое. И, увидев, что я нервно ерзаю, добавил, что не к тому говорит, чтобы сравнивать или меня смутить, но просто: еще один поэт читает ему стихи, сидя в этом кресле...

К декабрю восемьдесят третьего непросто складывавшаяся композиция *ереванской* книги, наконец, прояснилась. Мы стали составлять раздел оригинальных стихов, изрядная часть коих прежде не печаталась.

И тут началась редкостная *торговля наоборот* – между поэтом и редактором: первый стремился как можно больше стихов *выключить*, второй – *включить*. Шервинскому хотелось предстать читателю, дословно, «без слабых мест», я возражал, что отсутствие *слабостей*, которые, впрочем, весьма относительны, лишает книгу, как бы поточней, переменчивости дыхания, что ли, а ведь оно едва ли на протяжении семидесяти лет *сочинительства* было одним и тем же.

Стал читать отобранные Шервинским стихи – и наткнулся на удивительную правку одной из сильнейших, по-моему, сонетных концовок в цикле «Озарённый». Вместо: «Мне возврати свободу заблуждения» - «Мне возврати способность заблуждения». Сказал, что не согласен - потерял второй, очень важный, смысл – потому что разрушен устойчивый фразеологизм «возврати свободу». Он спорить не стал: «Ну, восстановите. Моя внучка будет довольна. Она тоже считает, что “свободу” – лучше».

Летом того года Елене Владимировне нездоровилось, она впервые не смогла сопровождать Сергея Васильевича в очередной его поездке в Армению. И с ним туда отправилась Елена Фёдоровна, Лёля, дочь Екатерины Сергеевны.

Во всех *пригласительных* бумагах было сказано: «С. В. Шервинский (с внучкой)»,

Начало января восемьдесят четвертого. Шервинский уже «окончательно» отобрал стихи для книги. «Думаю, что мне нужна неделя, не больше, чтобы

сформировать ”поэтическую часть” - и представить ее вам на утверждение, или, как сейчас любят говорить, хотя мне это не нравится, на “добро”, то есть, если вы дадите “добро”)... - «Завизирую». – «Именно... Можно тогда будет отдать переписчице. Ведь мы договорились, что там будет стихотворений шестьдесят». – «Семьдесят». – «Это вы сказали семьдесят». – «Нет, я сказал семьдесят-восемьдесят» (в итоге, замечу, их оказалось восемьдесят восемь) – «Забавная у нас торговля»...

И тут я рассказал ему историю про торговлю еще более занятную.

Когда Штейнберг впервые привез к Борису Свешникову Георгия Костаки, тот выбрал одну из картин и предложил за нее восемьсот рублей, деньги по тем временам немаленькие. И тем большие, что Свешникову и жить-то не на что было, это потом он стал сносно зарабатывать – оформлять в Гослите книжки. «Да, я знаю Свешникова по Тарусе», - вставил Шервинский. «Верно, он же тарусянин». – «Именно тарусянин». Так вот, художник поглядел на выбранную вещь очень внимательно, подумал и сказал, что она стоит... четыреста. Начался, думаю, самый удивительный торг в истории живописи. Коллекционер, с видимой неохотой и понемногу сбавляя цену, хотел заплатить побольше. Но художник стоял на своём. И настоял.

На это Шервинский заметил, что знал подобного человека. В Коктебеле. По фамилии, если верно помнится, Крункель. У него там было что-то вроде лавки. Все коктебельцы его знали, обыкновенно ходили к нему за пирожными. Он, однако, не только продавал, но и покупал. Приходила какая-нибудь московская девушка – продать что-то из мелочей, чтобы в Москву не везти, кувшин какой-нибудь, на базаре прежде купленный. Он повертит его в руках: «Сколько вы за него хотите?» - «Да, рубль»... - «Ладно, дам вам два». Ну, и с пирожными – то же самое. Приходишь к нему: «Пирожные есть?» - «Есть, - отвечает. – Но не советую». В другой раз: «Дайте десять пирожных». – «Лучше возьмите пять»... Не мудрено, что он с такой торговлей прогорел. А прежде был издателем, в начале двадцатого века Маркса издавал. Не исключено, что и читал издаваемое. «Капитал», например...

В той книге есть одно стихотворение, которое очутилось там неожиданно для автора. Вот оно.

А можно, глядя на скворешню,
На ряску сонную пруда,
В духу крапив и яблонь здешних
Просозерцать свои года.

Лишь изредка, под облаками
Оставшись за полночь одна,
Неостывающая память
Луной спускается до дна.

1985

Шервинский прочитал мне его весною восемьдесят пятого, когда книга в Ереване уже была почти готова. Сказал, что оно «бродило» у него в голове лет двадцать, а то и больше. И, наконец, недавно дописалось. На десятом десятке.

Я, почти отвыкнув запоминать стихи – целиком – *с голоса*, сбился в пятой строке (повторяя про себя, чтобы не ускользнуло). И попросил Сергея Васильевича повторить. «А вам зачем?» - «Хочется». – «Мало ли чего вам хочется». Но – повторил.

Не мог же я ему признаться, что сразу решил «втихую» вставить стихи в книжку. С датой.

Что и было сделано несколько дней спустя – по телефону.

Шервинский говорил, что пишет кратко и просто потому, вероятно, что уже не может писать длинно. И тут же себе возражает: «С краткостью нужно осторожно обращаться – она всегда грозит перейти во что-то иное, в искусстве не очень желательное»...

Граница между несказанным и сказанным едва обозначена. Сам не заметишь, как переступишь.

Мы про то беседовали несколько раз. Меня раздражало обилие восхвалений «краткости – сестры таланта», по моему мнению, не более чем сводной, или «тесноты словам – простора мысли», этакой коммуналки изящной словесности. И это – именно в русской литературе, в поэзии, которая дала великолепные образцы *забалтывания*, прекрасные, роскошные.

Сергей Васильевич живо откликнулся: «Да, действительно, великолепные!»

То же – с простотой. Она – штука довольно скользкая. А соскользнешь – куда?

«Я иногда задумываюсь, - размышлял Шервинский вслух, - мог бы я написать так, как Алексей Толстой – проще некуда:

Ты знаешь край, где всё обильем дышит,
Где реки льются чище серебра,
Где ветерок степной ковыль колышет,
В вишнёвых рощах тонут хутора...

Да, наверно, не мог бы. Ведь всё теперь другое – откуда *этому* взяться?»

А я припомнил, как в одну из первых «рабочих» наших встреч он ужасно ругал Толстого – за знаменитое:

Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты,
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты.

Лишь очи печально глядели,
А голос так дивно звучал,
Как звон отдалённой свирели,
Как моря играющий вал... -

говорил о «пустом» втором стихе и банальности – после Пушкинской-то лирики! – всей второй строфы (по мне-то, она попросту комична: и невозможный «звон свирели» и чудовищное «как моря играющий вал»), и далее – так, что дальше уже некуда: «Люблю я, усталый, прилечь»... И вообще весьма скептически отзывался о поэзии А. К. Толстого.

А вот на тебе...

... Перечисляя в конце очерка своего крупнейших представителей отечественной школы стихотворного перевода, я назвал среди них и Маршака.

Шервинский решительно снял это упоминание, сказав, что вовсе не считает для себя честью *фигурировать* рядом с Маршаком.

Ноябрь восемьдесят пятого. Уже и договор, наконец, есть. И гранки книги мною прочитаны-подписаны. Волнения, связанные с книгой, можно сказать, *пережиты*.

Тем неожиданнее: «Как вам показалось, она... ничего?»

Приступы авторской робости от возраста не зависят.

Когда книга вышла, в доме устроили праздник. С армянским коньяком и подобающим случаем весельем.

Я вышел на кухню – покурить. Минут через пять туда заглянул Сергей Васильевич. Налил воды в стакан. Отпил глоток. И вдруг сказал: «Худо ли, хорошо, а жизнь прожита» ...

Из разговоров. О Ходасевиче. «Хороший поэт. Резкий». – «Я бы сказал иначе – жёсткий». – «Верно. И почти суровый – в стихах. Я с ним не раз встречался. Он в жизни был совсем не чужд юмора, розыгрыша. Я его *истории* с удовольствием слушал – и иногда вспоминаю с улыбкой. Вообще я не раз замечал, что смешение еврейской крови со славянской часто дает прекрасные результаты – если иметь в виду людей творческих. Ходасевич был тогда женат на Анне Ивановне Чулковой. Когда он умер?» - «В тридцать девятом». – «Где?» - «В Париже. Об этом – очень сильные страницы у Берберовой». – «Это кто?» - «Его “парижская жена”». – «Да, так о Чулковой. Вернее, о её брате, Григории Ивановиче. Станный человек был. Он всю жизнь провел в очень хорошем литературном кругу, много писал. А после его смерти мне как-то понадобилось выбрать у него стихи для исполнения и – ничего. Совсем ничего, достойного внимания».

Зимой 1936 года Шервинский навещал Кузмина в Мариинской больнице на Литейном. Раз в несколько дней приносил что-нибудь из еды и лакомств. Медленно гуляли по больничному двору, беседовали.

Однажды, в конце февраля, собираясь уходить: «До свиданья, Михаил Алексеевич». – «Нет, Сергей Васильевич, прощайте. Больше ко мне приходить не надо». – «Почему так?» – «Я теперь умирать буду. А это... очень некрасиво»...

Весною девяносто первого в серии «Забытая книга» вышла «Ост-Индия». Екатерина Сергеевна рассказывала, как заглянула с этой вестью к отцу. Он слабо улыбнулся: «Очень приятно»...

Через полтора года после Шервинского, в феврале девяносто третьего, в Париже, всего трех месяцев не дотянув до своего столетия, умер художник Дмитрий Дмитриевич Бушен, последний из «мирискусников» и Дягилевских *балетных дел мастеров*.

Эпоха завершилась.

Когда умрут еще живые,
И те, умершие, умрут.

октябрь-декабрь 2008
Мюнхен

Анатолий Конциц (1939–1996) – писатель, автор книг и публикаций в различных странах.

Anatolij Kontschiz – Schriftsteller, Autor von Büchern und mehreren Publikationen in verschiedenen Ländern.

Magdalenne Pennarz – Schriftstellerin. Lebt in Gundamsried (Deutschland).
Магдалене Пеннарц – писательница. Живёт в Гундамсрид (Германия).

Владимир Абрамсон – писатель, журналист. Автор книг и публикаций в различных странах. Живёт в Мюнхене.

Vladimir Abramson – Schriftsteller, Journalist. Autor von Büchern und Publikationen in verschiedenen Ländern. Lebt in München.

Sascha Vinogradov – Übersetzer, Journalist, Kunsthistoriker. Autor von Dokumentarfilmen und Publikationen in verschiedenen Ländern. Lebt in München.

Саша Виноградов – переводчик, журналист, искусствовед. Автор документальных фильмов и публикаций в различных странах.

Martin von Arndt – Schriftsteller, Musiker, Wissenschaftler, Übersetzer. Autor von mehreren Büchern und Publikationen in verschiedenen Ländern. Mehrfach wurde er mit Literaturpreisen ausgezeichnet. Lebt in Markgröningen und Essen.

Мартин фон Арндт – писатель, музыкант, литературовед, переводчик. Автор книг и публикаций в различных странах. Лауреат многих литературных премий. Живёт в Маркгрёнингене и Эссене.

Efim Schkolnik – Übersetzer, Journalist. Publikationen in verschiedenen Ländern.

Ефим Школьник – переводчик, журналист. Публикации в разных странах.

Борис Сандлер – писатель, журналист, главный редактор газеты «FORWARD» (Нью-Йорк). Автор многочисленных книг и публикаций в различных странах. Живёт в Нью-Йорке.

Boris Sandler – Schriftsteller, Journalist, Chefredakteur der Zeitung „FORWARD“ (New York). Autor von mehreren Büchern und Publikationen in verschiedenen Ländern. Lebt in New York.

Эйтан Финкельштейн – писатель, публицист, переводчик. Один из соредакторов журнала «Страна и мир». Издатель и редактор «Еврейского журнала». Автор многочисленных книг и публикаций в различных странах. Живёт в Мюнхене.

Eitan Finkelstein – Schriftsteller, Publizist, Herausgeber und Redakteur der Zeitschrift „Jüdischer Journal“, Redakteur der Kulturmagazin „Land und Welt“. Autor von mehreren Büchern und Publikationen in verschiedenen Ländern. Lebt in München.

Peter Stamm – Schweizer Schriftsteller, Dramatiker. Autor von mehreren Büchern und Publikationen in verschiedenen Ländern. Lebt in Winterthur (Schweiz).

Петер Штамм – швейцарский писатель и драматург. Автор многочисленных книг и публикаций в различных странах. Живёт в Винтертуре (Швейцария).

Сергей Бирюков – поэт, филолог, перформер, издатель, эссеист, историк и теоретик литературы, переводчик. Автор многочисленных книг и публикаций в различных странах. Основатель и президент «Академии Зауми». Лауреат многих литературных премий. Живёт в Галле.

Sergej Birjukow – Dichter, Performer, Literaturwissenschaftler, Herausgeber, Gründer und Präsident der internationalen Akademie der Transrationalen Sprache (Akademija Zaumi). Autor von mehreren Büchern und Publikationen in verschiedenen Ländern. Mehrfach wurde er mit Literaturpreisen ausgezeichnet. Lebt in Halle.

Bernhard Sames – Übersetzer, Literaturwissenschaftler. Autor von Büchern und Publikationen in verschiedenen Ländern. Lebt in Halle.

Бернхард Саймес – переводчик, литературовед. Автор книг и публикаций в различных странах. Живёт в Галле.

Àxel Sanjosé – Lyriker, Übersetzer, Komparatistiker. Autor von mehreren Büchern und Publikationen in verschiedenen Ländern. Mehrfach wurde er mit Literaturpreisen ausgezeichnet. Lebt in München.

Áксель Санхосé – Поэт, переводчик, исследователь в области сравнительного литературоведения. Автор многочисленных книг и публикаций в различных странах. Лауреат многих литературных премий. Живёт в Мюнхене.

Анри Волохонский – поэт, прозаик, философ, переводчик. Автор многочисленных книг и публикаций в различных странах. Живёт в Тюбингене.

Henry Volohonsky – Dichter, Prosaiker, Philosoph, Übersetzer. Autor von mehreren Büchern und Publikationen in verschiedenen Ländern. Lebt in Tübingen.

Kay Borowsky – Übersetzer, Schriftsteller, und Publizist. Autor von mehreren Büchern und Publikationen in verschiedenen Ländern. Lebt in Tübingen

Кай Боровски - писатель, публицист, переводчик. Автор книг и публикаций в различных странах. Живёт в Тюбингене.

Gerchard Bachleitner – Schriftsteller, Publizist, Philosoph, Redakteur, Musiker. Autor von mehreren Publikationen in Anthologien, Lexikons und Zeitschriften. Lebt in München.

Герхард Бахлайтнер – писатель, публицист, философ, редактор, музыкант. Многочисленные публикации в антологиях, журналах, энциклопедиях. Живёт в Мюнхене.

Ирена Лейн – журналист, переводчица. Публикации в различных странах. Живёт в Мюнхене.

Irena Lein – Journalistin, Übersetzerin. Publikationen in verschiedenen Ländern. Lebt in München.

Rainer Maria Rilke (1875-1926) – einer der bedeutendsten Lyriker des 20. Jahrhundert

Райнер Мария Рильке – один из самых значительных немецких поэтов 20 века.

Лорэнс Блинов – поэт, композитор, философ, переводчик, эссеист. Автор многочисленных книг, музыкальных произведений и публикаций в различных странах. Живёт в Казани.

Lorens Blinow – Lyriker, Komponist, Philosoph, Übersetzer, Essayist. Autor von mehreren Büchern und Publikationen in verschiedenen Ländern. Lebt in Kazan (Russland).

Bertolt Brecht (1898-1956) – einer der bedeutendsten deutschen Dramatiker und Lyriker.

Бертольт Брехт – выдающийся немецкий драматург и поэт.

Ромен Нудельман – писатель, переводчик, журналист. Автор книг и публикаций в различных странах. Живёт в Дюссельдорфе.

Romen Nudelman – Übersetzer. Autor von Büchern und Publikationen in verschiedenen Ländern. Lebt in Düsseldorf.

Даниил Гранин – писатель, драматург, киносценарист. Автор многочисленных книг и публикаций. Лауреат многих литературных премий. Живёт в Санкт-Петербурге.

Даниил Аль – литературовед, писатель, драматург. Автор многочисленных книг и публикаций. Живёт в Санкт-Петербурге.

Исай Шпицер – журналист, поэт. Автор книг и публикаций в различных странах. Живёт в Мюнхене.

Ludwig Marcuse (1894–1971) – einer der bedeutendsten Philosoph des 20. Jahrhundert, Schriftsteller, Essayist, Theaterkritiker.

Людвиг Маркузе – выдающийся философ 20 века, писатель, театральный критик, эссеист.

Марианна фон Веревкина (1860-1938) – выдающаяся русская художница.

Marianne von Werefkin – eine der bedeutendsten russische Malerin.

Лайма Лаучкайте – искусствовед, историк. Автор книг и публикаций в различных странах. Живёт в Вильнюсе.

Laima Laučkaitė – Kunstwissenschaftlerin, Historikerin. Autor von Büchern und Publikationen in verschiedenen Ländern. Lebt in Vilnius.

Oxana Antic – Journalistin, Übersetzerin. Lebt in München.

Оксана Антич – журналистка, переводчица. Живёт в Мюнхене.

Mascha Darminova – Media Journalistin. Lebt in München.

Маша Дарминова – Медиажурналистка. Живёт в Мюнхене.

Ellen Seidel – Musikerin, Übersetzerin. Lebt in München.

Эллен Зайдель – музыкант, переводчица. Живёт в Мюнхене.

Татьяна Лукина – актриса, поэтесса, театровед, издатель. Основатель и президент Центра русской культуры «МИР» в Мюнхене. Автор многих книг и публикаций в различных странах. Живёт в Мюнхене.

Tatjana Lukina – Schauspielerin, Lyrikerin, Theaterwissenschaftlerin, Herausgeberin. Gründerin und Präsidentin von MIR e. V., Zentrum russischer Kultur in München. Autorin von mehreren Büchern und Publikationen in verschiedenen Ländern. Lebt in München.

Семён Гурарий – писатель, музыкант, педагог. Автор книг и публикаций в различных странах. Редактор альманаха «Доминанта». Живёт в Мюнхене.

Simon Gourari – Musiker, Schriftsteller, Pädagoge. Autor von Büchern und mehreren Publikationen in verschiedenen Ländern. Redakteur des Almanachs „Dominante“. Lebt in München.

Елена Кацюба – поэтесса, журналистка. Автор поэтических книг и многочисленных публикаций в различных странах. Создатель первых «Палиндромических словарей современного русского языка». Редактор «Журнала ПОэтов». Живёт в Москве.

Elena Kazuba – Lyrikerin, Journalistin, Autorin von Büchern, mehreren Publikationen in verschiedenen Ländern und der ersten „Palindromischen Lexika der modernen russischen Sprache“. Redakteurin der „Journal der Poeten“. Lebt in Moskau.

Peter H. Neumann (1936-2009) – Lyriker, Essayist, Literaturwissenschaftler. Autor von mehreren Büchern und Publikationen in verschiedenen Ländern. Mehrfach wurde er mit Literaturpreisen ausgezeichnet. Direktor der Literaturabteilung der Bayerischen Akademie der Schönen Künste.

Петер Х. Нойманн – поэт, эссеист, литературовед. Автор множества книг и публикаций в различных странах. Лауреат многих литературных премий. Директор литературного отделения Баварской академии искусств.

Нури Бурнаш – Литератор, педагог. Автор поэтических сборников и публикаций. Живёт в Казани.

Joel Fortunato Reyes Pérez – mexikanischer Dichter. Lebt in Mexico.

Robert Pinski – amerikanischer Dichter, Übersetzer, Essayist, Kritiker, Mehrfach wurde er mit Literaturpreisen ausgezeichnet. Lebt in Boston.

Markus Epha – deutscher Dichter, Maler, Fotograf, Essayist. Lebt in Berlin.

Илья Бокштейн (1937-1999) – поэт, эссеист, философ, художник. Автор книг и публикаций в различных странах.

Вадим Перельмутер – поэт, эссеист, историк литературы, переводчик. Автор многочисленных книг и публикаций в различных странах. Живёт в Мюнхене.

Vadim Perelmuter – Lyriker, Essayist, Übersetzer, Literaturhistoriker. Autor von Büchern und mehreren Publikationen in verschiedenen Ländern. Lebt in München.

 **KUBON & SAGNER**
Servicing libraries since 1947

ISBN: 978-3-86688-133-4

